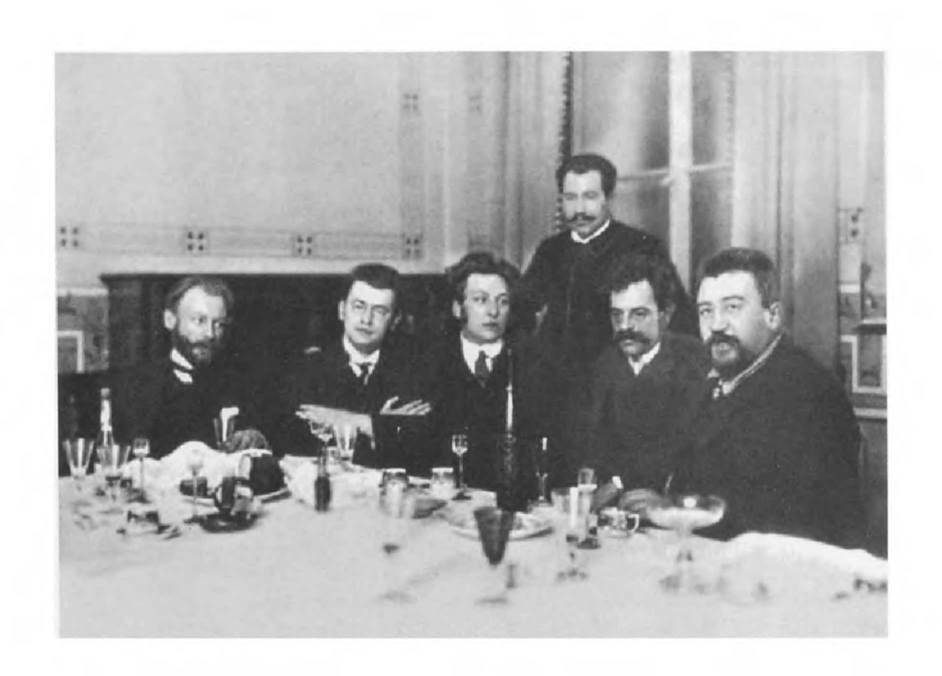
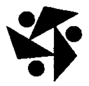
А. АВЕРЧЕНКО
КРУГИ ПО ВОДЕ

СОЧИНЕНИЯ

АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО



АРКАДИЙ
АВЕРЧЕНКО



собрание сочинений

КРУГИ ПО ВОДЕ

издательство

МОСКВА 2012

УДК 882
ББК 84 (2Рос=Рус)1
А19

Составление, подготовка текста и комментарии
С.С. Никоненко

На фронтисписе: воспроизведена фотография 1909 года:
сотрудники и авторы «Сатирикона» за обедом.
Второй слева — Аркадий Аверченко, далее — Алексей Радаков.
Крайний справа — А.И. Куприн.

Аверченко А.Т.

А19 Собрание сочинений: В 13 т. Т. 3. Круги по воде / Сост., подг. текста и комментарии С.С. Никоненко. — М.: Изд-во «Дмитрий Сечин», 2012. — 416 с.

ISBN 978-5-904962-19-7

В третий том собрания сочинений входит книга «Круги по воде» (1912), впервые через 100 лет после первого издания полностью печатаются выпуски 19, 25, 32, 39, 50 и 61 Дешевой юмористической библиотеки «Сатирикона», а также произведения Аверченко из альманаха «Сатирикона», «Пауки в банке» (1911).

ISBN 978-5-904962-11-1 (Общ.)
978-5-904962-19-7 (Т. 3)

УДК 882
ББК 84 (2Рос=Рус)1

ИЗ АЛЬМАНАХА "САТИРИКОНА" "ПАУКИ В БАНКЕ" (1911)

круги по воде

ОТЧАЯННОЕ СРЕДСТВО

В Калугу явился представитель от граждан города Одессы.

Он собрал вокруг себя именитых граждан города Калуги и сказал:

— Братцы! Давайте меняться.

— Чем меняться? — спросили его.

— Генерал-губернаторами.

— Эва! Да, будто, ты не знаешь, кто у нас!?

— Все равно, братцы.

Один честный, степенный купец сказал:

— Нет, господа... Нехорошо пользоваться его незнанием. Знай же, чужестранец, что у нас губернатор из Вятки!

— Пусть! Поменяемся, братцы.

Хитрый калужанин побарабанил пальцами по столу и сказал:

— Что ж — поменяться можно. А ваш какой будет?

— Наш? Одесский.

— Эге-ге... То-то, брат, такой добрый.

— Право, поменяемся!!

— Нет, чужестранец! Лучше мы останемся при своем, а вы — при своем.

— Наш хороший. Добрый такой... сердечный. Возьмите!

— Да ведь он член одесского союза русского народа!

— Ну, так что ж... А сердце у него золотое.

— Однако, вот пишут, что союзники чуть не каждый день устраивают погромы одесских редакций, скандалят?!

— Возьмите!!

Калужане заговорили все разом:

— В медицину вмешивается!

— Мусульманам провожатых в Мекку навязывает!!
— В Думу черносотенцев проводит!
— Печать задавил!
— Евреев!!
Одессит заплакал.
— Возьмите! Ну, что вам стоит поменяться... Прекрасной души человек... Добрый, отзывчивый. После сами благодарить будете... А мы бы вашего в Одессу взяли. Климат у нас прекрасный!
— Да у нас вятский! Знаете, тот самый.
— Все равно! Поменяемся.
Тогда выступил из толпы один человек и сказал:
— Послушайте! Если он такой хороший — зачем же вы его нам навязываете?
Воцарилось зловещее молчание.
Одессит понурил голову и, сопровождаемый негодующими криками и свистками, выбежал их толпы.

На другой день его нашли висевшим на дереве в городском саду, без признаков жизни...

БЛЕСТЯЩИЙ ВЫХОД

Русский дипломат. — Вот, не можем решить до сих пор: чьи интересы нашему министерству нужно поддерживать: английские или немецкие?!
Собеседник. — Да вы поддерживайте лучше русские интересы!
Дипломат (пораженный). — А ведь, знаете... это идея!

ИДЕАЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ

В компании идет разговор о кошках.
— Это что! — говорит один. — Вот у меня была кошка... Самое умное существо в мире! Представьте, она с января месяца сидела на окне и все смотрела на отрывной календарь, дожидаясь, очевидно, марта... Но, так как я, по рас-

сеянности, не отрывал листков, то она пропустила и март, и апрель, ни разу не побежав на крышу!

— Где же она теперь? — спрашивают удивленные слушатели.

— Дети ее разбили.

— Как разбили?!!

— Так. К сожалению, она была гипсовая.

* * *

— Не хочет ли Меньшиков получить, в конце концов, Владимира в петлицу?

— Что ему один Владимир! Он желал бы и Ивана, и Федора, и Петра — всех в петлицу!

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДВУСМЫСЛИЦА

— Ну, как ваша газета, хорошо расходится?

— Да, расход у нее большой.

СТРАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

— Читали «Яму» Куприна?

— Да, читал. Любопытно, знаете ли... Нужно будет когда-нибудь съездить!

РАССЕЯННОСТЬ

— Хотя Иван исполнял у меня обязанности и кучера, и шофера, но я принужден был прогнать его.

— За что?

— За рассеянность. Он неоднократно сыпал овес в автомобильный механизм и поил лошадей бензином.

НА УЛИЦЕ

Торговец. — За десять копеек «семь повешенных»!

Прохожий (вздыхая). — Ну, времечко!

ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ

В шляпном магазине.

— Почему ты вместо модной большой шляпы навязал этой покупательнице маленькую, без перьев?

— А видишь ли... Я сегодня, когда брал билет в театр, то видел, что эта дама купила место как раз впереди меня.

НЕУМОЛИМЫЙ ЗАКОН

Прокурор Ненарокомов. — Раз в законе не указано, имеют ли право женщины быть адвокатами — значит, они не имеют права!

Голос из публики. — А в законе указано, что женщины имеют право рожать прокуроров?

— Нет.

— В таком случае, ваша матушка совершила явно противозаконный поступок!

ЗЛОПАМЯТНОСТЬ

Хозяйка. — Кусочек гуся!

Гость (мрачно). — Ненавижу гусей!

— Почему?

— Они Рим спасли!

— Так что ж из этого?

— А я в Риме со своей женой познакомился. Не спаси они Рима, не был бы я несчастным человеком.

МИЛЮКОВ И КОНСТИТУЦИЯ

Однажды Милюков сказал приятелю:

— А все-таки я тебе докажу, что у нас есть конституция.

Пошли к городовому.

— А что, братец, есть у нас конституция? — спросил Милюков.

— Я тебе покажу! — вскричал городовой.

— Раз покажет, значит, есть, — радостно сказал Милюков.

* * *

Одному одесскому еврею сказали:

— Слышали? Толмачева назначают членом государственного совета!

— Дай ему Бог быть лучше американским президентом!

— Вы его так любите?

— Нет... Но я не люблю американцев.

ДВАДЦАТЫЙ ВИЗИТ

— Хррист... тос сскресе, Марь... Ивановна!

— Здравствуйте, Павел Иванович... Только я с мужчинами не целуюсь!!

— Глупо!

— Однако, послушайте... Если вы выпивши...

— Я? Выпивши? Вы меня даже рюмкой не угостили, а гово... ворите: выпивши!

— Рюмочку я вам налью. Закусывайте...

Томительная пауза.

— У заутрени где были?

— А тебе какое дело!

— Послушайте! Вы говорите дерзости! Если вам не нравится, прошу вас уйти.

— Марь... Ивановна! Мэри! Вы уже обидились?.. Нну, давайте похристосуемся и... забудем тяжелое прошлое.

— Не христосуюсь я с мужчинами.

— Ну, и черт с тобой!

— Прошу вас уйти! Я позову швейцара! Он вас выведет...

— Мменя? А это ты видала?

— Карраул! У него револьвер!! Иван, Глаша! Швейцар!!

— Ага... испугалась... Черт с вами! Выпью еще рюмку и закушу... Это что? Гусь? Дикий? Надо его за... застрелить. Убью его из револьвера... А потом съем! Рраз! Попал!! Хорошо бы костер тут разложить... Ты кто... Швейцар? Дикий? А ну-ка я тебя... Хе-хе... Убежал. Завалю-ка я двери... штоб не беспокоили. Вот так... Тяжелое чертово пианино... А мы его боком! Важно! Оторвем лампу... картины... Теперь только столом завалить и не одна живая душа... Вот так. Ты кто? Карраул!!! Револьвер отняли. Ну, ладно... только не хватай

меня!.. Поцелуемся, товарищ! Разложим костер, а? Куда ты меня тащишь? А то бы разложили костер... сели бы кругом... по-индейски... и пели бы дикие песни родины... Эх, не любишь ты, швейцар, природы!..

ГРАММАТИКА ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ

— Дети! Разберем простое предложение: еврей живет в Ялте. Где здесь подлежащее?

— Конечно, еврей!

— Почему — конечно!?

— Потому что, он — подлежащее высылке.

ШИРОКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Издатель толстого журнала «Мировые Отголоски», влачащего жалкое существование, — спит утром за перегородкой, в комнате, служащей ему квартирой, редакцией и конторой.

Кто-то входит в комнату и нерешительно кашляет.

— Кто там? — спрашивает из-за перегородки издатель «Мировых Отголосков».

— Подписчик.

— Не может быть! — уверенно говорит издатель. — Я всех своих подписчиков знаю по голосу.

ГУЛЯЮТ

— Эй, челов-век! Закажи мне ссварить уху из того буфетчика... который зза стойкой заснул!!

— Никак невозможно-с!

— Почему?!

— Мы из сонной рыбы ухи не готовим-с!

— Послуште! Дайте мне бритву! Желательно мне вал из органа побрить!

— Не стоит, ваше степенство! Все равно, скоро опять обрастет!

НЕОБХОДИМЫЙ ВОПРОС

— Посмотри, по той стороне улицы идет известный строитель броненосцев!

— Который это? Где?

— Ну, тот самый, который сейчас вынимает платок из кармана!

— Из чьего?

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ

— Ваша профессия?

— Дантист.

— Нет, я вас не о национальности, а о профессии спрашиваю!

СПРАВЕДЛИВЫЙ ПРОТЕСТ

Доктор. — При болезни ваших глаз вы не должны пить спиртных напитков...

Пациент. — Как!?. Вы хотите, чтобы из-за двух окон страдало все строение?..

ПОСЛЕДНИЙ ЭКИПАЖ

У Редактора, о котором я хочу рассказать, была красивая, молодая жена.

Однажды сидя у мужа на коленях, жена поцеловала его и тихо сказала.

— Муж! Я хотела бы иметь парочку дошадок и английский экипаж. Это так модно.

Редактор посмотрел на потолок и задумчиво прошептал:

— Жаль, что вчера меня оштрафовали на тысячу рублей. Хотя это тоже очень модно, но, не будь этой моды, ты имела бы лошадок.

По опыту, жена хорошо знала, что всякая мода не долго держится. Поэтому, она спросила:

— До каких же пор эта мода будет продолжаться?

— Насчет английского экипажа?

— Нет, не насчет английского экипажа.

— А-а... До законов о печати!

И, видя, что облако грусти окутало лицо жены, Редактор ласково спросил:

— Даю тебе слово, что в первый же день обнародования законов о печати, ты получишь свой экипаж и лошадок!

Жена повеселела.

Однажды жена сидела около Редактора на диване и говорила:

— Помнишь, ты пять лет тому назад обещал мне экипаж и лошадок.

— Ну?

— Так эта мода уже прошла. Теперь модно — иметь автомобиль.

— Жаль, что вчера я заплатил три тысячи. А то был бы у тебя автомобиль.

Грустное молчание воцарилось в кабинете. Потом жена тихо спросила:

— Ваша мода разве держится?

— Держится.

Редактор поцеловал жену в маленькую морщинку, появившуюся недавно около ее потускневших глаз и пообещал:

— Вот только будут законы о печати — в тот же момент у твоего подъезда загудит хорошенький автомобиль. Так: гу-у-у-у!

Жена попыталась сделать веселое лицо.

Однажды жена сидела около Редактора на диванчике и грустно говорила:

— Помнишь, старичок, я сидела у тебя на коленях... Это было давно-давно... Так давно, что я еще могла сидеть у тебя на коленях... И ты мне обещал купить автомобиль!

— Память моя стала слабеть... — наморщив брови, прошептал Редактор. — Но я вспоминаю...

— Так ты мне автомобиля уже не покупай! Они вышли из моды. Знаешь, что теперь модно? Хорошенький аэро-

план! Я вчера видела жену Листопадова. Она полетела на премиленьком биплане Райта в гости к Бычковым... тем самым, что на днях купили моноплан Блерио...

Поникнув головой, жена робко спросила:

— А ваша мода?

— Держится, — отвечал Редактор, гладя дрожащей, костлявой рукой седые кудри жены: — Вот скоро, пишут, будут законы о печати. Тогда уж мы вздохнем свободно. И у моей маленькой женки будет хорошенький, проворненький бипланчик Райтика.

Припав к плечу старого, глупого Редактора, жена тихо, беззвучно плакала...

Однажды...

Жена уже не сидела у Редактора на коленях и не сидела около него на диванчике. А она лежала на кровати с печатью смерти на лице и ласково смотрела на друга своей жизни, стоявшего у кровати на дряхлых коленях.

— Помнишь, милый... — слабеющим голосом говорила жена Редактора. — Ты обещал мне купить биплан, в тот день, когда будут обнародованы законы о печати?

Муж виновато улыбнулся.

— Что же... Разве они уже вышли из моды, бипланы эти?

— Для меня, пожалуй... Теперь мне не надо ни английского экипажа, ни автомобиля, ни биплана, ни моноплана... Черная с серебром коляска, пара лошадей с черными султанами и несколько важных-преважных факельщиков. Это экипаж, мода на который долго держится.

И, подумав немного, жена спросила деловым тоном:

— На этот экипаж у тебя, надеюсь, найдутся деньги?

Сдерживая рыдания, муж отвечал:

— Да... Экономя на папиросах, я собрал для этого триста рублей.

Жена Редактора вздохнула в последний раз и вытянулась.

— Иван, — говорил Редактор своему слуге. — Если кто меня спросит, скажи, что я пошел в погребальную контору заказывать для барыни погребальный экипаж.

— Слушаю-с! Там в приемной ждет околоточный с постановлением...

— С каким? — радостно спросил Редактор. — Неужели он принес известие о введении законов о печати?!

— Нет. У него есть постановление на триста рублей, без замены арестом.

Привычным жестом Редактор полез в боковой карман и вынул три сотенных бумажки.

КСТАТИ

Газетный корректор спрашивает фельетониста:

— Вот вы здесь в статье цитируете строку из Некрасова:

Дураков не убавишь в «России»...

— Ну?

— Так слово «Россия» у вас почему-то поставлено в кавычках... Прикажете оставить?

Фельетонист (подумав):

— Оставьте.

ПО ЗАКОНУ

— О, черт возьми! Я послал вас только поискать в саду мою жену, а вы что делаете? Вы ее целуете!!

— Но ведь я ее нашел здесь и хочу по закону получить за находку третью часть.

ОСТОРОЖНЫЙ

На выставке акварелистов.

— Скажите, это вон там висит — ваша картина?

— А вы драться не будете?

— Не буду.

— Побожитесь!

— Ей-Богу.

— Моя.

РАСЧЕТЛИВЫЙ ПАЦИЕНТ

Хирург. — Откладывать больше нельзя. Надо сегодня же отнять вам ногу.

Больной. — А сколько эта операция будет стоить?

Хирург. — Рублей тридцать.

Больной. — Ой-ой! Я как раз сегодня не при деньгах.

Хирург. — Как хотите, а откладывать больше нельзя.

Больной. — Ну, ладно. Отрежьте сегодня рублей на пять, а там видно будет.

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ АЭРОКЛУБЫ

В мануфактурном магазине.

— Есть у вас газ?

— Для платья прикажете?

— Нет, нам для аэростата. Аэростат нужно, пишут, каким-то газом наполнять.

— Послушайте!! Кто это отцепил корзину от нашего воздушного шара?!

— Лукерья. На рынок ей нужно было идти за покупками.

— Возьмите и меня с собой лететь...

— Тяжело. Шар не подымет.

— А вы меня вместо тех мешков с песком возьмите.

— Ладно... Только, когда нужно будет, — вы уж вылезайте.

ГОСТЕПРИИМСТВО

— А! Кузьма Иваныч!.. Как раз к обеду попали... Садитесь. Что? Обедали? Вздор, вздор! И слушать не хочу. Рюмочку водки, балычку, а? Ни-ни! Не смейте отказываться... Вот чепуха... Еще раз пообедаете! Что? Нет-с я вас не пущу! Агафья! Спрячь его шапку. Парфен, усаживай его! Да куда ж вы? Держите! Ха-ха. Удрать хотел... Не-ет, брат... Рюмку

водки ты выпьешь! Голову ему держите... вот так! Рраз!.. Ничего, ничего. На, вот кулебякой закуси. Что? Ничего, что поперхнулся... Засовывайте ему в рот кулебяку. Где мадера? Лейте в рот мадеру! Да не рюмку! Стакан! Что? не дышит? Ха-ха! Притворяется... Закинь ему голову, я зубровочки туда... Вот, так! Парфен! Балыка кусок ему. Да не весь балык суй, дурья голова. Видишь — рот разодрал... Не проходит? Ты вилкой, вилкой ему запихивай. Место очищай... Так. Теперь ухи вкатывай... Что? Из носу льется? Зажми нос! Осетрину всунул? Пропихивай вилкой! Портвейном заливай. Ха-ха. Не дышит? А ты вилкой пропихни. Что?.. Ну, возьми подлиннее что-нибудь... Так... Приминай ее, приминай... Что? Неужто же, не дышит? Ме-ертвый? Ах, ты ж оказия! С чего бы кажется... Ну, как это говорится: царство ему небесное в селениях праведных... Упокой душу. Выпьем, Парфен, за новопреставленного!

НОВЫЙ СТИЛЬ

— Вам нравится пьеса?

— Дрянь.

— Почему же вы ее расхвалили в газете?

— Видите ли, за два дня до премьеры автор явился и взял у меня в долг пятьдесят рублей. Теперь поневоле надо поддерживать пьесу, иначе пропали мои денежки.

ВНИМАНИЮ ЮРИСТОВ

1

Имеет ли право душеприказчик быть членом приказчичьего клуба?

2

Имеет ли право жена дурака называться по мужу дурой?

НА ЭКЗАМЕНЕ

Педагог. — Прочтите «Думу» Лермонтова.

Ученик (молчит).

Педагог (подсказывает). — «Печально я гляжу»...

Ученик (торопливо). — Печально я гляжу... (спутавшись) — на ваше положение...

Педагог. — Оно и ваше (ставит единицу) незавидно.

ТОЧНОСТЬ

— Скажите, эта собака, которая лежит там в кресле, не укусит меня?

— Она не укусит вас по трем причинам: во-первых, вы ее не дразните, во-вторых, она не видит вас, так как лежит к вам спиной, а в-третьих, она сделана из папье-маше...

ИНТЕНДАНТСКИЕ БЕСЕДЫ

— А дорого тебе обходится твоя Сесиль?

— Пустяки! В месяц около двух тысяч мешков муки, пятьсот-шестьсот полушубков даю на булавки, да так — букетов, подарков приблизительно на тысячу нижних рубах выйдет...

— Скажите, этот ваш шестиэтажный дом наследственный или... благоприобретенный в интендантстве?

— Это, видите ли, очень трудно разобрать. Потому что у меня наследственная склонность к благоприобретению.

— Не понимаю его... С одной стороны упрекает меня, что я сто пудов солдатского мыла себе присвоил, а с другой — говорит, что я на руку не чист!

РУССКОЕ ВОЗДУХОПЛАВАНИЕ

— Ну, что в вашем аэроклубе летают?

— Летают.

— Кто же полетел?

— Казначей первый полетел. За растрату.

УЖАСНАЯ ЭПИДЕМИЯ

— Твой муж от холеры помер?
— Почти.
— То есть как — почти?
— Да так. Его кареткой скорой помощи, которая холерного везла, — переехало.

УМНЫЙ НАРОД

— У нас, брат, на селе тоже не лаптем щи хлебают!
— А чем же?
— Да ничем. Потому как ни щей, ни лаптей нету.

НОВЕЙШИЕ ИЗРЕЧЕНИЯ

Маркизы и Тимошкины все знают, ничему не учась.

Всяк сверчок знай свою камеру.

Денежки круглые — все из заграницы катятся, конь о четырех ногах и то в союз русского народа не вступает.

Погром гремит, а еврей все не перекрестится.

Век живи, век учись, а октябристом помрешь.

РУССКИЕ РОТШИЛЬДЫ

— Вот он, русский человек-то! Дед купца Калистратова в Москву пришел в лаптях.
— Да? А сам Калистратов теперь?
— Босиком ходит.

ПЛАТФОРМА

— А талантлив все-таки русский мужик! — умиленно воскликнул мирнообновленец.

— Вот, поэтому, ему и не надо давать земли, — сказал Марков 2-й.

— То есть, почему же это?

— Да так. Если у него не будет земли, ему некуда будет зарывать своих талантов!

КРИК ДУШИ

— Папа, я откуда взялся?

— Тебя аист принес.

— А Лиза?

— И ее аист принес.

— А бабушку, которая у нас гостит, кто принес?

Отец после некоторого молчания:

— Черти ее принесли, твою бабушку!!

В САДУ НА ОТКРЫТОЙ СЦЕНЕ

— Смотрите! Эта певица почти старуха, а в коротеньком платье.

— Ну, что же... Просто она по возрасту выросла из своего платья.

— Лопнуло!

— Что? Трико у певицы? Неужели? Где, где?

— Терпение лопнуло. Пойдем водку пить.

На сцене хриплая шансонетка с некрасивыми кривыми ногами.

— Скажите, она — англичанка?

— Почти.

— Почему, почти?

— Английская болезнь, по крайней мере, у нее есть.

ПОД БАШМАКОМ МУЖА

— Жена вас слушается?

— О, беспрекословно! Вчера, например, она назвала меня идиотом. А, думаю — так! И приказываю ей: «а ну-ка, повтори еще раз!» И она, представьте, повторила еще раз.

ТОНКИЙ НЮХ

— Господа, тут где-то поблизости антрепренер.

— Почему вы думаете?

— Гарью пахнет.

КРУТЫЕ ВРЕМЕНА

Тоска сжимала сердца всех собравшихся...

— Сколько?

— 35 копеек.

— Экая незадача! Ну, пиши черновик: «Саратовский отдел союза русского народа, сочувствуя, дорогой Александр Иванович, вам, как пострадавшему в той гнусной интриге, которая исходит от жидов, финляндцев и других поработителей — питает надежду, что миллионы русского народа встанут грудью на защиту поруганных прав предводителя доблестных миллионов, которые...»

— Которые, которые!.. Ну, что — которые?

— Да ничего — которые. Просто придаточное предложение.

— Ты что же, дьявол... За 35 копеек, да с придаточными предложениями хочешь? Давай сюда! Вот так, братцы, нужно... Покороче: «сочувствуем гнусной интриге над вами. Уверены — народ грудью станет за вас».

— И дурак!

— То есть, как же это дурак?

— А так. Что значит — «сочувствуем гнусной интриге над вами?» Разве мы сочувствуем тому, что его в каторгу за Герценштейна могут упечь... Нужно еще короче... Вот так: «Возмущены произволом инородцев. Станем грудью на защиту доблестного председателя»,

— На кой черт — председателя? Если доблестного, так это само собой — председателя.

— Да, ведь, все равно восемь слов... Не хватит денег.

— Нельзя ли написать так: «Возмущены интригой жидов. Все станем на защиту председателя». Выйдет всего пять слов.

— И чтой-то за разговорчивый народ такой пошел... На заседании слова у него не выдавишь, а в телеграмме — такой кисель размажет... Давай сюда, рыжий. Вам что нужно? Посочувствовать и выразить порицание инородцам? Пиши: «Выкручивайся. Бей жидов. Ура!»

— Многословно. Можно без «выкручивайся», Он сам знает. И — ура... Ну, к чему это «ура»? Тебе бы только орать без толку...

— Дык, Митрий Ваныч, всегда кричат, как жидов бьют — ура!

— Ну, вот. Значит ясно, что кричать «караул» ты не будешь.

— Правильно, Вася. Это они кричать «караул» будут.

— То-то и оно. Пиши: «Петербург. Дубровину. Бей жидов»! Сколько вышло?

— С подепешными — 35 копеек. Ровно!

— Ровно? Эх, черти!

— А что?

— И на сороковку не смогли сэкономить!..

ЛЮБЕЗНОСТЬ

— Простите, пожалуйста!

— Охотно: вы наступили на ногу моему соседу.

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ЛИ ЦЕНЗ?

— Имеете движимость?

— Как же: у меня блуждающая почка.

ОТ КОПЕЕЧНОЙ СВЕЧИ МОСКВА СГОРЕЛА

— Что это вы объявили подписку на новую газету «Прогресс»? Против реакции хотите бороться?

— Нет, знаете... Собственно говоря, я купил среди разного хлама у старьевщика вывеску какой-то прачешной с надписью «Прогресс». Думаю, зачем ей пропадать. Повесил вывеску, напечатал объявления и теперь собираю подписку...

МАТЕРИНСКОЕ ЧУВСТВО

На улице.

— Посмотри, Сережа, какой хорошенький ребеночек! Чей это?

Нянька. — Да что вы, барышня, неужто же не узнали? Это же ваш Васенька!

МУДРЫЙ СОВЕТ

Провинциальный губернатор говорит исправнику:

— Помните, мой друг, что чрезвычайное положение дает право вам делать все, что вы захотите... Даже поступать иногда по закону.

ВСЕ НА СВЕТЕ ПРОСТО

— Вот пишут, что такой-то день ветер был силою десять аршин в секунду. Как это узнают?

— Очень просто берет человек в одну руку аршин, в другую — часы, и бежит по ветру. Приложит к земле аршин и посмотрит на часы, приложит и посмотрит. Так и узнают.

БЕСТОЛКОВЩИНА
(Будущая парламентская дуэль)

К депутату Довгочхуну в кулуарах Думы подошел депутат Перерепенко и, укоризненно взглянув на Довгочхуна, сказал:

— Позвольте мне выразить вам, Иван Иванович, что вы настоящий гусак.

Довгочхун отнесся к мнению Перерепенки недоверчиво:

— Нет, я не гусак, — возразил он.

Они повернулись спиной друг к другу и разошлись.

К сожалению, беседу друзей слышали находившиеся поблизости журналисты...

* * *

На другой день к депутату Довгочхуну приехал репортер и спросил депутата:

— Кто ваши свидетели?

— А какие свидетели? — удивился Довгочхун. — У меня, кажется, нынче в судах никаких дел не имеется.

— Нет-с... Я говорю о свидетелях, имеющих быть с вашей стороны на предмет дуэли.

— Дуэли?..

— Ну, да. Перерепенко вчера осмелился назвать вас гусаком. Мы и полагаем...

Довгочхун побагровел.

— А кто такой просил вас полагать?

— Извините, — пробормотал репортер, — но парламентская практика других государств учит нас...

— А мне, извините, начхать на парламентскую практику, на другие государства и все этакие фигли-мигли!..

Репортер тонко улыбнулся, вынул книжку и записал:

— Маститый дуэлянт пока тщательно скрывает подробности дуэли. Наружно совершенно спокоен, и долго беседовал с пишущим эти строки о парламентской практике других государств...

Когда репортер уехал, Довгочхун долго бродил, унылый, по комнатам, и в голове гвоздем сверлила мысль:

— Экий чертов репортер... Неужели, в самом деле, нужно вызывать этого нелепого Перерепенку? Вот еще — не было печали... Гм!

* * *

К Перерепенке приехал умеренно-правый Чертопханов и с порога закричал:

— А ну — какой ты? Покажись! Ничего... Молодцом! Держишься бодро. Ты старайся в башку ему влепить.

— Что влепить? Кому?

— Ну, ну, Ваня — не по-товарищески... Ты это можешь от кого угодно скрывать, а я тебе друг! Будто не знаю, что ты дерешься на дуэли с Довгочхуном!

— Да с чего ты это взял?!

— Хо-хо! Видали хитреца! Что ж ты думаешь — назвать человека гусаком, опозорить его, да и ждать, что он это так проглотит!?

Перерепенко испугался.

— А ты думаешь — вызовет?

— Всенепременно. Да вот и газета... Его уже интервьюировали. Вот: «Довгочхун держится бодро. Подробности дуэли пока неизвестны». Пока! Значит, потом будут известны.

Чертопханов уехал, а на душе Перерепенки остался неприятный осадок.

— Неужели, вызовет? Извиниться, что ли, перед ним, чертом?.. Неловко!.

* * *

Сначала Довгочхун был в глубоком унынии. Заперся и никого не принимал. Принимал только валерьяновые капли и бормотал, при этом, под нос:

— Ей-Богу же, не хочется быть мне убитым! И какие это глупцы, чтоб им на том свете трижды перевернуться в гробу — выдумали эти дуэли?!..

Но когда ему передали, что до градоначальника дошли слухи, циркулирующие в городе, о готовящейся дуэли и что, будто бы, градоначальник заявил, что дуэли ни в каком случае не допустит — Довгочхун оживился.

Он позвал своего друга Недопюскина и сказал ему:

— Пойди, передай этому глупому мешку с отрубями — Перерепенке, что я вызываю его на дуэль. Узнает он — какой я гусак!

* * *

До Перерепенки тоже дошли слова градоначальника.

Когда приехал Недопюскин, он хладнокровно пожал плечами и сказал:

— Не боюсь я вашего Довгочхуна. Пусть хоть на десять дуэлей вызывает. С моей стороны будут секундантами Чертопханов и Загорецкий.

— А с нашей — я, Недопюскин, и Репетилов.

— Сколько угодно!

— И великолепно.

Перерепенко взглянул в окно и спросил:

— А что это там за народ стоит?

— Это сыщики. На предмет недопущения дуэли...

Перерепенко радостно улыбнулся.

Уходя из дому, Довгочхун зашел зачем-то на кухню и увидел неизвестного человека.

— А что ты, братец?

— Грех, ваше благородие, в человека палить. Никак это невозможно допустить. Как наслышаны мы насчет дуэли, то следить за вашим благородием сполномочены.

Довгочхун одобрительно потрепал сыщика по плечу.

— Ну, следи, братец, следи. Это хорошо.

На ступеньках лестницы его дома сидели три неизвестных человека.

— Ко мне, братцы?

— Никак нет. Вопче. А только из пистолетов стрелять тоже в законах не написано. Так за вами и пойдем, ваше благородие, вы в улочку — мы в улочку, вы в переулочек — мы в переулочек, вы в подъезд, и мы, ваше благородие.

Довгочхун пришел в восхищение.

— Прекрасно! Какая тонкая, остроумная организация. Вы ж меня не бросайте, братцы! На водку получите.

— Заслужим-с!

* * *

Секунданты носились по всему городу, разыскивая пистолеты, доктора и беседуя с репортерами. А целая туча сыщиков носилась за секундантами, револьверами, репортерами и доктором.

Условия были выработаны жестокие: сойтись в 8 часов утра на Горячем поле, оружие — пистолеты, стрелять до тех пор, пока один из противников будет убит.

Узнав из газет об условиях — публика содрогнулась.

* * *

За день перед дуэлью Перерепенко заглянул под свою кровать, увидел сыщика и, дружески поздоровавшись с ним, сообщил:

— Я думаю, что вы не разболтаете: завтра у нас в 8 часов утра на Горячем поле дуэль. Только смотрите никому — ни слова!

— Ну, что вы! — обиделся сыщик.
— Не забудьте же — в 8 часов! А то перепутаете...
— Будьте покойны.
— Имейте же в виду: 8 часов — Горячее поле! И ради Бога не вечера, — а — утра!

Вечером накануне дуэли Довгочхун встретил в кухне неизвестного человека и, помявшись, сказал ему:

— Небось вы не прочь бы узнать — где у нас завтра будет дуэль... Да не на таковского напали! Дудки! Так я вам и сказал! Вы думаете, так я сейчас и выложу: стреляться, мол, будем на Горячем поле, в 8 часов утра! Нет, дудки! Скажи я вам, что мы стреляемся завтра в 8 часов утра, на Горячем поле, так вы еще и помешаете!

* * *

Из газетной хроники:

«Несостоявшаяся дуэль. Дуэль между депутатами Перепенко и Довгочхуном, о которой так много толковала пресса и публика, — не состоялась. Несмотря на то, что все приготовления были окружены строгой тайной, утром, в день дуэли, на Горячее поле нагрянул отряд конной полиции и переписал как секундантов, так и дуэлистов, заставив их разъехаться. Инцидент между депутатами считается исчерпанным. Все недоумевают — откуда могла пронюхать полиция о поединке. Хвалят умелую, остроумную организацию сыскного отделения и тонкий нюх агентов»...

ВЕСЕЛЫЙ ПОЛЕТ

В корзине летящего шара.

— Чего ты хохочешь?

— Да как же... хотел выбросить мешок с балластом, а, вместо того, в темноте по ошибке Петра Петровича выбросил!.. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха!..

ЖЕРТВА ВЕЧЕРНЯЯ

— Говорят, у вас подозиртельно постоянное счастье в картах?
— Да какое же счастье, когда почти каждый день бьют?!

ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ

Союзник. А и гладкая же, чтоб ты лопнула!.. Хочешь лобызнуть меня? Не хочешь? Ну и наплевать. Не видал я вашего брата... На Невском сколько угодно. Еще лучше — в шляпках!

Октябрист. Ты того... этого военного писаря брось... Что с того, что он молодой... А у меня зато 15 тысяч годового дохода. Что ты говоришь? Обещал жениться? Что ж и я могу жениться... Когда-нибудь, после. Там уже видно будет! А ты, однако ж, не проболтайся своему военному писарю о том, что я тебе говорю. А то, ведь, я их знаю, влюбленных. Пойдет еще жаловаться по начальству. А нам с военным министерством ссориться теперь нехорошо.

Мирнообновленец. Когда я вас вижу, уважаемая Аглая, мне хочется лить, лить потоки радостных слез. Я мечтаю о том моменте, когда буду счастлив прижать вас к своей груди, и в то же время мне грустно: я боюсь, что помну тот розан, который приколот к вашим девственным персям!

Кадет. Нет, дорогая! Я могу целовать, потому что в этом нет ничего, по закону, предосудительного. Но дальнейшее — подождем свадьбы, которая санкционирует наше чувство, освятит его таинством брака, которому я хотя и не придаю, по своим убеждениям, значения, но должен считаться в своих шагах с установленными на этот предмет и не отмененными еще, в законодательном порядке, нормами.

Примечание. Ввиду того, что партии левее кадет сидят в тюрьме — мы лишены всякой возможности проследить отношение членов этих партий к другому полу... Это, конечно, жалко, но это так!

ИЗ СЕРИИ «ПРАЗДНЫЕ ВОПРОСЫ»

— На чем вы играете, г. музыкант?

— На ударном инструменте.

— Почему же вы держите в руках скрипку?

— Потому что, когда мне задают глупые вопросы, то скрипка легко может превратиться в ударный инструмент!

ТОЧНЫЙ ОТВЕТ

На уроке арифметики.

— Янкелевич, объясни мне, что такое — процент?

— Процентом называется такое, от чего, если у Сидорова круглое три, так он попадет в гимназию, а у Янкелевича если круглое пять, так ему говорят: пойди еще погуляй, Янкелевич...

— Барин, купите попугая...

— Да ведь он не говорит!

— Вам же лучше. По крайности, дураком вас за это не назовет.

БОЛЕЗНЕННОЕ САМОЛЮБИЕ

— Почему этот актер тебе не кланяется? Ведь ты знаком с ним...

— Ах, это прославленное, болезненное актерское самолюбие... На днях я дал ему пощечину, он и обиделся.

УБИЙСТВЕННАЯ ЛОГИКА

За обедом.

— Вы говорите, что этот суп постный?! Но он удивительно напоминает скоромный! Позвольте... Да здесь плавает говядина!

— Вы не смущайтесь. Это — постный суп!

— А говядина?!

— Скажите, если бы в миску постного супа положить ложку сливочного масла... Суп сделался бы скоромным?

— Конечно!

— А я сделал то же самое наоборот: в миску скоромного супа влил ложку постного масла... Суп и сделался постным!

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

— Октябрист-то полевел как за последнее время!

— А ты почем знаешь?

— Да шпик за ним густо пошел.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

— Боюсь, как бы турки не взяли себе Крит.
— Да вам-то чего же бояться?
— А я Мишке своему только вчера учебник географии новый купил... Вдруг переменять придется. А он, батенька, шесть гривен без переплета стоит!!

— И чего это октябристы из кожи лезут?
— Они хотят сделать из нее портфели.

СТИХОТВОРЕНИЕ В ПРОЗЕ

Однажды я прогуливался по улицам с одним из ярких представителей оппозиции.
— Конституционные нормы, — говорил он мне, размахивая возбужденно руками, — настолько уже зафиксировались, что их абсолютно невозможно аннулировать. Незыблемая почва, на которой стоит наше право...
К нам поспешно подошел блюститель порядка.
— Руками тут не дозволено размахивать! Чистая публика ходит.
И, толкнув моего спутника кулаком в затылок, он зевнул и медленными шагами вернулся на свой пост.
Мы, молча, продолжали наш путь.
— Не сдобровать теперь блюстителю! — подумал я.
— Вы думаете, что он меня больно ударил? — спросил мой спутник. — Ни капельки! Ха-ха! А он, чудак, думает, что больно. Так, слегка только толкнул. Но не больно... Совсем не больно, уверяю вас! На чем я, бишь, остановился? Да! Незыблемое право... которое аннулировать никак...
Он остановился у телеграфного столба и заплакал.

СЕКРЕТНАЯ СДЕЛКА

— Изво-о-озчик! К Покрову — двугривенный.
— Не ори так громко! А то лошадь услышит, что всего двугривенный — шагом идти будет.

В РЕДАКЦИИ

— Так это вы написали эти стихи: «Я помню чудное мгновенье»?

— Да. Я-с.

— Очень рад познакомиться. Василий! Стул господину Пушкину!.

ДЕШЁВАЯ ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА "САТИРИКОНА"

ВЫПУСК 19

НАДГРОБНЫЕ ПЛИТЫ

(1911)

круги по воде

ПОСЛЕ ЮБИЛЕЯ

Об этом странном случае не может быть двух мнений: кому я ни рассказывал о случае с мужиком, утверждали, что это сон; да и я сам склонен так думать... Слишком было бы нелепо, неприятно и позорно-глупо, если бы подобный случай мог действительно наяву произойти в такой культурной стране, как Россия.

* * *

День пятидесятилетнего юбилея князя Мещерского прошел шумно и весело.

Изнемогая от почестей, старый князь потихоньку выскользнул из комнаты, где пировали гости, пробрался в пустую тихую библиотеку и прикурнул там в глубоком кожаном кресле.

Старый князь до сих пор утверждает, что он не спал, и что сановник, который вошел в библиотеку вслед за ним, был настоящий реальный сановник.

Хотя это утверждение проверить довольно трудно, но вот что, по рассказу маститого журналиста, произошло дальше:

Сановник на цыпочках подошел к князю и хлопнул его по плечу.

— Уважаемый князь Мещерский, — сказал сановник, — вы пишете ваши статьи очень великолепно. По-моему, вы самый умный, понимающий человек в России. Князь! Скажите — как вывести Россию из тупика?

Князь отвечал:

— Очень просто!.. нужно всякому человеку дать то, что он заслуживает: мужикам — розги, дворянам — мунди-

ры земского начальника, а мне субсидию. Ведь я об этом сколько раз писал.

Услышав это, сановник побарабанил пальцами по книжному шкафу, испустил вздох облегчения и сказал:

— Раз вы находите все это необходимым — хорошо. Так мы и сделаем. Вот вам мужик и записка в волостное правление. Мужика вы поведите посечься, а записку отдайте волостному правлению: в ней, между прочим, написано, чтобы вам выдали субсидию в двадцать тысяч.

В этом месте весь эпизод опять принимает странный неправдоподобный характер: откуда в княжеской библиотеке мог взяться мужик, почему князю обещали субсидию из сумм волостного правления и почему князь получил такое странное поручение — доставить лично мужика для посечения? Все это, вопреки утверждению князя, пахнет небылицей, сонной грезой и носит характер нарочитой придуманности...

* * *

Князь Мещерский вежливо раскланялся с сановником, взял записку и, схватив мужика за руку, потащил его из библиотеки.

— Пойдем-ка, брат, в волость, — сказал князь, — сечься тебе необходимо.

— Ну что ж, — равнодушно согласился мужик. — Необходимо, так необходимо. Секали нас и допреж того.

Они шагали рядом по узкой проселочной дороге, и князь, размахивая перед носом мужика дрожащей старческой рукой, объяснил ему.

— И-ах, как же вас сечь-то нужно, мужиков. Потому народ вы простой, темный. Где вы какое другое удовольствие видите?

Мужик, сопя, отвечал:

— Это так. Никакого тебе приятства.

— То-то вот и оно. Почтительности нет в вас, чертях. Его сиятельство пакет в руках несет, а рядом смерд шагает с *пустыми* руками. На, неси мой пакет, чтоб ты лопнул!

— Для ча не понести? Понести можно, мил человек, — засмеялся мужик. — Рука, будем сказать, не отвалится.

* * *

У дверей волостного правления, к которому приблизился князь со своим спутником, толпилась кучка мужиков.

— Здорово, добрые люди! — сказали мужики.

Мужиченко, пришедший с князем, выдвинулся вперед и, выпятив грудь, церемонно сказал:

— Драсте, люди! Я сам князь буду, а вон того мужичка сечь привел.

И он указал корявым пальцем на стоявшего невдалеке князя.

Сердце князя замерло от ужаса.

— Что ты врешь, дурак?! Не верьте ему, братцы! Это я князь, это я его сечься привел. Всыпьте ему побольше! Он простой мужик.

Мужиченко с очень натуральным изумлением всплеснул руками.

— Это я-то простой мужик? Да я, вошь ты этакая, и говорить-то по-мужицки не могу! Он, ребята, мужик и есть. Оно, конешно, сечься никому не охота, — только ты, парень, хвостом не крути... Все равно не открутишься.

Мужики подошли и взяли князя за руку.

— Вы не смеете, — закричал князь. — Я человек нежный, образованный.

— Хороший образованный, — укоризненно сказал мужиченко. — Образованный, а поступки твои глупые. Какой же ты есть князь после этого?

Князь рванулся.

— Mais c'est incroyable! C'est moi le prince! Oh! Sales betes!![1]

— Чего это он, братцы? — удивились мужики.

— Притворяется, — сказал мужиченко. — Никакой он не образованный. Вот я так образованный: се тре журавле, кашне, портмоне!

Мужики прислушались.

— Двитсвительно, у тебя быдто бойчее.. Что ж, брать его, что ли?

— Берите! — махнул рукой мужиченко.

— А мне, по моему княжескому званию, пожалуйте супсидию по этому пакету. Двадцать тысяч истиннику.

* * *

[1] Но это невероятно! Это я князь! О! Грязные скоты!! (*фр.*).

Князь кричал:

— Ой-ой! Вы не имеете права... Я буду жаловаться земскому.

— Эва! — крякнул один мужик. — Да земский тебе же еще и прибавит.

— Ой-ой-ой!

Хотя я и привел рассказанный выше странный эпизод почти целиком, тем не менее считаю его просто небывалым случаем, основанным на непонятном недоразумении... Слишком было бы глупо, пошло и нелепо, чтобы в наше время, в центре успокоенного государства, произошла подобная путаница с деятелем, служившим полвека родной журналистике и литературе.

По-моему — просто это расстроенные нервы, утомленные почестями и комплиментами...

ФРАНЦУЗЫ В ПЕТЕРБУРГЕ

> Французские гости, депутаты Палаты от всего виденного ими приходили в восторг.
>
> (*Фраза из 10 газет*).

Впервые, французы пришли в восторг — в Вержболове.

— А вот это — жандарм... — смущенно указал граф Валуев, проходя мимо громадного усатого мужчины в форме.

Французы переглянулись, толкнули друг друга локтем под бок и радостным хором вскричали.

— Жандарм?! О, как это мило... Прелестно! Русский жандарм... Мы прямо в восторге!

Валуев облегченно вздохнул.

Французы оказались премилыми, толковыми людьми...

* * *

В Петербурге гости ходили, ошеломленные всем, что им ни показывали.

С утра около Европейской гостиницы стояли таксомоторы.

Впервые, когда французы увидели автомобили, они сделали изумленные лица и ахнули.

— Какая прелесть!! Что это такое?

— Это — автомобили, — снисходительно отвечал секретарь Хомякова, прикомандированный к гостям. — Последнее слово техники. Действуют без лошадей, без кнута — одним бензином. Не желаете ли осмотреть механизм?

Пораженные французы осмотрели механизм, все время восклицая:

— Какая прелесть! Первый раз нам приходится видеть это... О, эти русские! Великая нация.

Когда поехали по петербургским улицам, автомобиль подскакивал аршина на полтора от земли. Депутат Фромажо откусил конец языка и, с присущей французам деликатностью, незаметно выплюнул его за борт автомобиля, а Пуллан все время ударялся головой о колени Колэна и, испуганный, позеленевший, повторял:

— Как мило!.. Нам это очень нравится! Спасибо.

Секретарь Хомякова все время молчал. Потом открыл рот и с усилием сказал:

— А у нас... река... есть...

— Что вы говорите?! — изумились французы. — Вот никогда не думали... О, покажите! Покажите нам вашу реку!!

Поехали к Неве.

— Мосты есть разные у нас... рыбы разные, пароходы...

— Нет, и пароходы есть? — недоверчиво спросил д'Эстурнэль-де-Констан. — Неужто, и пароходы?

— Есть. Без парусов ходит, без весел — одним паром. Гудит так: гу-у-у!

— Покажите нам парохо-о-оды, — умоляюще протянул Колэн. — Мы никогда не видели пароходов.

Были на Неве.

Когда подъехали, д'Эстурнэль вежливо спросил:

— Это Тихий океан?

— Нет! — дрожа от гордости, ответил секретарь. — Это река.

— Господи! Какая громадина. Спасибо вам, спасибо.

Осмотрели реку, осмотрели и пароходы. Секретарь подарил французам по куску каменного угля, того самого, который идет для пароходов, — и восторгу гостей не было пределов. Они часто вынимали подаренные куски угля из карманов, любовались их блеском и спорили, сравнивая, чей больше.

Секретарь со снисходительной улыбкой смотрел на зарубежных гостей.

* * *

Ехали обратно.

— Смотрите, смотрите! — воскликнул восторженно Колэн. — Что это такое?

— Это так себе, — сказал секретарь. — Это русский городовой, а это какой-то мужик. Он его просто тащит в участок.

— Какая прелесть! Остановите, пожалуйста, автомобиль — мы хотим посмотреть. Какой прелестный бокс! С какой поразительной ловкостью он касается своей сжатой рукой затылочной кости и ушной раковины его противника. Браво, городовой, браво!!

Тут же держали пари — кто кого победит.

— Дети! — с внутренней улыбкой думал про себя секретарь Хомякова.

По пути французы обратили внимание на громадный воз перевязанных веревками газет, влекомый двуя дюжими лошадьми.

— Что это такое?! — спросил Колэн.

— Это какая-нибудь газета конфискована. Везут для сожжения.

— Прелестные лошади, — похвалил д'Эстурнэль.

— А заметили, какое у извозчика интеллигентное лицо?.. О, эти русские — великая нация!

* * *

Были в Думе.

— Объясните нам ваш законодательный аппарат! — попросил, осматриваясь, д'Эстурнэль-де-Констан.

— Да аппарат несложный, — отвечал секретарь. — Вон та высокая штука называется трибуной, тут вот сидят депутаты, а там президиум. Кроме этой, еще есть всякие комнаты. Очень удобно.

— Нет, не то, — сказал, терпеливо улыбаясь, француз. — Какой у вас, вообще, порядок законодательства, рассмотрения законопроектов?

— Да порядок у нас простой: министерство вносит законопроект, мы его принимаем. Точно так же, если и мы по своей инициативе вносим что-нибудь — министерство не принимает.

— Прекрасно! — сказал француз. — Надо будет повезти этот порядок во Францию. Кстати, покажите мне какого-нибудь популярного депутата.

— Можно, — согласился секретарь. — Эй, Тимошкин! Пойди-ка сюда. Вот они хотят с тобой познакомиться. Дай им руку. Руки-то мыл?

— Конечно! — угрюмо прогудел Тимошкин. — Еще позавчера! Драсте!.. Променад бламанже модес ет робес. Россиям приезжал лягушатник, э? Почему Франциям не сидела, а?

— Как он прекрасно говорит по-французски! — восхищенно вскричал д'Эстурнэль. — Вы, вероятно, воспитывались во Франции?

— Гунияди! — похлопал француза по плечу Тимошкин.

— Какое у него умное лицо, — дружески сказал депутат Ларкье.

— Очень, очень умное! — горячо подхватили французы. — Редко приходилось нам видеть подобные лица.

Тимошкин, скромно потупившись, тихо ржал в кулак.

* * *

Уезжали.

Когда ехали на вокзал, навстречу попался шедший откуда-то Сашка Половнев.

Он сжал руку в кулак, протестующе погрозил французам и закричал:

— Чтоб вы пропали, окаянные! Ноги бы вам переломать! Чтобы не шатались, куда не нужно!

— Прекрасный у него голос, — похвалил д'Эстурнэль-де-Констан. — Густой такой.

— Развивать нужно такой голос, учиться! — подхватил граф де-Лабатю.

— О, это великая нация, — заявил, стараясь скрыть зевок, Колэн.

* * *

Сели в вагон.

— Постойте, — сказал, прижав палец к губам, д'Эстурнэль. — Мы одни?

— Одни, — ответил Колэн. — Двери заперты. Не бойтесь.

Все уселись и долго молчали. Только д'Эстурнэль покрутил головой и сказал:

— Ну-ну!

— Нда-а-а, — протянул, стараясь не встречаться взглядом с соседом, Колэн. — Это — марка!!

КОНЕЦ

Однажды учитель еврейской школы говорил ученику:

— Шепшелевич! Ты не был в школе целую неделю... Что это значит, паршивый мальчишка?

Маленький Шепшелевич моргал глазами, смотрел в потолок, изумленно оглядывал собственные черные от чернил пальцы и, подумав с минуту, деловито отвечал:

— Нельзя было.

— Что значит — нельзя? Почему — нельзя?

— Занят был.

— Какое может быть у ученика занятие? Что ты делал, например, в воскресенье?

Шепшелевич задумался.

— В воскресенье? Я не мог. Я уже совсем собрался идти в школу, выхожу, а около наших ворот агромадная собака лежит. Хорошее, думаю, дело выйдет, если она меня укусит! Пришлось вернуться и сидеть дома, как проклятый. Такая жалость!

— Гм... Ну, а в понедельник... Тоже собака лежала?

— Какая там еще собака! Я уже совсем было собрался в понедельник, выхожу, иду себе через базар — смотрю, стоит толпа — вора бьют! Такая толпа, что ужас! Уй, думаю... Как же мне пройти через такую толпу? Посмотрел себе немножко, как его бьют, и пошел домой.

— Хорошо. А во вторник?

— А во вторник ко мне пришел один человек и сказал: сегодня суббота. Так я, дурак, поверил и не пошел в школу. Знай я, что это не суббота, а вторник, самое было бы лучшее — пойти в школу.

— Ты большой шарлатан, Шепшелевич... Почему ты тогда не был в среду?

— В среду мамаша утром покупала апельсинов. Так я боялся, если уйду, то мои сестры и братья без меня их скушают. Ну, я остался сторожить. Никак нельзя было отойти.

— А, чтоб ты пропал! Почему же ты в четверг не был заниматься в школе?

— На тебе! Один день не придешь — так уже начинаются разговоры. Будто один день и отдохнуть нельзя...

Это анекдот.

* * *

А вот факт.

Председатель скорбно говорил:

— Господа депутаты! Что же это за народное представительство?! Что ж мы с вами — в лошадки играем, или дело делаем? Взрослые вы, солидные люди, а поступаете как мальчишки... Вчера опять трехсот человек не хватало... Не снимать же мне с вас сапоги, чтобы вы не убегали?!. Вот вы, депутат, Клопягин... Отчего вы не были вчера и позавчера, и третьего дня?..

Депутат Клопягин лениво поднимается с места...

— Вчера у одного моего знакомого молебен был. Он табачную лавку открыл.

— А позавчера?

Депутат Клопягин задумался.

— Позавчера? Я уже совсем было собрался, вышел из ворот, а какой-то жулик вытащил у меня кошелек с мелочью. Идти пешком далеко — я и не пошел...

— А в пятницу почему вы не были?

— В пятницу нельзя было. Моя квартирная хозяйка рожала.

— Не вас же она рожала, в самом деле? Почему *вы* не могли прийти? Ну, скажите откровенно — почему вы не являетесь на заседания?

Депутат Клопягин застенчиво стер пальцем с пюпитра пыль и вдруг прослезился.

— Скушно, г. председатель... То есть, так тут скушно, так нудно, что лучше с моста, да в воду, чем сюда приходить. Воду лучше возить, на Неве лед скалывать, чем тут сидеть. Что мы такое делаем? Что мы такое говорим?

— Не хнычьте, — поморщился председатель. — Смотреть противно! Господа депутаты! Нужно принять какие-либо меры, во избежание такого манкирования...

Встал лидер эсдеков.

— Самое лучшее — распустить эту Думу и собрать новую уже начисто, настоящую...

Поднялся кадет и заговорил тягуче-монотонно:

— Закономерная деятельность правительства, отсутствие произвола и основы гражданственности, вложенные в законодательный организм — могли бы совершенно аннулировать абсентеизм...

Октябристы презрительно улыбнулись...

— При чем тут аннулирование, абсентеизм. Вы бы еще о кодификации упомянули. Штрафовать нужно просто за неявку.

— Ну, уж и выдумали, — захохотали правые. — «Штраф»! Напугали до смерти. Просто посадить здесь зубного врача... Кто не пришел один раз — зуб ему щипцами выломать, другой раз не пришел — другой зуб к черту! Шелковые будут.

Кто-то схватился руками за голову и застонал.

— Братцы!.. Да, ведь, нудно тут, скушно! Мухи дохнут от нашей работы!..

— Братцы! И отчего же вы все такие, что смотреть на вас тошно?..

Он разрыдался.

— Выведите его, — сказал председатель.

Его выводили, а он кричал и грозил кулаками.

— Засушили! Живых людей маринуют, чтоб вы пропали! Трупом тут у вас пахнет, мертвечиной... Рот песком забили и грязной тряпкой заткнули!.. Вот она, ваша планомерная работа!

Все сидели печальные, сконфуженные...

* * *

На другой день в Думе присутствовали только 18 депутатов с председателем.

* * *

Пришел в Думу депутат Гулькин... Он был честный, прямолинейный старовер и решил, что если ему платят жалованье, то нужно работать.

Растолкал сонного недоумевающего швейцара и с тайным страхом вошел в большой дремлющий зал заседаний...

Шаги гулко отдавались на пустых хорах... Бойкая мышь пробежала, издав пронзительный писк...

Вошел прямолинейный Гулькин на трибуну, потрогал графин с полувысохшей, застоявшейся водой... развернул какую-то бумажку...

— Заседать будете? — спросил швейцар, вздыхая.

— Засяду, Михеич.

Швейцар ушел.

Честный прямолинейный Гулькин тихо побрел на свое место, сел и сделал вид, что слушает оратора...

За трибуной послышался вздох, шорох и выползло странное, покрытое пылью и паутиной, существо. Оно, очевидно, отвыкло от людей и дико посмотрело на Гулькина.

— Барон?! — крикнул потрясенный Гулькин. — Вы ли это?...

И оба молчали: честный прямолинейный депутат и забытый всеми Фирс — начальник охраны опустевшего дворца...

Где-то скреблась мышь.

МЕРТВЫЕ ДУШИ

Представитель ведомства Павел Иванович Чичиков беседовал с октябристским депутатом Собакевичем по вопросу об увеличении депутатского жалованья.

Чичиков распространился насчет общего безденежья, указал на финансовые затруднения казны и закончил уверенностью, что г.г. депутаты будут скромны в своих требованиях.

Октябрист Собакевич посмотрел в угол и мрачно сказал:

— Наша цена — по четвертному за штуку в сутки!

Представитель власти Чичиков открыл рот и долго сидел так...

— Что же, разве это для вас дорого? А какая, однако, будет ваша цена?

— Моя цена! Я полагаю, положа руку на сердце — двенадцать целковых на нос красная цена!

— Эк, куда хватили! Ведь я не за сапожников эту цену назначил...

— Но ведь и не за настоящих же депутатов! Ну, какие они, сами посудите, депутаты! Так, что-то.

— Они-то? Да они все, как на отбор. Герценштейн, Михаил — по аграрному вопросу лучше всякого министра! Иоллос, депутат...

Чичиков открыл рот, чтобы заметить, что ни Герценштейна, ни Иоллоса, однако же, давно нет на свете, но октябрист Собакевич понесся на всех парах:

— А Петрункевич, Петражицкий! Да будь они где-нибудь в Англии — цены бы им не было.

Представитель власти хотел заметить, что и Петрункевич и Петражицкий, кажется, в тюрьме, но октябриста Собакевича прорвало...

— А Караваев, трудовик! Как говорит! Аладьин, рабочий. Что ни речь — малина. Тихвинский, священник.

— Но позвольте! — перебил, наконец, Чичиков, изумленный таким наводнением слов. — Зачем вы исчисляете их качества? Ведь в них толку нет никакого: или перемерли, или перебиты, или по тюрьмам сидят. А что толку с мертвых?!

— Да, конечно, мертвые, — сказал октябрист Собакевич, как бы одумавшись и припомнивши, что в Думе их, в самом деле, нет. — Но и живые не хуже: Тимошкин, депутат, — как о театре говорит! Бобринский, граф — в эту комнату не войдет, такой солидный. Гучков, Александр — всю государственную оборону ведет — все сам!..

— Извольте, по три рублика набавлю!

— Да, что вы скупитесь в самом деле! В одном месте за песочные россыпи по четвертному платите, а тут за молодой здоровый народ жметесь! Челышев, Михаил, скажем. Мужчинище — косая сажень в плечах. Пуришкевич — двойные сальтомортале делает, на голове стоит! Забавник.

— Да ведь у нас денег не хватит на четыреста с лишком человек!

— Эва! Хватили. Где же там четыреста. И половины не наберется.

— Ну, как же так... А по спискам...

— Что, списки! Человеческое дело, списки. Мы их сократим. Колюбакина — исключили, Косоротова — исключили. Списочек-то и усыхает. Сказал депутат речь о французской горчице — вон. Поздоровался с избирателем — долой. Списочек короче воробьиного носа и выйдет.................

* * *

Из газет: «В виду объяснений, представленных октябристской фракцией по вопросу об увеличении депутатского жалованья — вопрос этот, как мы слышали, будет решен в утвердительном смысле».

НЕБЛАГОНАДЕЖНОСТЬ

Одесса. Числящийся в прогрессивном списке окраинный домовладелец Тараканов, у которого найдены списки и брошюры, спасся от трехмесячного ареста вступлением в союз русского народа и опубликова-

нием отказа от кандидатуры в гласные. Некоторых из кандидатов прогрессивного списка ген. Толмачев вызвал в свою канцелярию и под угрозой приказал им отказаться баллотироваться в гласные.

Хроника

— Вы — Тараканов? — отрывисто спросил генерал.

— Я — Тараканов, ваше пр-во, — ответил Тараканов.

— Хороши, нечего сказать, — покачал головой генерал.

Польщенный Тараканов поклонился.

— Хороши, нечего сказать!! — вскричал генерал.

Тараканов перестал быть польщенным.

— Осмелюсь...

— Вы уже осмелились, господин Тараканов! Кто это надоумил вас баллотироваться в гласные?

— Я имею ценз...

— Вам нельзя, Тараканов, быть гласным.

— Почему, ваше пр-во?

— Нехорошо. Что же это такое — Тараканов и вдруг — гласный! Соблазн. Нет, вам нельзя быть гласным.

— Но, по закону...

Живые, бойкие глаза генерала сразу сделались мутными, безжизненными.

— По...?

— Закону, ваше пр-во!

Генерал пожал плечами.

— Не понимаю. Ничего не понимаю. По... чему?

— По закону! Закон, ваше пр-во. Lex[1].

— Так. Все-таки гласным вы не будете...

— Но по зак...

— Сидоров! Сапуненко! — закричал генерал. Когда Сидоров и Сапуненко вошли, генерал добродушно спросил Тараканова:

— Итак — вы хотите быть гласным?

— Нет, ваше пр-во, не хочу. Чего я там не видел — в гласных этих... Одна слава, что гласный, а в сущности — мираж, беспокойство.

— Я рад за вас, Тараканов. Ступайте, Тараканов.

Через день Тараканова опять позвали.

— Боюсь я, Тараканов, — угрюмо сказал генерал, — что в глубине души вы все-таки хотите быть гласным...

---

[1] Закон (*лат.*).

Тараканов смутился.

— Ей-Богу, не хочу.

— А ну — посмотрите мне в глаза... Конечно, хотите!

Генерал подошел к окну, побарабанил по нем пальцами и повернулся к домовладельцу.

— Вот что... Не хотите ли записаться в союз русского народа, а?

— Не хочу, ваше превосходительство.

— А может быть, записались бы?

— Нет... Что-то не тянет меня.

— А вы все-таки запишитесь!

— Спасибо, но...

— Не хотите? Жаль. Сапуненко! Сидоров!!!

— А где можно записаться? — спросил Тараканов. — Я думаю, сегодня еще можно успеть?

Генерал его успокоил:

— Успеете.

И еще призывали Тараканова.

— У вас жена, говорят, кадетка?

— Примыкает, ваше пр-во.

— Это скверно, что примыкает. Вы не собираетесь с ней развестись?

— Нет, зачем же. Я ее люблю, ваше пр-во.

— А то бы, может, развелись?

— Но мы уже пятнадцать лет...

— Сидоров! Сапу...

— В сущности, я бы и не прочь был развестись, но предлога, ваше пр-во, нет.

— Какого предлога?

— По закону..

Глаза генерала опять сделались мутными.

— По... чему?

— Закон такой есть. Lex. Знаете, как это говорится: dura lex — sed lex![1]

— Паспорт с вами?

— Есть, ваше пр-во.

Генерал взял паспорт, развернул его, зачеркнул слово «женат» и сверху написал: «холост».

---

[1] Закон суров — но это закон (*лат.*).

— Видите, как просто. Скажите ей, чтобы сегодня же выехала от вас. Пусть теперь себе примыкает куда хочет!

— Тараканов! — печально говорил генерал. — Не радуете вы меня... Все было бы хорошо: и в гласные перестали баллотироваться, и с женой развелись, и в союз русского народа вступили... А все-таки чего-то у вас не хватает.

Похудевший, изможденный Тараканов развел руками.

— Чего же не хватает, ваше пр-во?

— Бороды.

— Боро... ды?!

— Да, бороды. Какой же вы истинно-русский человек, если у вас бритое лицо... Соблазн.

— Я запущу, — прошептал Тараканов.

— Завтра же, — сказал генерал.

Тараканов, испуганный, побледнел.

— Как же так — завтра?

— Так: сегодня у нас среда, а завтра четверг. В четверг чтобы у вас была борода. Можете лопатой, можете клином или еще как-нибудь — я никого никогда не стеснял.

— Но по закону природы...

Живой блеск генеральских глаз пропал.

— По... чему? Сапунен...

— Завтра к вечеру — можно? — торопливо спросил Тараканов.

— Гм... к вечеру? Можно.

— Я — клинышком?..

— Повторяю вам — я ничьей свободы не стесняю. Ступайте, Тараканов.

Из одесских газет:

«За неисполнение распоряжений администрации высылается из Одессы на все время действия охраны одесский домовладелец Тараканов».

СПАСЛИ ГАЗЕТУ

Газета «Вятская Речь» была оштрафована за то, что в ней помещена ошибочная заметка об утонувшем мальчике.

(*Из газет*).

Сначала прибежал репортер Кузькин.

— Извините, Василь Василич! — сказал он, — мой грех!

— Что еще? — побледнел секретарь, чуя недоброе.

— Дал я заметку о мальчике, который утонул, а он, негодяй и не думал тонуть! Не смотрите на меня так, Василь Василич... Вы сердце у меня внутри переворачиваете! Ударьте уж лучше.

Секретарь заскрежетал зубами:

— С каким бы наслаждением я взял бы эти большие ножницы, вонзил бы их в вашу идиотскую спину, да повернул бы, повернул бы раз десять!!

Вбежал другой репортер Мышкин.

— Василь Василич! — сказал он испуганно вращая глазами. — Дайте мне по морде!

— То есть... Это для чего же вам!

— Да уж дайте! Дайте!! После увидите, что стоило. Да покруче. Так, зуба на три.

Мышкин потупился и, покачав головой, стал сосать измызганный карандаш.

— Не было драки? А вы дали заметку? А? А чтоб ты подавился своим карандашом, проклятый!! В гроб вы меня вгоните!!

— То есть оно... драка-то была, только не на базаре, а в доме купца Шестипудова и не драка, в сущности говоря, а крестины шестипудовского младенца Карпа, на которых дьякон сказал речь о вселенских соборах... Сам не знаю, как я напутал!

Секретарь судорожной рукой схватил ножницы, но в это время влетел третий репортер Редькин, в противоположность своим коллегам радостный, веселый, улыбающийся.

— Господа! — кричал он еще издали, — могу вас порадовать приятной вестью! Наш уважаемый артист Малютин-Скуратов, о котором я вчера дал заметку, что он отравился в трактире Мерзавцева рыбой и положение его безнадежно — оказывается на пути к полному выздоровлению. Завтра встанет! Сейчас только узнал.

Секретарь посмотрел с ненавистью на его сияющее лицо и процедил сквозь зубы:

— Болван!

— Не скажу. Парень он недалекий, правда, но зато — душа общества! Какие армянские анекдоты рассказывает...

— Нет, это вы болван! — взвизгнул секретарь. — Чему радуетесь?! Не знаете, что бывает за сообщение в печати ложных сведений?!

Редькин потускнел, опустился и его жизнерадостный тон, как рукой сняло.

Кузькин посмотрел на него и убежденно сказал:

— Дурак ты, Редькин!

Мышкин постарался быть точнее:

— Не столько дурак, как кретин...

Секретарь уже не слушал их разговора. Он щелкал костяшками счетов, бормоча про себя:

— Мальчишка — положим пятьсот рублей... Да драка — от пятисот до тысячи... Актер, думаю, немного будет стоить — они не в цене: от двухсот до трехсот... Итого — 1200–1800!!

Опять он сжал кулаками виски и потом решительно поднял голову.

— Вот что, господа... Мы должны спасать газету! Есть один способ...

Все трое обрадовались.

— Говорите! Все равно погибать. На рожон пойдем!

— Ступайте и сделайте так, чтобы ваши сообщения соответствовали истине.

Секретарь многозначительно посмотрел на репортеров.

* * *

Кузькин вел за руку босоногого мальчишку, который во всю мочь визжал на какой-то свистульке, и говорил ему:

— Пойдем, я тебе что-то покажу с берега. Мальчишка заинтересовался.

— Може рак?

— Там и раки, и рыба — все будет. Только пойдем со мной — не бойся.

Мальчишка доверчиво шагал за репортером, пока они не подошли к пустынному обрывистому берегу реки.

— Вон, видишь! Под корягой... Там, дальше!

Репортер сильной рукой толкнул мальчишку в спину. Тот мелькнул в воздухе босыми загорелыми ногами и, не успев вскрикнуть, скрылся под водой.

Кузькин подождал, боясь, что он выплывет, но, к счастью, страх его оказался неосновательным.

Успокоенный, он весело шагал по направлению к базару.

Редькин преувеличенно радостно вкатился в номер лежащего на кровати Малютина-Скуратова и затрещал:

— Ну, как здоровье?! Поправляешься? Принес тебе бутылочку винца. Разопьем! Для здоровья пользительно.

Он налил два стакана и, выждав, когда актер утомленно закрыл глаза, всыпал в его стакан какой-то белый порошок.

— Твое здоровье! Поправляйся.

Застенский привычным жестом опрокинул стакан в глотку, сейчас же выпучил глаза и, без звука свалился на подушки.

Адская улыбка показалась на мрачном лице Редькина.

— Готово!

Подержав маленькое зеркальце около рта покойника, он облегченно вздохнул и помчался на базар.

На базаре сошлись все трое.

Действовали по заранее намеченному плану. Мышкин подошел к проходившему пьяненькому мещанину и сказал ему искусственно возмущенно:

— Как вы позволяете, чтобы этот негодяй называл вас жуликом?

Мещанин поднял свои отуманенные, свирепо пьяные глаза и спросил, нахмурившись:

— Кто назвал?

— Вот он.

Репортер указал на извозчика, мирно дремавшего на козлах около трактира.

— А-а! Покажу я ему жулика!

Мещанин подошел, осмотрел критическим взглядом извозчика и, нацелившись ему в зубы, ударил.

Извозчик свалился на мостовую.

Это видели из окна трактира.

Выскочили несколько человек и, обрадованные представившейся легальной причиной, навалились на мещанина...

Извозчик с трудом поднялся, вытер кровь с лица и, подумав немного, сбил кадку с головы проходившего мороженника.

Бой разгорался по всей линии.

Ликующие репортеры полетели в редакцию.

Газета была спасена.

ВСЕПРОЩЕНИЕ

Один добрый человек приехал к отцу Восторгову и, помявшись немного, сказал:

— Мне вас жалко. О вас распространяют такие ужасные слухи — а вы молчите.

Кроткий, печальный взгляд Восторгова устремился в потолок... Если бы можно было снять верхние этажи и крышу того дома, где жил Восторгов — взгляд его, без сомнения, дошел бы до неба.

И он... улыбнулся! Этот добродетельный святой пастырь нашел в себе силы кротко улыбнуться!

В этой улыбке было все: и прощение врагам своим, и смирение, и вера в высшую правду.

— Да... — сказал посетитель, откашливаясь. — Говорят, вы там, в тифлисской гимназии... с гимназистками... которые потом еще самоубийством покончили... Помните?

— Дьявол смутил людей! — утирая слезы, прошептал О. Восторгов. — Ядом клеветы отравил он человечество! Впрочем... Бог их прости! Я на них зла не имею.

— Вы-то на них зла не имеете. А вот они на вас имеют.

— О, жалкие, заблудшие слепцы!.. Охо-хо! Мир во грехах...

— Значит, все это — клевета.

— Не подобает пастырю, — тихо покачал головой Восторгов, — осуждать людей и наипаче врагов своих. Но, положа руку на сердце, скажу: да, это — клевета!

— Удивительно! Вы знаете, что они перечисляют даже фамилии загубленных вами гимназисток?

— Хитроумен дьявол в своих кознях! Знаете ли вы, что в тифлисской женской гимназии не было даже таких гимназисток!

— А какие же были?

Светлый взор Восторгова снова пронизал потолок, два верхних этажа, и засиял нездешним светом... будто бы ангелов видел праведник в голубом эфире.

— Какие были? Никаких не было.

— Непостижимо! — удивился посетитель. — Как же так: женская гимназия — и не было никаких гимназисток?

— Шипящая клевета со змеиным жалом... Кто вам мог сказать, что гимназия была — женская?

— Неужели, мужская?

— Нет, не мужская, — лучезарно и открыто улыбнулся пастырь.

— Господи, помилуй! Да какая же?

— Никакая, — без колебаний отвечал Восторгов, купая свой взор в далеких небесах. — Гимназии совсем не было!

— Чудеса! — искренно изумился посетитель. — Как? Чтобы в Тифлисе не было женской гимназии?

— В чем, в чем? — добродушно прищурился Восторгов.

— В этом... Я говорю — в Тифлисе.

— Да вы были когда-нибудь в Тифлисе?

— Нет... не приходилось.

— Так откуда же вы знаете это слово?

— По географии помню... на карте России... Еще о нем в газетах писали.

— Меня печалит только то, — задумчиво, с гримасой боли, прошептал Восторгов, — что эти люди не увидят царствия небесного. Слишком много грехов на них! Чтобы погубить безвинного, они способны целый город выдумать!..

— Батюшка! Но ведь Тифлис существует!

— И вы? — схватился руками за голову Восторгов. — И вы на меня?! Ну, что ж... Я вас прощаю. Может, вы меня умертвить хотите? Что ж — умерщвляйте... А я в это время молиться за вас буду.

— Дело не в том, — поморщился посетитель. — Извольте: я готов поверить, что все это клевета. Только ответьте мне: почему вы не хотите преследовать этих людей за клевету?

— Бог с ними!

— Как же так — Бог с ними? Ведь этим они порочат ваше доброе имя!

— Бог с ним, с добрым именем. Меня оценят там!

Беззлобно усмехнувшись, Восторгов показал пальцем на потолок.

— Там? А кто там живет, в следующем этаже? — наивно спросил посетитель.

— Там? Помещается редакция газеты «Колокол». Но я говорю «там» — еще выше! Понимаете?

— Ага... Но только видите ли, пока вас будут ценить там, — здесь вносится большая смута в умы верующих. Подумайте: все говорят, что ваша пастырская ряса обрызгана кровью невинных детей, а вы этого не опровергаете!

— Бог с ними. Я на них зла не имею.

— Да верующие-то что о вас подумают?!.

— Что бы они обо мне ни подумали — я буду о них молиться!

Голос Восторгова зазвучал сильно и мужественно. Так говорили первые христиане, вознося молитвы за травивших их римлян.

— Непостижимо! — всплеснул руками посетитель. — И вы будете молчать, в то время, как ваше имя треплется по всем газетам, в то время, как ваш сан купается в грязи и крови страшных обличений?!

— Как бы меня ни называли, — с упрямством истого праведника сказал Восторгов. — Как бы ни унижали, ни грязнили — я буду молчать и только молиться за оскорбляющих.

— Да ведь престиж священнослужителя...

— Я буду молиться и за престиж!

— Не говоря уже о газетной скандальной хронике...

— Я буду молиться и за хронику! — упоенный, в каком-то мученическом экстазе, воскликнул Восторгов. — Пусть она меня оскорбляет, обвиняет, — я прощаю и ее... Бог с ней!

Как звезды сияли глаза пастыря. Голос сделался нежным, серебристым, музыкальным.

— О, как вы прекрасны! — восторженно воскликнул посетитель. — Я вижу — для вас ничто не страшно и ничто не дорого, кроме Высшего Суда! Я вижу, что земной суд, который скоро будет назначен над вами, и тот — не устрашит вас!

Взор Восторгова сполз с потолка на стену, со стены на пол... С пола вскарабкался по ногам посетителя к его лицу и — застыл на нем.

— Земной суд? О каком земном суде вы толкуете?

— Я имею сведения, — сказал посетитель, дружелюбно постукивая ногой, — что дело о тифлисских гимназистках находится уже у прокурора и скоро предстанет перед судом. Вы на днях должны, вероятно, получить извещение.

О. Восторгов неожиданно схватился руками за голову, присел на пол и, сверкнув глазами, хрипло закричал:

— Ах, мерзавцы, чтоб им вечно гореть на неугасаемом огне!! В суде дело?! О, попадись вы мне — с каким бы удовольствием прокусил я ваше горло и по капле высосал вашу проклятую, зловредную кровь!! Доехали!!

И, бесчувственный, рухнул на пол.

МЯГКОЕ СЕРДЦЕ

Ввиду широкого интереса, который вызывают теперь в обществе к себе провокаторы, мы отправились к одному из них, с целью осветить в живой беседе роль, значение и приемы этого интересного братства.

Хозяин встретил нас с живейшей радостью и, пожимая руку, приветливо сказал:

— Добро пожаловать! Наконец-то и о нас вспомнили. Может быть, через посредство печати общество узнает, как мы живем и работаем, заинтересуется нами и, узнав нас ближе, оценит и полюбит нас.

— Скажите, маэстро, — спросили мы, — занятие ваше требует, вероятно, страшной силы воли и упорства характера?

Он застенчиво улыбнулся.

— Как раз напротив. Характер для нашего дела не подходит. Доброта, слабохарактерность, чисто славянское благодушие — вот суть того, что требуется для нас.

— Скажите! — удивились мы. — Кто бы мог подумать... Почему же это?

— Очень просто. Вы знаете, например, как я начал?

— Нет! Но мы слушаем с захватывающим интересом.

— Я с детства был добрым. Мой отец и моя бабушка были добрыми. Мать моя не могла без слез видеть процедуры кипячения воды, так ей было жаль бедных малюток вибрионов. Но однажды в Швейцарии мне удалось встретиться с человеком, который доказал, что в России не все хорошо так, как кажется.

— И вы?

— Я и размяк. Литературу им привозил в Россию, оружие. Но как-то, представьте, попался. Мной заинтересовались: «У вас, говорят, такое доброе лицо... Расскажите нам что-нибудь о ваших друзьях!» «Да как же так, говорю... Удобно ли это?» «Почему же неудобно?» «Да, ведь, они революционеры!» «Что ж такое, говорят, что революционеры... Это уж так на роду написано: одни революционеры, другие нереволюционеры, третьи еще какие-нибудь... Это уж так Бог устроил...» Ужасно хорошо говорили. «Эх, думаю, была не была — расскажу!»

Хозяин конфузливо развел руками и прибавил:

— Говорю же вам, что характер слабый. Размах чисто славянский!

— Ну, а потом?

— А потом к тем поехал опять. Те тоже пристают: «Голубчик, устрой покушение!» «Да как же это так, говорю я, неловко как-то!» «Почему неловко? Очень даже ловко!» Ну, по слабости характера взялся я. Оборудовал все в лучшем виде. Да потом зашел как-то к тем... Пристали с расспросами: как да что, да с кем, да кого? Не выдержал — проболтал с ними целый вечер. Вином угощали, кахетинским... Денег дали... Так и живу я с тех пор «на два семейства».

— В каком же случае вы искренни? — полюбопытствовал я.

Его открытый, простодушный взгляд изумленно уставился на меня.

— Конечно, в обоих случаях. Неужели, вы могли подозревать...

— Простите, — покраснел я, — но это такой редкий случай раздвоения личности...

— Редкий? Да ведь на этом держится вся наша профессия! Если мы сейчас с той компанией — мы совершенно искренно руководим ими и помогаем, не думая о последствиях... Являемся сюда — наше искреннейшее желание — помочь и разъяснить все туманные, неясные пункты здесь.

— Неужели?

— Конечно! Да иначе нам бы не верила ни та, ни другая сторона. «Самая лучшая политика — искренность», как сказал, кажется, Меньшиков.

— А скажите, — замялись мы. — Вы существующими порядками довольны?

Он внимательно посмотрел на меня и потом весело сказал:

— Ни капельки. Всюду беспорядки, хищения. Нужно призывать народ к борьбе за свои права! У меня есть заграничные брошюры, я вам дам сейчас...

— Позвольте, — воскликнули мы испуганно, — ведь я же знаю, кто вы такой!

Он добродушно расхохотался, дружески ткнув меня пальцем в жилетку.

— Экая проклятая привычка... Ну, не буду, не буду!

Откашливаясь от смеха, он протер свои темные очки и небрежно спросил:

— Знакомых имеете?

— Имею.
— А кто они такие?
— Да разные. Мало ли. А вам для чего?
— Хотите заработать?
Я безмолвно посмотрел на него.
— Ну, не буду, не буду... Экий народ пошел! С ним и пошутить нельзя.
— Разрешите еще один вопрос, — сухо спросили мы, — долголетни ли люди вашей профессии?
— Как вам сказать... не всегда! Болезни всякие, то да се.
— У вас не существует общества взаимопомощи?
— Где там! Разве с русским человеком устроишь что-нибудь... Я предлагал как-то товарищам устроить эмеритальную кассу, основать клуб, читать лекции, организовать школьное преподавание для наших детей... Да так все и осталось в области мечтаний...
Взгляд его стал печален и меланхоличен. Провожая нас, он спросил:
— Не найдется ли у вас, случайно, бомбы до послезавтра?
— Нет.
— Я вам отдал бы потом такую же самую, а? Ну, хоть револьвер одолжите? Дома-то, наверное, есть?
Хотя беднягу жаль было огорчать, но я ответил, что нет и револьвера.
— Может, почитать что-нибудь есть на ночь? Книжки какие или прокламации? Скучно как-то по вечерам... Я бы отдал после, а?
— Прощайте, — лаконически сказали мы.
— Зачем же прощайте, — весело крикнул он нам вслед. — До свиданья лучше!

О СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ

Предисловие

До сих пор весь культурный мир находится в страшном сомнении: открыт ли Северный полюс или не открыт? И если открыт — то кто его открыл? Пири или Кук? Автор долго бился над разрешением этого вопроса и, ничего не добившись, предлагает считать Северный полюс не открытым. Пусть его открывает кто-нибудь третий — «начисто». А для

того, чтобы сохранить в потомстве предыдущие две попытки, автор и приводит (см. ниже) этот безыскусственный рассказ. Составителям учебников географии разрешается благожелательным автором вводить его в курс средних учебных заведений.

В одной американской газете появилась статья за подписью:

«Доктор Кук».

Доктор писал:

— Несмотря ни на что, я считаю необходимым отдать должное капитану Пири: он, действительно, исследователь! После моего возвращения с Северного полюса он, пробравшись ко мне однажды ночью, так хорошо исследовал содержимое моего чемодана с заметками о полюсе, что теперь имеет в руках массу материалов об открытии Северного полюса. Благомыслящие люди дадут должную оценку этому исследованию!

На следующий день американцы прочли небольшую статью за подписью:

«Капитан Пири».

Пири писал:

— Если отдать должное доктору Куку, то он, действительно, открыл Северный полюс, но, к сожалению, открыл он его на 12 градусов ближе. Впрочем, если доктор Кук уверен, что он был под девяностым градусом северной широты, то мы ему, отчасти, верим... Так можно говорить, будучи, действительно, «под градусом». Ха-ха!

Доктор Кук ответил капитану Пири не менее тонко:

— Может быть, честь открытия Северного полюса и должна бы принадлежать Роберту Пири (Роберту ли? Пири ли? У меня есть неопровержимые данные, что под этим именем скрывается известный авантюрист, прикосновенный к делу Эмбер), — но очень странно: почему он объявил о своем открытии только тогда, когда у меня стали пропадать на почте письма, адресованные моей жене, с данными о великом открытии?! Интересные письма я писал своей жене, господин Пири, а? Как вы находите их? Для тех же остолопов, которые сомневаются в том, что Северный полюс открыл, действительно, я — могу указать на свидетелей — двух эскимосов, сопровождавших меня в экспедиции...

В ответ на это, Роберт Пири иронизировал в другой газете:

— Конечно, если г. Кук выставляет свидетелями двух эскимосов, то мы принуждены ему верить... Может быть, он также выставит свидетелями пару собак, которые ему сопутствовали в его прогулках в двух верстах от самоедской деревушки? Может быть, он выставит свидетелем свой знаменитый чемодан, кстати похищенный им у меня же во время наших предыдущих экспедиций?

Кук ответил:

— В статье уважаемого коллеги Пири есть некоторые непростительные для полярного исследователя несообразности: так, например, он ставит на одну доску эскимосов и чемодан. Популярный исследователь в душевной простоте считает слово «эскимосы» обозначением какой-нибудь полярной обуви или северного растения? Могу его разочаровать: эскимосы — суть живые люди, и не моя вина, если Пири никогда не видел их, пьянствуя всю жизнь в компании подозрительных отбросов в трактирах Миддль-тоуна, исключившего его из числа своих граждан за мелкие мошенничества. Если Пири и открыл полюс, то он может выставить единственных свидетелей — юрты и нарты. Кстати, видел ли господин Пири когда-нибудь северного оленя? Он уверен, вероятно, что это животное двуногое, покрытое перьями, с рыбьими плавниками... Ха-ха!

— Многих, вероятно, интересует, — писал Пири, — как пришла в голову Куку идея открыть полюс? Просто, один из его знакомых, сжалившись над несчастным, подарил ему для пропитания дворовую собаку. Кук сел на нее верхом и поехал на Северный полюс. Вот как он путешествовал «на собаках»... Ха-ха!

— Из достоверных источников, — ответил в газете Кук, — мне известно, что Роберт Пири — один из величайших плутов Америки!

— Не могу сказать того же о Куке, — вежливо ответил Пири, — потому что Кук один из самых мелких мошенников Европы!

* * *

После этого один из друзей Кука отправился к одному из друзей Пири и спросил его:

— Так вы утверждаете, что Северный полюс — ваш?

— Да, — сказал друг Пири. — Потому что мы его открыли. А ваш Кук неспособен открыть даже коробки с анчоусами.

— Вот как? — покачал головой друг Кука и, вынувши нож, зарезал друга Пири.

Потом пришел к Кукову другу самый лучший друг Пири, и после пятиминутной беседы застрелил Кукова друга.

Друзья Кука и Пири уменьшались с поразительной быстротой.

* * *

Однажды Пири явился к президенту Тафту и сказал:

— Я пришел вам сделать такой подарочек, от которого вы с радости подпрыгнете до потолка: я вам дарю Северный полюс!

Тяжелый на подъем Тафт уклонился от проектируемого горячим Пири прыжка и сказал, улыбаясь:

— Америка вам за это очень благодарна! Америка в отплату за это хочет вам сделать подарок не менее по-царски щедрый: она дарит вам половину лунной поверхности!

— Спасибо. А скажите, — с беспокойством спросил Пири, — кто ее открыл? Уж не Кук ли?

* * *

В это время в английском посольстве сидел Кук и беседовал с посланником:

— Берите. Отдаю вам бесплатно. Мне не жалко.

— Куда же нам с ним, — возражал посланник. — Ведь жить там нельзя?

— Право, возьмите. Отдаю вам его только потому, чтобы он не достался этому мошеннику — Пири.

Нет, нам пока Северного полюса не потребуется, — вздохнул посланник. — Может, кому другому предложите.

— Я уже предлагал, — сказал, разводя руками, Кук, — отказались. Норвегии предлагал, Франции, России — не берут. Возьмите!

— Не надо!

— Право, взяли бы. Я вам за то, когда открою Южный полюс, то и Южный отдам! Чтоб уж до пары...

— Нет, не надо. Сходите в германское посольство; может, там требуется...

Кук откланялся, надел в передней две меховых шубы, шапку с наушниками, влез в сапоги и вышел на улицу.

— Подайте, барин, милостыньки, — подошел к нему хромой нищий. — Что-нибудь.

— Что-нибудь? — спросил добряк Кук, растроганный, со слезами на глазах. — Хорошо, мой друг: я отдам тебе Северный полюс! Сегодня же можешь и забрать его...

БЕЗРЫБЬЕ

По окончании ревизии интендантств последует ревизия московской таможни, где ожидается разоблачение многолетних систематических хищений.

Кроме того, предполагается ревизия сооружения окружной московской дороги.

Московская сваха Фекла сидела перед купеческой дочкой Агафьей Тихоновной и говорила:

— А не хочешь этого — возьми другого. Мало ли их на Москве. Вон Крутилов, Егор Иваныч — такой славный. По сыскной части служит. Да у меня, говорит, все во где сидят! Да кулак и сожмет. А кулачище-то у него с ведро! Такой славный.

— Ах, нет, нет... Они там, говорят, колотят арестованных... Еще меня прибьет!

— Ну, что ж, матушка... Дело мужское. Не каждый же ведь день прибьет: иной день выберется такой, что и не прибьет. А не хочешь этого — можно другого прибрать. Уж на что лучше, ежели, скажем, взять Василь Васильича Ампошеева!

— Военный?

— Не военный, но на линии военного: интендант!..

— Ах, Феклушка!

— Что это ты так всполыхнулась?

— Интендант! Да ведь он на руку нечист.

— И чего там — нечист. Дело известно какое — казенное.

— Да ведь он в дом-то ко мне знакомиться придет, и стащит что-нибудь.

— Так ведь это — пока не поженились. А после он не из дому, а в дом тащить будет. А ты, как придет — верхнее с вешалки припрячь подальше, да к чаю, вместо серебряных ложек, фраже положи. Ну, если и спустит что ненароком в карман — дело известное, жениховское.

— А какое он жалованье получает?

— А жалованье хорошее: 47 рублей 52 копейки.

— Да ведь на такое жалованье голодать будем!..

— И-и, матушка! Где там! Он намедни говорит мне: ищи мне, Фекла, невесту с иностранными языками... Потому, говорит, я с ней каждый год за границу на кислые воды ездить буду.

— Да что ж он — богатый?

— Говорю ж тебе, милая, что 47 рублей получает.

— Путаешь ты что-то, старая. А еще кто?

— А еще Чичиков, Павел Иваныч. В московской таможне служит. Этот уж на руку чист до чрезвычайности. Каждый день по ящику заграничного мыла домой приносит. У меня, говорит, чтоб жена в шелках-бархатах ходила! Такой славный.

— Богатый, чай?

— 37 рублей 82 копейки жалованья одного. Да квартирных 2 рубля 11 копеек. Такой славный! Только одно нехорошо — французинку с левого бока имеет и в шмендефер шибко поигрывает.

— Да на какие же деньги?

— А на 37 рублей 82 копейки. Опять же квартирные.

— Невдомек мне чтой-то. А еще кто?

— Да если не нравится Павел Иванович, возьми, пожалуй, Винтикова, Арсентия Ивановича: на московской окружной дороге служит. Такой славный. Только тот — прямо говорю: берет! И берет изберет. Каждый божеский день берет. Такой славный! Теперь под суд его, слышь, отдают.

— Да что ж ты, дура, таких женихов мне предлагаешь, которых под суд отдают!

— Да ведь теперь уж порядок такой, матушка: как хороший жених — или под судом, или отсиживает.

— А те, прежние?

— И те, кто под судом, кто так: сидит. И Крутилов под судом, и Чичиков, Павел Иванович и Винтиков. А Ампошеев, как из тюрьмы выйдет, сейчас же и под венец может. Такой славный!

— Да что ты мне все тех суешь, которые берут. А ты дай мне таких, которые не берут! Есть?

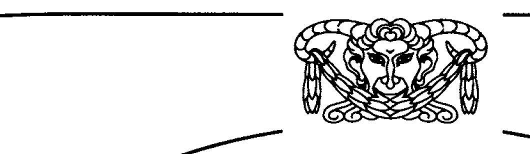
— Как не быть, матушка! Иванов студент, Петров адвокат... Васильев, редактор — очень даже хорошие господа.

— Ну, так что же?

— Да то, матушка, они...

— Ну?

— Тоже сидят.



ДЕШЁВАЯ ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА “САТИРИКОНА” ВЫПУСК 25 (1911)

круги по воде

СПЕЦИАЛИСТЫ

Жизнь помещика Червякова, владельца хутора Большие Блохи, протекала в полной тишине, довольствии и мирных забавах.

Помещик Червяков давно уже собирался заменить свои ежемесячные поездки в уездный город большой поездкой в далекий Петербург, но несколько лет откладывал это героическое решение.

Не так давно помещик Червяков закончил свои дела по хутору Большие Блохи, отслужил молебен и, с замирающим от предвкушения неизведанных чудес сердцем, поехал в столицу.

* * *

Оглушенный шумом и бешеным движением города, Червяков добрался до гостиницы, отдохнул и после обеда решил отправиться к портному заказать сюртук, потому что Червяков прекрасно понимал разницу между Большими Блохами и Петербургом...

На какой-то широкой улице он увидел дом с вывеской: «Портной Хасин» и, не колеблясь, зашел к этому портному.

— Вы и есть портной Хасин? — приветливо спросил Червяков, раскланиваясь.

— А почему нет? — отвечал Хасин.

— Вы бы сшили мне сюртук?

— А почему нет? — отвечал Хасин, с той же интонацией.

Желая сделать приятное такому покладистому человеку, помещик Червяков сказал:

— Очень большой ваш город Санкт-Петербург!

— А почему же нет? — сказал хозяин, гордо поглядев в окно. — Вам заказ нужно на какой класс?

Червяков немного не понял портного, но подумал и ответил:

— На 2-й класс. Я приехал 2-м классом.

— При чем тут расписание поездов? — возразил Хасин. — Я спрашиваю, на особу какого класса я должен шить форменный мундир?

— Да мне не форменный! С чего вы взяли, что форменный? Простой черный сюртук.

— В таком случае, вы извините меня, если я извинюсь перед вами: это не моя специальность.

Червяков удивился:

— Да ведь вы же портной!

— Ну, что делать?.. Другие бывают и генералы, и министры, а я портной. Тоже, знаете, хлеб.

— Так отчего же вы отказываетесь сшить мне сюртук, если вы портной?

— Видите, есть портной на духовное платье, на светское, на студенческое, а я на чиновническое. Когда имеешь свою специальность, так это, знаете, тоже кусок хлеба с маслом.

— Куда же мне пойти?

— Идите себе к Семенову на Вознесенский. Только Семенов вам сюртук не сошьет. Могу вас успокоить! Он специалист на клоши и именно диагональ...

— Может, еще кто-нибудь есть? — растерянно спросил Червяков.

— Робинсон еще есть, — подумав, ответил Хасин. — И он прекрасно шьет сюртуки.

— Так я и пойду к нему!

— К Робинсону? Не ходите. Он прекрасно шьет сюртуки, но какие? Студенческие. Вашего он и не возьмет. Это не есть его специальность... Можно бы к Куруляйнену, но он только гениальный на брюки. А что такое одни брюки? С ними одними, извините за нескромный вопрос, не обойдешься, бывая в обществах!..

Червяков грустно попрощался со специалистом по чиновническому и пошел домой.

* * *

На улице к нему подошел неизвестный человек в красном гарусном шарфе и спросил:

— Можно узнать, который час?

— Сделайте ваше такое одолжение! — приветливо сказал помещик Червяков. — В таком громадном городе, как ваш, не знать, который час, — это...

Червяков вынул свои толстые серебряные часы, а неизвестный человек схватил их, оторвал с частью цепочки и бросился бежать.

— Зачем вы взяли мои часы? — закричал Червяков. — Отдайте! Они мне самому нужны.

Он погнался за похитителем, но скоро устал и, увидев постового городового, подбежал к нему.

— Господин городовой! У меня сейчас ограбили часы.

— Ну-у?! — сказал городовой. — Прыткий народ.

И, обернувшись к извозчику, городовой скучающим голосом стал ругать его на чем свет стоит.

— Городовой! — воскликнул Червяков. — Отчего же вы его не догоните?

— Кого? — удивился городовой.

— Да того, который часы у меня отнял!

— А он где у вас отнял?

— Да вот около этого желтого дома, где фотографические карточки выставлены.

— Где карточки? Так это не мне нужно ловить! Это вон того городового попросите, который стоит, видите, вон там! Он в один минут поймает вашего жулика.

Другой городовой, к которому обратился Червяков, изумленно повернул к помещику свое красное лицо и сказал:

— Вас ограбили около того дома? Так тот городовой врет! Там уже начинается его район!

— А он говорит — ваш.

— Там, где карточки выставлены? Правда, до этого окна мои, а там дальше окно уже его. Хотя, видите ли, наша специальность — следить за порядком движения! А ежели вам требуются жулики, то это — сыскное отделение должно. У нас, извините, свое занятие есть.

Червяков вздохнул, кликнул извозчика и поехал в сыскное отделение.

* * *

Сначала он попал в сыскное отделение по политическим делам, и там ему сказали, что жулики — не их специальность.

После долгих поисков Червякову удалось напасть на людей, специальность которых была — жулики и грабители, но толку он не мог добиться никакого.

— Вот вам альбомы, — сказали ему. — Пересмотрите фотографии. Может, узнаете своего жулика.

— Вот, кажется, похож, — сказал после долгих поисков Червяков.

— Этот? Гм... А что, вы говорите, у вас ограбили?

— Часы.

— Ну, этот никак не мог ограбить у вас часы. Он по специальности взламыватель касс. Может, этот?

— Да и этот как будто похож, — с сомнением сказал Червяков.

— А какие часы у вас ограбили?

— Серебряные.

— Тогда могу вас успокоить. Он чист в вашем деле, как Орлеанская дева! Его специальность — золотые часы и, преимущественно, с репетицией.

Червяков вытер ладонью руки мокрый лоб.

— Извините... Но я не понимаю... Что могло помешать ему ограбить и серебряные часы, если они ему подвернулись под руку?

Начальник сыскного отделения снисходительно улыбнулся.

— Хе-хе! Иван Матвеевич! — обратился он к помощнику. — Вот они предполагают, что Мотька Монокль мог отнять у них серебряные часы... Могло это быть?

— Это было бы неслыханно! — всплеснул руками помощник. — Серебро — вовсе не его специальность! Золото!

— Видите?

Червяков горько улыбнулся.

— Золото? Может, еще и 96-й пробы?

— Ну нет, этого не скажу. Он в этом отношении удивительно неразборчив. Не брезгует и 56-й пробой...

Из сыскного отделения помещик Червяков вышел совсем больной.

* * *

По дороге его била лихорадка... Голова была горячая, и живот сжимали какие-то судороги.

Боясь разболеться без медицинской помощи, Червяков спросил извозчика:

— Нет ли здесь близко больницы!
— Есть. Тамотка, за углом.
— Вези.
С извозчика Червяков еле слез.
— Здравствуйте! — сказал он швейцару. — Можно у вас лечиться?
— Сколько угодно. А где же больная?
— Какая?
— Да роженица. Это больница специально для рожениц.
— Значит, мне никак нельзя полечиться?
— Отчего ж... Только ведь с мужчинами такого не приключается. Хо-хо! А иначе — сами посудите! Никак нельзя!..
— Что ж ты, дурак, привез меня в женскую, — выругался Червяков, взбираясь на извозчика. — Ты вези в мужскую больницу.
— Пожалуйте!
Извозчик привез Червякова в больницу, но она оказалась — Калинкинская, и бедный помещик покраснел до слез, когда у него спросили о сорте его болезни.
— Опять ты, братец, напутал! — укоризненно сказал Червяков, выскакивая из ворот больницы. — Здесь черт знает какие болезни лечат!.. Вези уж домой... все равно!

* * *

В номере гостиницы он слег в постель и послал за доктором.
И здесь начался страшный кошмар...
Пришел высокий, сухой врач. Вежливо поздоровался с Червяковым и спросил:
— Нездоровы?
— Да, знаете...
— Пульс вам кто-нибудь пробовал?
— Нет еще. Я думаю, вы...
— Извините, — пожал плечами доктор. — Пульс не моя специальность. Я по носовым!
— Да ведь вы доктор?!
— Имею эту честь...
— Ну вот, у меня судороги в животе и лихорадка... Неужели вы не можете помочь?
— Право, я затрудняюсь...
— Я хорошо заплачу!..

— Гм... Вы говорите, в животе? Сейчас я посмотрю... Может, мы и разберемся. Нет ли у вас перочинного ножа?

— Зачем?

— Я бы распорол живот и посмотрел...

— Вы с ума сошли?! Пороть живот перочинным ножом... Никогда я вам не дамся!

Врач развел руками.

— Я же вам говорю, что я не специалист по желудочным! Бог его знает, как оно делается. Пошлите за Миллером.

Послали за Миллером.

Миллер пришел, внимательно исследовал Червякова и, покачав головой, сказал:

— Ничего не могу сделать...

Червяков побледнел.

— Помру?..

— Нет, но желудок у вас здоров. Боли выше. А я специалист по желудочным!

Миллер послал за доктором, который был специалистом выше желудка, и тот обнадежил Червякова:

— С сердцем неладно!

— Что же такое?..

— Видите ли... Точно я не могу вам сказать... Что-то такое, очевидно, с желудочком. А я, если вы прочли мою визитную карточку, специалист по предсердиям. Как вам известно, сердце имеет два предсердия и два желудочка. О! Если бы у вас болело левое предсердие — я бы совершил с вами чудеса! Гм... А теперь придется приглашать специалиста!

Червяков неожиданно встал на постели, с искаженным от боли лицом, страшный...

— Так вы специалист по предсердиям? И именно по левому? А вы по носовым болезням? По какой специальности: хрящ носа, внутренность или ноздри? И какая ноздря? Правая, левая? Вон отсюда! Чтобы духу вашего не было!

Он позвонил номерному.

— Укладывайте все! Черт с ней, с болезнью! Сегодня же уезжаю в Большие Блохи! Ха-ха! Позовите мне доктора, специалиста по большому пальцу правой руки! Я покажу ему кукиш!!

* * *

Приехав в Большие Блохи, Червяков немного оправился от дороги и сейчас же послал за своим кучером старым Филькой.

— Филька! — сказал Червяков. — Захворал я. Можешь выправить?

— А то нет! — удивился Филька. — Выправим.

— Так еще мне сюртук бы сшить.

— Да Господи ты мой... Был бы материал...

— Ружье мне починишь? Чулки свяжешь? Наливку сделаешь?

Филька шмыгнул носом.

— А то нет!

НЕУДАЧНАЯ ИГРА

(*Посвящается шахматистам прошедшего, настоящего и будущего*)

Один известный артист любил патетически восклицать при всяком удобном случае: «Сцена — это жизнь!»

Конечно, если бы он занимался игрой в рулетку или служил трактирным поваром, то это восклицание редактировалось бы в последовательном порядке совершенно иначе: в первом случае жизнью оказалась бы рулетка, а во втором — «кухня».

Поэтому я не был удивлен, когда услышал от своего партнера, завзятого шахматного игрока, фразу:

— Шахматы — это жизнь!!

Я возразил ему:

— Шахматы — это вздор!!

Может быть, с моей стороны было неловко делать такое утверждение после того, как я уже несколько лет трачу по 3 часа в день на шахматную игру...

Я давно изучил эту прокопченную табачным дымом, мрачную и самую дальнюю комнату большой кондитерской и всех лиц, изо дня в день торчавших здесь за шахматными досками.

В особенности мне примелькалась физиономия господина, сидевшего в настоящую минуту около нас в роли

безучастного зрителя. Я изучил каждую морщинку его изможденного, угрюмого лица, его нескладный, хотя дорогой костюм и его манеру, ни с кем не играя, часами созерцать чужие ходы, молча, без единого жеста, слова... Я знал, что он никогда не уходил ранее закрытия кондитерской, но так как его никогда не видели за доской, то этим человеком мало кто интересовался.

Сегодня он «состоял при нас», но мы начали свою беседу, даже не поворачивая, из вежливости, головы в его сторону, будто перед нами был пустой стул.

— Шахматы — это вздор!!

Мой партнер мягко положил свою руку на мою и сказал примирительным тоном:

— Ведь то, что мы говорим, не спор... Хотите, я сначала докажу, что шахматы — это жизнь, а потом вы можете доказывать противное.

— Ладно! — сказал я упрямо. — Посмотрим!

Газ еще не был зажжен, и ласковый сумрак осеннего дня окутывал нас, смягчая и неясные тени на стенах, и резкие слова.

— Шахматы — это сама жизнь! Вы скажете, что я поэт, фантазер, но взгляните на дело глубже... Вот мы поставили фигуры в первоначальном порядке. Это — начало жизни. Все стройно, величаво... Королева любовно стоит возле своего супруга. Помните, в Писании: «Жена да прилепится к своему мужу»! Здесь же и весь королевский штат: два щеголеватых офицера-адъютанта, дальше королевская конюшня, а в самом углу скромно поместились ладьи-фрейлины. Но скромны они и незаметны только в начале игры. Потом, как мы увидим, события возводят их на головокружительную высоту... Ну-с, и вот начинается игра! Вы знаете, конечно, что первый обычный ход — это два шага королевской пешки... Первые шаги королевского первенца — дитяти любви королевской четы! Увы! Только этот первенец и называется пешкой короля, потому что другие младенцы этого сорта бывают и от офицеров... Не сама ли это жизнь? И вот игра развивается: на первенца нападает враждебный конь, но его, как принца крови, защищает конь собственной конюшни, а следующим ходом и офицер. Теперь у короля с одной стороны стоит супруга, а с другой — скромненькая блондиночка-фрейлина. Король

не долго раздумывает... если он умный король... Несмотря на силу и титул его супруги, надежда на нее плоха. Она любительница всяких авантюр и уже с пятого хода приготовила себе выход, двинув на один шаг второго своего младенца, тоже принца, но уже не чистой крови, потому что он выдвинут от офицера. Ясно, что эта легкомысленная женщина намерена сейчас выступить на поиски новых приключений! Король в тоске и раздумье.

Такое гнусное предательство и ветреность его потрясают. Он стар, и его подагра не позволяет ему сделать более одного шага, а тем более гоняться сломя голову за неутомимой королевой. Что необходимо старому королю — это тихая семейная пристань да покой и защита со стороны преданного существа. Взор его обращается вправо и падает на скромную пухленькую блондиночку-ладью. Король, не раздумывая дальше, приближает фрейлину к себе, потом шагает через нее в угол и думает, что убил сразу двух зайцев: «И мне здесь за этим миленочком спокойнее, да и она будет поближе к супруге. Все-таки не как-нибудь — фрейлина! Хе-хе-хе!»

Смеется старый и не видит, что его ветреная подруга жизни уже выскользнула на простор и только знай поеживается от заигрываний чужих младенцев и офицеров, черных, как жук. Один из них в особенности нахален. Избалованный своей собственной властительницей — высокой пикантной брюнеткой, он сразу возымел коварные виды и на недальновидную блондинку. По первому абцугу он предлагает ей в подарок вороного коня, но ставит его так неудачно, что королева должна посторониться от удара. Глядь — а другой конь, под пару первому, уже стоит перед ней, раздувая ноздри! Хитрости у ее величества больше, чем ума. Она хочет и коня присвоить, и своего пылкого поклонника-офицера оставить с носом. Ей кажется это простым: стать бок о бок с обоими конями. «Здесь, — думает она, — брюнету не до амуров, нужно одного из коней спасать!» Но лукавый царедворец делает вид, что жертва одного коня для такой обольстительной женщины — плевое дело. Он уступает ей одного и, становясь за спину другого, начинает нашептывать разный любовный вздор. Принявши незаслуженный дар, королева чувствует себя не совсем хорошо. Конь-то принят, но что скажет супруг, княгиня Марья Алексевна,

да и сам обожатель, который едва ли бы сделал такой царский подарок из-за одних прекрасных глаз королевы. В предчувствии чего-то опасного и в смятении, королева растерянно приближает к себе одного из младенцев-пешек, неизвестно от кого появившегося на доске: так все перепутано! Увы! Это ее губит... Единственный вражеский конь, оставшийся на доске и отделявший ее от пылкого обожателя, вдруг делает нелепый скачок в сторону и объявляет шах королю! Старичок, сумрачно ворча, неохотно отодвигается в самый угол. А его дражайшая половина поднимает взор и вся вспыхивает: перед ней стоит черномазый воин, уже не заставленный вороными конями... Боже!!! Она открыта! «Один его шаг — и я попаду в его объятия! Он очутится в моей клетке! Стыд! Позор!! Ведь это измена мужу... А впрочем, этот сосед такой милый брюнетик... Тем хуже для мужа!» Она ждет, простирая белые руки, но чужестранец, достигши своего, грубо, без церемонии, сбрасывает ее за доску и сам нагло становится на ее место. Битва кипит на всем протяжении, а старый вдовец, забывши о государственных делах, рядом с ладьей предается изнеженности нравов... Он не видит, что от вражеской королевы его отделяет только пешка, что на эту пешку косится другой вражеский офицер, он не слышит последнего хрипения его слуг, жертвующих собою, чтобы отстоять своего короля от мата... Все напрасно. Белая пешка тихонько снимается, исчезает, и король в ужасе видит перед собою какое-то чуждое, зловещее существо. «Шах королю!» — звучит как погребальный колокол. Король выдвигается из угла и помещается против чужеземного офицера, уклоняясь от его косого удара. Тот, исполнив чужое поручение, до смысла которого ему нет дела, отходит. Король облегченно вздыхает. Но что это!! Безумие! Громы небесные!! Против него стоит чужая королева, и звучит в его ушах еще более похоронное: «Мат королю!!» Старец беспомощно оглядывается на свою подругу-ладью, в бессмысленной растерянности полагая, что она защитит его по косой линии, но та, как истая помпадурша, видя, что ее повелителю мат, смотрит прямо перед собой, и ее безмятежный взор будто бы с интересом рассматривает фигуру давно знакомой пешки. «Эх, не вовремя и не в ту сторону я рокировался!» — вздыхает король, и с этим последним вздохом отлетает царственная душа от дряхлого, старческо-

го тела... Игра кончена. И побежденные, и победители без церемонии сгребаются властной рукой с доски. Это конец жизни — смерть, которая не щадит ни правых, ни виноватых... Шахматы — это жизнь!..

В комнате зажгли газ.

Улица потухла, шум экипажей стал затихать, и мы молчали несколько минут, под впечатлением курьезной импровизации...

— Вы со мной согласны? — неожиданно обратился мой партнер к человеку с измученным лицом, третьему в нашей компании.

Неизвестный поднял свои голубые выцветшие глаза и с какой-то мучительной тоской прошептал:

— Ваша история, вероятно, очень забавна... Но я, простите... ничего не понимаю в шахматах!

Мы оба раскрыли рты и посмотрели на него с удивлением и страхом, как на помешанного.

— Как же так! — возразил, немного оправившись, партнер. — Я вас вижу несколько лет изо дня в день около чужих шахматных досок внимательно созерцающим игру посетителей, и вы говорите, что решительно ничего не понимаете?! Как хотите, это непостижимо!!

Глаза странного господина наполнились слезами. Он встал и, вынимая из кармана платок, сдавленно прошептал:

— Я здесь бываю уже восемь лет!..

— Но причина?..

— Можете же себе вообразить, какая дрянь моя жена, если я, только чтобы не быть с ней, предпочитаю убивать годы на созерцание игры, совершенно для меня бессмысленной.

Он истерически всхлипнул и, схвативши с подоконника свою шляпу, поспешно вышел на улицу.

Мы помолчали.

Я допил остатки холодного чаю и сказал, сладко потянувшись:

— Вот человек, который забыл вовремя рокироваться.

Мой партнер рассеянно обвел глазами пустые столики и равнодушно добавил:

— Или рокировался не в ту сторону.

ВЕСЕЛЫЙ СТАРИК

I. Проделка с рюмкой

Пятеро нас сидели в маленьком полутемном ресторанчике и потешались друг над другом.

Поэт Рославлев привязался к художнику Радакову, уверяя всех, что Радаков, вопреки своим хвастливым словам, совершенно не знает французского языка. Что он-де только производит на глупых людей впечатление знающего французский язык.

— Как же он это делает? — полюбопытствовали мы.

— Очень просто: он выучил только три французских слова: бонжур, комман и пуркуа... И вот умелой комбинацией этих слов, этого жалкого, нищенского запаса он достигает некоторой иллюзии человека, болтающего по-французски.

— Господа, — спросил обиженный Радаков, — какое сходство между толстяком Рославлевым и колесом?

— Ты хочешь вставить в него палку? — спросил Ремизов. — Знаешь, иногда в колеса вставляют палки.

— Сходства не вижу, — заявил я. — Колесо все-таки приносит человечеству пользу.

— Сходство есть! — воскликнул Радаков. — Оба круглые, оба скрипят, оба вращаются.

— Рославлев разве вращается? — удивились мы.

— Да. В нашем обществе.

— Ну вас к черту! — проворчал Рославлев. — Важное дело — вращаться в вашем обществе. Человек! Самую большую рюмку водки.

— Смотри — поплывешь.

— Ничего. Большому кораблю большое и плавание.

Когда ему принесли рюмку водки, я толкнул ногой Радакова и шепнул:

— Оттащи его в угол под каким-нибудь предлогом.

Не было человека понятливее Радакова.

— Сашенька, — прошептал он таинственно. — Я имею к тебе одно маленькое секретное поручение. Замешана женщина.

Рославлев заволновался, заморгал глазами, заерзал на стуле... Наконец вскочил и побежал в угол.

— Иди, иди сюда. Говори скорее!..

Я взял с подоконника графин с водой, налил другую рюмку, а наполненную водкой спрятал за портьеру.

Когда Рославлев вернулся, лицо его сияло.

— Неужели она сказала тебе это?

— Конечно. Я, — говорит, — видела обаятельных людей, но такого обаятельного человека, такой чарующей души не встречала.

Рославлев, довольный собой, хлопнул себя по животу и захохотал.

— Да уж я такой. Человек! А готов ли мой лещ в сметане?

— А что, Сашенька, — ласково спросил я. — Хорошо ведь под лещика такую рюмочку водочки выпить?

— О-о, братцы! Не можете себе представить!

— Верно, Сашенька?

— Ей-Богу.

— Да ну?..

Ему принесли леща в сметане.

Он взвизгнул от удовольствия. Положил на корочку хлеба кусок леща, посолил его, посыпал перцем, взял в руку свою чудовищную рюмку и зажмурился.

— Господи благослови! — сказали мы.

Он поднес ко рту рюмку, запрокинул голову и...

Я не сказал еще ни слова о пятом в нашей компании — толстом, веселом старике, который, полюбив нас час тому назад «как собственных маленьких детей», пристал к нашей компании на том-де основании, что он тоже веселый человек.

— Неужели веселый? — удивились мы.

— Да, верно.

— Что вы говорите!

— Уверяю вас. Я, скажу откровенно, господа, — очень привязался к вам.

— Это видно, — подтвердил Радаков.

— Очень привязались к нам, — засмеялся я.

— Да, вы привязались к нам, — засмеялся Ремизов.

— Ей-Богу, привязался, — захохотал старик. — А чего там! Я люблю веселых людей.

Мы переглянулись и похлопали его поочередно по плечу.

— Ладно. Садитесь, молодой человек.

Так он и остался с нами.

Если бы вместо воды я налил в рюмку уксусной эссенции, и тогда бы физиономия Рославлева не исказилась так, как теперь.

Он поперхнулся, закашлялся, схватился рукой за сердце — точь-в-точь неопытная девица, хватившая впервые рюмку крепкого коньяку...

Все мы смеялись, все, кроме веселого старика. Старик сидел, свесив голову, и печальная улыбка, как закат осеннего дня, освещала его лицо, покрытое сетью синих жилок, которые на красном носу достигали своего полного развития.

— Милые мои деточки! — сказал он, смахивая слезу. — Простите меня, но я вспомнил молодость. Это что еще — пустая мистификация с какой-то рюмкой водки, а вот...

— Не презирайте нас, — попросили мы.

— Я не презираю, господа, но мне грустно: как все измельчало, как все выродилось... Я, например. Вы себе представить не можете, какие мистификации я выделывал в своей молодости... Это были чудовищные, грандиозные поступки... И мой компаньон во всех этих проделках — Володя Ярнушкевич... Где-то он теперь? Вот это был, господа, человек! Помню его шутку с нашим приятелем Кашкадамовым... Что это была за история...

Старик замолчал, поглядывая на нас.

Мы тоже молчали, поглядывая на старика.

— Да, господа... смехотворнейшая история...

Мы молчали.

— Если я расскажу — со смеху помрете...

Мы молчали.

Наконец самый непоседливый из нас — Радаков — выругался и сказал:

— Кой черт! Вы, конечно, ждете, чтобы мы уцепились за вас с просьбами «расскажите, да расскажите», а мы не цепляемся за вас!

— Почему? — огорчился старик.

— А вдруг это будет какая-нибудь замогильная история?..

— Что вы! Что вы! Это самая курьезнейшая история.

И действительно... Это была одна из самых смешных историй, которые мне приходилось слышать.

II. Рассказ веселого старика

Как сейчас помню Володю Ярнушкевича... Здоровый, красивый, остроумный, с румянцем во всю щеку и громким раскатистым хохотом. У женского пола он пользовался самым бешеным, неимоверным успехом.

Однажды приходит он ко мне, оживленный, сверкающий, как никогда. Глаза сверкают, бриллиант в галстуке сверкает, изумительные пуговицы на жилете сверкают.

Приложился к ручке моей жены (жена у меня была красавица, умница — царство ей небесное), обнял меня и завертелся по комнате, сам себе аплодируя.

— Браво, кричит, Володя! Браво, Ярнушкевич! Хорошую ты штуку выдумал.

Я засмеялся.

— Успокойся, Володя. Наверное, новая победа?

Остановился, положил мне руку на плечо. Усмехается, как солнышко.

— Да, — говорит, — новая победа. Ты, знаешь, Васенька, не в моих правилах хвастаться своими победами, но я тебе должен кое-что рассказать, потому что ты, со своей стороны, должен помочь мне устроить препотешную штуку...

Я очень любил разные штуки. Оживился...

— Пойдем, Володя, в кабинет. Там расскажешь.

— Разговор короткий, — сказал Володя, когда мы перешли в кабинет. — Я вскружил голову одной твоей знакомой, и мне нужна твоя помощь.

— Какая знакомая?

— Жена твоего приятеля Кашкадамова, Марфинька.

Я ахнул.

— Да не может быть?! Марфинька? Ха-ха!.. А что же думает на этот счет дружище Кашкадамов?

— Он ничего не знает. Только как будто подозревает... И сидит весь день, как сыч, дома.

— Что ж тебе нужно от меня?

— Вытащи его часика на два куда-нибудь по важнейшему делу, а я в это время...

Мы схватили друг друга и стали хохотать. Веселые были...

— Вот осел Кашкадамов! — сказал я. — Правду говорит поговорка: «Муж узнает последний». А недурно было бы устроить с ним такую штучку. Ха-ха! Не будь дураком.

— Не правда ли? — подхватил Володя.

Я обожал всякие мистификации, и потому план у меня составился сразу.

— Это нужно сейчас сделать?

— Сейчас.

— Пойдем.

Вышли мы на улицу, смеемся. Я смеюсь. Володя смеется... Даже оглядываются все на нас.

Володя остановился у фотографической витрины, вынул портсигар, закурил.

Закурил из его портсигара и я. Нужно вам сказать, что портсигар у него был замечательный: чугунный, нарочито грубой работы, а в углу вставлены три жемчужины, рублей по сто каждая. Володя во всем оригинальничал, даже в этом.

Закурили мы, пожали друг другу руки и расстались. Он занял выжидательную позицию на скамейке в сквере, а я полетел к Кашкадамову.

Марфинька встретила меня как ни в чем не бывало... (Вы представить себе не можете, как эти женщины притворяются.) А Кашкадамов обрадовался.

— Наконец-то, — говорит, — выкарабкался ты из своей берлоги. Как живешь?

— Ничего, — говорю, — только я очень расстроен. У меня к тебе есть важное дело... Ты не можешь ли сейчас поехать со мной часика на два в одно укромное место?

— Если тебе очень нужно — пожалуй.

— Очень, — кричу я. — Очень!!

Одел я его, раба Божьего, повез в какую-то захудалую гостиницу на краю города (чтобы время-то, время протянуть).

— Да что такое? — спрашивает он по дороге.

— А то такое, — печально говорю я, смахивая слезу (игра была изумительная!), — что, может быть, завтра меня уже не будет в живых...

— Глупости! Что такое?

— Глупости? Ты так думаешь? Знай же, что завтра я должен драться на дуэли.

— С кем?!!

Я вынул из кармана карточку какого-то комиссионера по продаже велосипедов и показываю:

— Вот с этим. Ксаверий Белинский. Богатый польский помещик. Я ему вчера дал в городском саду пощечину.

— С ума ты сошел? За что?

— Он оскорбил какую-то приличную даму, а я вступился. Слово за слово...

Мой Кашкадамов забеспокоился.

— Черт возьми! Действительно, может быть, дело серьезное. А сейчас куда мы едем?

— В гостиницу «Калькутта». Туда должны приехать секунданты... Может быть, ты уговоришь их, урезонишь?..

Этот осел обнял меня, поцеловал; на глазах слезы.

— Будь покоен. Выручу.

Приехали мы в «Калькутту», потребовали бутылку вина и... просидели битых два часа.

— Где же твои секунданты?

— Недоумеваю, — говорю я, еле удерживаясь от смеха. — Не струсил ли пан Ксаверий?..

— А где он живет?

— Где? Он дал свой адрес: гостиница «Три звезды», № 39.

— Ага! Так вот что: едем к нему, ты подождешь меня на извозчике, а я выясню все, что нужно, с Ксаверием. Может, дело и улажу.

Я рассыпался в благодарностях, поцеловал его, поехали мы в «Три звезды». Спрашиваем у швейцара:

— Стоит в 39-м номере помещик Ксаверий Белинский?

— Никакого Ксаверия нет, да и номеров у нас всего тридцать два.

— Ну? — спрашивает меня Кашкадамов. — Как ты это все объясняешь?

— Как? Одно думаю: струсил мой пан, несмотря на то что я наделил его пощечиной, и дал фальшивый адрес. Во всяком случае, Кашкадамов, я очень тебе благодарен. Спасибо! Прощай. Мне пора домой.

Никогда, дети мои, человек, не бывает так доволен, как тогда, когда он подстроит гадость своему ближнему. Лечу я домой — ног под собой не слышу. Пообедал с таким удовольствием, как никогда, отправился после обеда в спальню вздремнуть, разделся, упал, как подстреленный, на широкую уютную кровать — и что же вы, детишечки мои, думаете? Мистификация-то, оказывается, еще не кончилась! Засовываю я руку с часами под подушку и — наталкиваюсь на что-то твердое. Вынимаю — портсигар! Грубой чугунной работы, с тремя крупными жемчужинами в углу.

До сих пор я недоумеваю: для чего это было сделано и кем это сделано?.. Если это жена хотела сделать мне сюрприз, заказав тайком дубликат (она знала, что мне Володин портсигар очень нравится), то почему она настойчиво отрицала это, когда я бросился ее благодарить? Если это Володя хотел сделать мне подарок за оказанную ему мною услугу с женой Кашкадамова, почему он не дал мне его в руки? Да и когда он мог успеть принести его, если жена клялась, что он не возвращался после того, как вышел со мной? Да и зачем ему было возвращаться ко мне, если он стремился к Марфиньке?

Можно было бы предположить, что, сидя у меня в кабинете, Володя забыл свой портсигар на столе, а прислуга, думая, что это мой, сунула его под подушку в нашей спальне... Но это невозможно: ведь портсигар был у Володи, когда мы с ним вышли от меня. Он сам, своими руками угощал меня папиросами...

* * *

Старик недоумевающе посмотрел на нас и умолк.

— Так вы и не знаете, в чем дело? — сочувственно спросили мы. — До сих пор?

— Так и не знаю. Но не правда ли — пресмешная история?

— Уморительная!!

Мы расхохотались, вскочили, бросились к польщенному старику и стали его целовать...

ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ

I

Господину Дукмасову

Гражданин Дукмасов! Завтра в восемь часов вечера положите под левое дерево у входа в городской сад 3000 руб. Если это не будет в точности выполнено вами — то в течение следующего дня вы будете убиты. Не пытайтесь доносить — вас это не спасет. Не пытайтесь скрыться — мы всюду отыщем вас.

Уполномоченный партии анархистов
«Черный Северный Орел».

II

Г. Дукмасову

Г. Дукмасов! Вы вчера осмелились нарушить наш категорический приказ. Сегодня вы должны были бы быть убиты. По этому поводу было экстренное собрание партии «Ч.С.О.», но голоса разделились: часть утверждала, что вас нужно убить без всяких отсрочек, а другая часть настаивала на том, что вы не исполнили приказания только потому, что не имели такой суммы. Согласившись со вторым мнением, даем вам отсрочку и назначаем новую сумму: завтра в 11 часов ночи положите под левое дерево у входа в городской сад 1000 рублей. В случае неисполнения вами вышеозначенного — на другой день вы будете лежать с простреленным лбом, а дом ваш запылает с четырех концов. Подписано:

Уполномоченный партии анархистов
«Черный Северный Орел».
Секретарь Коршун.
Исполнитель — Черноглазый.

III

Его высокородию господину Дукмасову

Молитесь, г. Дукмасов! Дни ваши сочтены... В течение завтрашнего дня вы будете убиты. Вы заставили членов нашей партии совершенно напрасно продежурить всю ночь под проливным дождем — и партия вынесла вам смертный приговор. Вы даже не положили под дерево какого-нибудь письма с извинением или объяснением причин. Может быть, у вас не было денег... Может быть, вы не успели взять их из банка... Бывают разные случайности. Нужно в таких случаях сообщать. Снисходя к вашему возрасту и имущественному положению, предлагаем вам завтра в 1 ч. ночи положить под левое дерево у входа в городской сад 50 рублей. В противном случае вы будете отравлены мучительным ядом (не позже вторника), дом ваш запылает, а в вашего сына Степу будет брошена бомба. Супруга ваша скончается от удара ножом.

Председатель партии «Черн. Сев. Ор.».
Уполномоченный.
Исполнитель приговора Илья Беспощадный.
Кассир — по прозвищу Ятаган.

IV

Его высокоблагородию Семену Семеновичу
господину Дукмасову

Милостивый государь! Итак — свершилось... Война объявлена! Что вам стоило положить каких-нибудь несчастных пятьдесят рублей? Вы этого не сделали... Следовательно, ваша жизнь, жизнь вашей жены, сына и кухарки, а также вся домашняя обстановка, имеющая быть сожженной, — все это дешевле пятидесяти рублей?!. Предупреждаем, что ваш сын Степка будет подвергнут мучительной смерти: он будет похищен, и с него немедленно, наслаждаясь его мучениями, сдерут кожу. Жену вашу мы решили оставить в живых, предварительно выколов ей глаза и отрезав язык — пусть мучается! А что мы сделаем с вами — одна мысль об этом должна привести вас в содрогание... Опомнитесь! Впрочем, если вы положите под левое дерево... Нет! Нет! Больше никаких уступок — ваша гибель решена, и вы умрете...

Партия соц.-анархистов «Ч.С.О.»
Отдел «Кровавая расправа».
Председатель отдела Василий Красное пятно.
Палач — Илья Хмурый.

P.S. Впрочем, если вы положите под дерево (левое) в городском саду 5 руб. наличными и 4 билета в кинематограф «Иллюзия» на вторые места — может быть, партия пощадит вашу обреченную на мучения семью.

V

Дукмасову

Довольно милосердия! Довольно просьб... Мы щадили вас — и совершенно напрасно. Вам было жалко каких-то пяти рублей и несчастных четырех билетов в кинематограф (ученические, на 2-е места — по двадцати двум каким-то несчастным копейкам за штуку) — пусть! Этим самым вы подписали приговор своему любимому сыну дурацкому Степке-растрепке. Завтра по выходе из гимназии он будет избит так, что можно будет прямо везти его на кладбище. Ха! Ха! Ха!

Партия анархистов «Ч.С.О.»
Председатель Илья Зловещий.

VI

Господину Семену Семеновичу Дукмасову

Милостивый государь! Приносим вам жалобу на сына вашего Степана, который, подравшись, по выходе из гимназии, вчера с нашим сыном Илюшей, избил последнего так, что он сидит дома, весь в синяках. Остепените вашего отпрыска — иначе мы будем жаловаться директору гимназии. Бедный Илюша целый день плачет, и даже был доктор.

С уважением к вам, но не к вашему
неистовому сыну Степану —
чиновник *Исидор Хромоногов.*

РАССКАЗ ИЗ ВЕЛИКОСВЕТСКОЙ ЖИЗНИ

Разговор мы вели самый незначительный... Что-то, кажется, о затонувших пароходах и о способах их вытаскивания из воды. Тысячи таких разговоров ведут незнакомые люди, случайно встретившиеся друг с другом.

Выбор же сюжета объясняется тем, что мы в то время сидели на берегу реки на покосившейся скамейке.

Собеседник мой был старый, серый, износившийся человек... Заботы и огорчения безжалостно исковеркали его лицо, избороздив целым десятком крупных морщин лоб, щеки и губы.

Разговаривали мы вяло. Улучив минуту молчания, он, с не свойственным ему оживлением, внезапно повернулся ко мне грудью и задал вопрос:

— А занимались вы когда-нибудь шантажом?

— Не приходилось. Конторщиком был, гравером, писателем, а заняться шантажом — этого не было.

— Не подвертывалось случая?

— Нет, так просто... А что?

— А я пробовал.

— Выгодно?

— Вот вы послушайте... Вы человек молодой, и вам это может пригодиться... Нынче свет стал совсем иной, все меня-

ется с головокружительной быстротой, чуть ли не с каждым годом, — и кто этого не учитывает, тот дурак.

— Неужели?

— Уверяю вас. Так вот как... Дело было четырнадцать лет тому назад летом на курорте, где я немного лечился и очень много бездельничал. Шантажом я в то время не занимался, мне и в голову это не приходило. А может быть, просто не подвертывалось случая, вот — как вам.

Я открыл рот, желая возразить ему, но он сделал успокоительный жест:

— Хорошо, хорошо. Это ваше личное деликатное дело. А со мной случилось вот что: бродя однажды утром по пустынному пляжу, я увидел у самого берега на песке девочку лет восьми-девяти, которая сидела в непринужденной позе и внимательно рассматривала пойманного ею микроскопического краба. В пылу этого занятия простодушное дитя совершенно не обращало внимания на свой костюм. Короткое платье сбилось кверху, обнажило голые ножки, и, когда мой рассеянный невнимательный глаз скользнул по ним, я увидел на левом бедре выше колена родимое пятно. Оно было большое, величиной в полтинник, и резко выделялось коричневым цветом на фоне белой кожи.

Я прошел мимо, и — представьте себе, — машинально мысль моя заработала около девочки и этого родимого пятна. Теперь, подумал я, невинное дитя природы не стесняется своей наготы и всякий может увидеть ее родимое пятно, а когда дитя превратится в девушку и жену — об этом пятне будет знать только муж... И сейчас же явилась другая мысль: «или любовник»... А третья явившаяся мысль была уже самого шантажного свойства: «Человек, который будет знать об этом родимом пятне, может держать обладательницу его всецело в своих руках»... Тут же мысль эта приняла определенные формы, и решил узнать, кто ее родители и будет ли она богата, когда вырастет? Терпение у меня было дьявольское... Цель была на расстоянии двенадцати–пятнадцати лет от меня, но я мог ждать.

— Это очень нехорошо, — нравоучительно возразил я.

— Конечно! Я и сам теперь это вижу. Но тогда идея шантажа всецело захватила меня. Я в тот же вечер вы-

ведал, кто ее родители, — и результаты сыска были самые великолепные: она оказалась единственной дочерью графа К., обладателя нескольких миллионов и десятка громадных имений. Было из-за чего терпеливо выжидать!

— Чем же это кончилось? — заинтересованный, нетерпеливо спросил я.

— Вот чем... Ждал я четырнадцать лет... Дела мои пришли в упадок — я мало интересовался ими! Часто приходилось голодать, но я не смущался этим, видя впереди блестящую, полную довольства и сытости жизнь. За молодой графиней К. я внимательно следил, не теряя ее из виду, знал, что она делает, как развивается, когда и чем болеет (ее смерть разорила бы меня)... Знал я также, когда она вышла замуж за великолепного хлыща барона фон Кука, блестящего красивого малого. Брак, очевидно, состоялся по страстной любви, и это было мне на руку. Тут-то я и мог ее прижать. Ха-ха!

— Это отвратительно! — с гримасой возразил я.

— Конечно! Возмутительно, безобразно. Слушайте же, что было дальше: родимое пятно молодой баронессы сделалось моей манией, моим помешательством, оно снилось мне во сне... Иногда являлась даже страшная мысль: а вдруг пятно исчезло? А имейте в виду, молодой человек, что родимые пятна не исчезают! Хорошо-с! На прошлой неделе... да! Это было именно на прошлой неделе — я не мог дольше ждать! Почва для шантажа уже созрела, и медлить было бы глупо. Не забывайте, что я четырнадцать лет ждал... Ха-ха! Поехал я к баронессе, узнав заранее, когда у нее никого нет. Приняла она меня с недоумением... «Что нужно?» — «Сударыня! — сказал я. — Баронесса! Я знаю, пятьдесят тысяч вас не разорят... Дайте их мне. Если вы мне откажете — я потребую сто!»

— Однако! — сказал я, качая головой.

— Не перебивайте! Она, конечно, пожала плечами: «За что же я вам дам? С ума вы сошли?» — «Вы дадите, баронесса, когда я сообщу вам, что завтра же муж ваш может узнать о родимом пятнышке на левом бедре выше колена. О таких вещах, баронесса, знают только мужья и... любовники!» Вы знаете, как я в мечтах рисовал себе последующее? Она побледнеет, закроет лицо руками

и тихо, дрожа, спросит: «Это... шантаж?» — «Да, — скажу я, — шантаж. Всякий зарабатывает, как он находит удобным». А вышло вот что: когда я пригрозил ей раскрытием тайны, она широко открыла глаза, потом упала на диван и залилась таким хохотом, которого я никогда в жизни не слыхал... Она тряслась, выгибалась, кашляла, охала и хохотала так громко, что я стал бояться — как бы ее визг не собрал всего населения дома. Я постоял, спросил: «Какой же ваш ответ, баронесса?» Она снова взглянула на меня, откинула голову на спинку дивана и снова закорчилась от страшного, невыносимого приступа смеха... «Все погибло, — подумал я. — Она не испугалась!» Теперь у меня оставалась, по крайней мере, месть! Я повернулся и пошел... Прямехонько к ее мужу, великолепному барону.

— Это отвратительно! — снова, не сдержавшись, сказал я.

— Не спорю: это хуже, чем отвратительно. Ну, слушайте. Прихожу к нему. «Чем могу служить?» — «Барон! Могу сообщить вам тяжелую новость!» Он молчит, сидит. «Относительно вашей жены». Молчит. «Вы уверены в ее верности?» Барон молча скривил голову, слушает. Мне сделалось жутко. Эх, думаю, скажу сразу. Наклоняюсь ближе и — шепчу, пронизывая его глазами: «Мне известно о родимом пятне на левом бедре, величиной с полтинник. Как вы на это посмотрите?»

Барон скривился, как будто лимон проглотил, и вдруг замямлил: «Ох уж это мне пятно на левом бедре! Вот оно где у меня сидит... Все мои приятели прожужжали о нем мои уши... Скучно, глупо... над-доело. Бросьте, милейший. Стоит ли об этом говорить? Курите?»

Рассказчик умолк, повеся голову.

— Чем же кончилось?

— Сигарой! За четырнадцать лет ожиданий, беспокойств и тревоги — одна сигара! Скажите — стоит ли после этого заниматься шантажом?

Я поднялся, поблагодарил за рассказанную историю и повернулся уходить.

— Слушайте! — несмело удержал он меня за рукав. — К черту шантажи, не правда ли? Гм... Нет ли у вас какой-нибудь другой работы: переписки бумаг, корректуры или места конторщика рублей на тридцать...

МАТЬ

I

Так как нас было только трое: я, жена и прислуга, а дачу жена наняла довольно большую, то одна комната — маленькая угловая — осталась пустой.

Я хотел обратить эту комнату в кабинет, но жена отсоветовала.

— Зачем тебе? Летом ты почти не занимаешься, ничего не пишешь, а если что-нибудь понадобится — письмо, телеграмму или заметку — это можно написать в спальне.

— Да зачем же этой комнате пустовать?

— У меня есть мысль: давай сдадим ее.

— Кому? — тревожно спросил я. — Женщине? Это будет возня, капризы, горячие утюги... Мужчине? Он, пожалуй, каналья, начнет за тобой ухаживать... А ты знаешь — взгляды мои на этот счет определенные...

— Что ты, милый! Ни мужчина, ни женщина в этой клетушке не уместится. Нам нужно взять мальчика или девочку. Я так люблю детей...

Мы оба давно мечтали о детях, но детей у нас, как назло, не было. То есть у меня где-то ребенок был, однако жена в нем совершенно не была заинтересована.

Поэтому мы жили скромно и мирно вдвоем, и лишь изредка в наших душах взметалась буря, и щемила нас тоска, когда мы встречали какую-нибудь няньку, влекущую колясочку, занятую толстым краснощеким ребенком.

О, дети! Цветы придорожные, украшающие счастливцам тяжелый путь горькой жизни... Почему вы так капризны и избегаете одних, принося радость другим?

— Ты права, милая, — сказал я, закусив губы, так как сердце мое больно ущемила тоска. — Ты права. Пусть это будет не наше дитя, но оно скрасит нам несколько месяцев одиночества.

В тот же день я поехал в город и сдал в газету объявление:

«Молодая бездетная чета, живущая на даче в превосходной здоровой местности, имеет лишнюю комнату, которую и предлагает мальчику или девочке, не имеющим возможности жить на даче с родителями. Условия — тридцать рублей

на всем готовом. Любовное отношение, внимательный уход, вкусная, обильная пища. Адрес...»

Через три дня я получил ответ:

«Милостивые государи!

Я спешу откликнуться на ваше милое объявление. Не возьмете ли вы моего малютку Павлика, который в этом году лишен возможности подышать и порезвиться на свежем воздухе, так как дела задержат меня в городе на все лето. А свежий воздух так необходим бедному крошке. Он мальчик кроткий, не капризный и забот вам не доставит. Надеюсь, что и у вас его обижать не станут.

С уважением к вам Н. Завидонская».

В тот же день я телеграфировал:

«Согласен. Присылайте или привозите милого Павлика. Ждем».

II

Целое утро провели мы в хлопотах, устраивая маленькому гостю его гнездышко. Я купил кроватку, поставил у окна столик, развесил по стенам картинки, пол устлал ковром — и комнатка приняла прекрасный, сверкающий вид.

В обед получилась телеграмма:

«Встречайте сегодня семичасовым. Сожалею, сама быть не могу; его привезет няня. Если ночью будет спать неспокойно, ничего — это от зубов. Ваша Завидонская».

Прочтя телеграмму, я свистнул.

— Э, черт возьми... Что это значит — от зубов? Если у этого парня прорезываются зубы, хороши мы будем. Он проорет целую ночь. Экая жалость, что мы не указали желаемого нам возраста. Я думал — мальчишка 8–10 лет, но если это годовалый младенец... благодарю покорно-с!

— Вот видишь! — с упреком сказала жена. — А ты купил ему кровать чуть не в два аршина длины. Как же его положить туда? Он свалится...

— Наплевать! — цинично сказал я (я уже стал разочаровываться в нашей затее). — Можно его веревками к кровати привязать. Но если этот чертенок будет орать...

Жена гневно сверкнула глазами.

— У тебя нет сердца! Не беспокойся... Если малютка станет плакать — я успокою его. Прижму к груди и тихо-тихо укачаю...

На жениной реснице повисла слезинка. Я задумчиво покачал головой и молча вышел.

К семи часам мы, приказав прислуге согреть молока, были уже на станции.

Гремя и стуча, подкатил поезд. Станция была крохотная, и пассажиров вышло из вагонов немного: священник, девица с саквояжем, какой-то парень с жилистой шеей и угловатыми движениями и толстая старуха с клеткой, в которой прыгала канарейка.

— Где же наш Павлик? — удивленно спросила жена, когда поезд засвистел и помчался дальше. — Значит, он не приехал? Гм... И няньки нет.

— А может, нянька вон та, — робко указал я. — С саквояжем?

— Что ты! А где же в таком случае Павлик?

— Может... она его... в сак...вояже?

— Не говори глупостей. Что, это тебе котенок, что ли?

Толстая женщина с канарейкой, озираясь, подошла к нам и спросила:

— Не вы ли Павлика ждете?

— Мы, мы, — подхватила жена. — А что с ним? Уж не захворал ли он?

— Да вот же он!

— Где?

— Да вот же! Павлик, пойди сюда, поздоровайся с господами.

Парень с жилистой шеей обернулся, подошел к нам, лениво переваливаясь на ходу, выплюнул громадную папиросу из левого угла рта и сказал надтреснутым густым голосом:

— Драздуйде! Мама просила вам кланяться.

Жена побледнела. Я сурово спросил:

— Это вы... Павлик?

— Э? Я. Да вы не бойтесь. Я денежки-то вперед за месяц привез. Маменька просила передать. Вот тут тридцать рублей. Только двух рублей не хватает. Я в городе подзакусил в буфете на станции, да вот папиросок купил... Хи-хи.

— Нянька! — строго зашептал я, отведя в сторону толстую женщину. — Что это за безобразие? Какой это мальчик? Если я с таким мальчиком в лесу встречусь, я ему безо всякого разговора сам отдам и деньги, и часы. Разве такие мальчики бывают?

Нянька умильно посмотрела мне в лицо и возразила:

— Да ведь он еще такое дитя... Совсем ребенок...

— Сколько ему? — отрывисто спросил я.

— Девятнадцатый годочек.

— Какого же дьявола его мать писала, что он от зубов спит неспокойно? Я думал — у него зубы режутся!

— Где там! Уже прорезались, — успокоительно сказала старуха. — А только у него часто зубы болят. Вы уж его не обижайте.

— Что вы! Посмею ли я, — прошептал я, в ужасе поглядывая на его могучие плечи. — Пусть уж месяц живет. А потом уж вы его ради Бога заберите...

— Ну, прощай, Павлик, — сказала нянька, целуя парня. — Мой поезд идет. Веди себя хорошо, не огорчай добрых господ, не простужайся. Смотрите, барыня, чтобы он налегке не выскакивал из дому; оно хотя время и летнее, да не мешает одеваться потеплее. Да... вот тебе, Павлик, канареечка. Повесь ее от старой няньки на память — пусть тебе поет... Прощайте, добрые господа. До свиданьица.

III

Молча, втроем — жена, я и наш питомец — побрели мы на дачу.

По дороге Павлик разговорился. Выражался он очень веско, определенно.

— На кой дьявол эта старушенция навязала мне канарейку? — прорычал он. — Брошу-ка я ее.

И с младенческим простодушием он, не раздумывая, размахнулся и забросил клетку с птицей в кусты.

— Зачем же птицу мучить? — возразила жена. — Выпустите ее лучше.

— Вы думаете? В самом деле — черт с ней.

Павлик поднял клетку, поискал неуклюжими пальцами дверцу и, не найдя ее, легким движением рук разодрал проволочную клетку на две части. Канарейка упала на дорогу и, подпрыгнув, улетела.

Мы молча зашагали дальше.

— А рыба в реке здесь есть? — спросил вдруг Павлик.

— Вы любите ловить рыбу?

Он неожиданно схватился руками за бока и захохотал.

— На сковородке люблю ловить! Я мастер есть рыбов.

Когда мы подходили к дому, он снова прервал молчание и спросил:

— И лес есть? И грибы есть?

— Собирать хотите?

— Кого-о? Тут девицы невредные должны, по-моему, за грибами шататься. Ха-ха!..

И снова он разразился хохотом.

Мы усадили его в саду, попросили минутку подождать, а сами вошли в дом. Жена заплакала:

— Что же это такое?

— Придумала! — злобно сказал я. — Ребеночка иметь захотелось?.. На груди своей его собиралась укачивать, если зубки заболят? Пойди-ка... укачай его...

— Куда же мы его денем? — спросила практичная жена, утирая слезы. — Ведь на той кроватке, если его и пополам сложить, он не уместится.

— Уступлю ему свою комнату, — мрачно сказал я. — А сам как-нибудь тут... на полу буду... или к тебе перейду...

— А вот я ему купила одеяльце... Другого-то нет.

— Отдай ему вместо носового платка. А укрывается пусть ковром. Ничего... не подохнет.

Вошла прислуга.

— Я молочко-то разогрела...

— Спасибо, — сказал я. — Ты коньяку лучше к ужину подай.

У открытого окна показался Павлик.

— Это здорово — коньяк. Башковитый вы парень. А котлеты будут?

— Будут.

— А рыба будет?

— Будет.

— Здорово. Значит, мы сегодня двинем для ради первого знакомства.

— Вы можете двигать, — сухо сказала жена, — а ему я не позволю.

IV

На другой день пришло письмо от матери Павлика:

«Прошу сообщить мне, дорогие друзья, как живется у вас Павлику... Я очень беспокоюсь (он у меня один ведь), но приехать навестить его пока не могу. Здоров ли он? Как аппетит? Вы не смущайтесь, если он немного мешковат и застенчив... Он чужих боится, а тем более мужчин. К женщинам он идет скорее, потому что более привык, так как рос в женском обществе. Не надо его особенно кутать, но и без всего его не пускайте. У детей такая нежная организация, что и сам не знаешь, откуда что появляется. Пьет ли он молоко?

С уважением к вам Н. Завидонская».

В тот же вечер я убедился, что мать Павлика была права: малютка «шел к женщинам скорее, чем к мужчинам». Когда я зашел за горячей водой на кухню, мне прежде всего бросилась в глаза массивная фигура Павлика. Он сидел, держа на коленях прислугу Настю, и, обвив руками Настину талию, взасос целовал ее шею и грудь. От этого Настя ежилась, взвизгивала и смеялась.

— Что ты делаешь? — бешено вскричал я. — Павлик! Убирайся отсюда!

Он выпучил глаза, всплеснул руками и захохотал.

— Вот оно что... Хо-хо! Не знал-с, не знал-с.

— Чего вы не знали? — грубо спросил я.

— Ревнуете-с? А еще женатый...

— Уходите отсюда и никогда больше не шатайтесь в кухне.

Вечером я писал его матери:

«Павлик ваш здоров, но скучает. Мы, признаться, не знали, что он такой крошка, иначе бы не взяли его к себе. Ведь оказалось, что Павлик ваш совсем младенец и даже только недавно отнятый от груди (сегодня мною); лучше бы его взять обратно, а? Мы бы и деньги вернули. Тем более что от молока он отказывается, а молоко с коньяком пьет

постольку, поскольку в нем коньяк. Аппетит у него неважный... Вчера за весь день съел только гуся, двух жареных судаков и малюсенький бочоночек малосольных огурцов. Взяли бы вы его, а?»

Мать Павлика ответила телеграммой:

«Неужели трудно подержать мальчика до конца месяца? По тону вашего письма вижу, что вы чем-то недовольны? Странно... Если же он застенчивый ребенок, то это со временем пройдет. Я рада, что аппетит его не плох. Не скучает ли он по маме?»

Я пошел к застенчивому ребенку. Застенчивый ребенок сидел в своей комнате, плавая в облаке табачного дыма, и доканчивал бутылку украденного им из буфета коньяку.

— Павлик! — сказал я. — Мама спрашивает: не скучаете ли вы по ней?

Он посмотрел на меня свинцовым взглядом.

— Какая мама?

— Да ваша же.

— А ну ее к черту.

— За что ж вы ее так?

— Дура! Куда она меня прислала? Тоска, чепуха. Девчоночек нет хороших. — Настю — не трогай, того не трогай, этого не трогай... Другой бы давно уже за вашей женой приударил, однако я этого не делаю. Я, братец мой, товарищ хороший... Другой давно бы уже... Выпей, братец, со мной, черт с ними...

Я помолчал немного, размышляя.

— Ладно. Я пойду еще коньяку принесу. Выпьем, Павлик, выпьем, малютка.

Я принес свежую бутылку.

— А вот стакан ты, Павлик, сразу не выпьешь.

Он улыбнулся.

— Выпью!

Действительно, он выпил.

— А другой не выпьешь?

— Вот дурак-то. Выпью!

— Ну, ладно. Умница. Теперь третий попробуй. Ну, что? Вкусно? Что? Спать хочешь? Ну спи, спи, проклятый малютка. Будешь ты у меня знать...

* * *

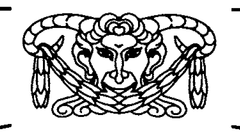
Я притащил с чердака огромную бельевую корзину, завернул Павлика в простыню и, согнув его надвое, засунул в корзину.

На голову ему положил записку:

«Прошу добрых людей усыновить бедного малютку. Бог не оставит вас. Крещен. Зовут Павликом».

Теперь этот несчастный подкидыш лежит в пустом вагоне товарного поезда и едет куда-то далеко, далеко на юг.

Боже, Защитник слабых!.. Охрани малютку...



ДЕШЁВАЯ ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА "САТИРИКОНА" ВЫПУСК 32 (1911)

круги по воде

ПОД ОБЛАКАМИ

I

С самого раннего детства наибольшим моим удовольствием было — устроить какую-нибудь мистификацию. Первые мои мистификации — плод кроткого детского ума — не носили характера продуманности, замысловатости и сложности.

Просто я изредка выскакивал из детской, мчался в кухню и кричал диким голосом:

— Ага-афья! Иди, тебя мама зовет!

Кухарка легко поддавалась на эту удочку, шла к матери, а мать-то ее и не звала!..

Потеха была невообразимая.

Или шел я с самым невинным лицом в кабинет к отцу и сообщал, что его зовут к телефону.

Нужно ли говорить, что никто отца к телефону не звал, и простодушный старик тщетно по десяти минут орал у телефона:

— Кто у телефона? Кто звонил? Да отвечайте же, черти раздери!!

Вообще в это блаженное время младенчества и детства все мои мистификации вращались вокруг того, что кто-то зовет кого-то, кто-то имеет в ком-то нужду, а по расследовании выяснялось, что никто никого не звал и все это — мои хитрости.

Один раз только в детстве совершил я оригинальную мистификацию, непохожую на «кто-то кого-то зовет». Какой-то знакомый прислал с посыльным моей старшей сестре коробку конфект. Я встретил этого посыльного на лестнице,

взял конфекты и, залезши потом в какие-то дрова, целиком уничтожил всю коробку.

Вечером этот знакомый пришел к нам в гости и тщетно дожидался благодарного словечка от сестры. Она его так и не поблагодарила, а ему неловко было спросить: получила ли она конфекты?

В период юности мистификации усложнились, приобрели некоторую яркость и блеск...

На дверях одного магазина я приклеил потихоньку большой плакат: «Вход посторонним строго воспрещается» — и хозяин магазина, сидя целый день без покупателей, искренно недоумевал, куда они провалились.

У проходившего по улице пьяного я взял из рук купленную им газету и, перевернув ее вниз заголовком, уверил беднягу, что вся газета напечатана вверх ногами. Он догнал газетчика и устроил ему страшную сцену, а я чуть не танцевал от удовольствия.

Но особенного блеска и красоты достигли мои мистификации, когда я перешел из юношеского в зрелый возраст. По крайней мере, мне лично они очень нравятся.

II

Однажды ко мне явился сын моих знакомых, великовозрастный гимназист, и сообщил, что он устроил аэроплан.

— Летали? — спросил я.

— Нет, не летал.

— Боитесь?

— Нет, не боюсь!

— Почему же вы не летаете?

— Потому, что он не летает. Если бы он полетел, согласитесь сами, полетел бы и я.

— Может быть, в нем чего-нибудь не хватает? — спросил я.

— Не думаю. Мотор трещит, пропеллер вертится, проволок я натянул столько, что дальше некуда. И вместе с тем проклятая машина ни с места. Что вы посоветуете?

Я обещал заняться его делом и простился с ним.

Через час ко мне зашел журналист Семиразбойников.

Он тоже явился ко мне, чуть не плача, с целью поведать свое безысходное горе.

— Можешь представить, коллега Попляшихин сделал мне подлость!.. Я собирался на гребные гонки с целью дать потом отчетец строк на двести, а он написал мне подложное письмо от имени какой-то блондинки, которая просит меня быть весь день дома и ждать ее. Понятно — я ждал ее, как дурак, а он в это время поехал на гонки и написал отчет, за который редактор его похвалил, а меня выругал.

— Что же ты хочешь? — спросил я его.

— Нельзя ли как-нибудь написать?

— Можно. Ступай и будь спокоен. Я займусь твоим делом!

Он ушел. Это был день визитов: через час у меня сидел Попляшихин.

— Тебе еще чего? — спросил я.

— Приятная новость: я подставил ножку этому дураку Семиразбойникову, и теперь редактор, после гонок, считает меня первым спортсменом в мире. Только знаешь что? Я боюсь полететь.

— Откуда?

— Не откуда, а куда. Вверх. На аэроплане. Редактор требует, чтобы я взлетел на каком-нибудь аэроплане и дал свои впечатления. Понимаешь ли — это ново. А я боюсь.

— Ступай! — задумчиво сказал я. — Иди домой и будь спокоен. Я займусь твоим делом.

III

На другой день с утра я энергично занялся полетом Попляшихина, и к обеду все было готово.

Целая компания наших друзей сопровождала нас с Попляшихиным, когда мы подъехали к даче родителей великовозрастного гимназиста, владельца аэроплана.

Был с нами и Семиразбойников, на которого то и дело оглядывался Попляшихин, будто боясь, чтобы он не устроил ему какого-нибудь подвоха. Семиразбойников же был молчалив и сосредоточен.

Осмотрели хитрое сооружение гимназиста. По наружному виду — аэроплан был как аэроплан.

Мы взяли Попляшихина под руки, отвели в сторону и спросили:

— Вы подвержены головокружению?

— Гм... кажется, да, — сконфуженно ответил журналист.

— В таком случае я не могу вас взять, — сурово сказал гимназист. — Вы начнете кричать, хватать меня за руки и погубите нас обоих.

— О, Боже! — закричал журналист. — А я уже обещал редактору полет. Умоляю вас — возьмите меня! Хоть на немножко.

— Хотите лететь с завязанными глазами? — предложил я.

— Но ведь я тогда ничего не увижу.

— А что вам видеть? Главное — ощущения.

— Да ведь пропадет половина всей прелести полета.

— Вы рискуете потерять целый полет.

Попляшихин спросил гимназиста нерешительно:

— А вы как думаете?

— С завязанными глазами я вас возьму. По крайней мере, смирно сидеть будете.

— Берите! — махнул рукой Попляшихин.

....

Пропеллер, пущенный опытной рукой гимназиста, затрещал, загудел и слился в один сверкающий круг.

— Садитесь же! — скомандовал гимназист.

Бледный Попляшихин подошел к нам, обнял меня и сказал, криво усмехаясь:

— Ну, прощай брат... Свидимся ли?

— Мужайся! — посоветовал я.

Кто-то из друзей поцеловал Попляшихина, благословил его и ободряюще сказал:

— Суждено умереть — умрешь, не суждено — не умрешь. Лети, милый! Дай Бог тебе...

Попляшихин подошел к Семиразбойникову и нерешительно протянул ему руку.

— Ты, брат, кажется, на меня дуешься? Прости, ежели что... Сам знаешь — такое дело...

Семиразбойников приложил платок к глазам.

— Бог с тобой! Зла на тебя я не имею и дурного не желаю. Пошли тебе Господь удачи!

Оба расцеловались. Минута была торжественная.

— Прощайте, братцы! — с искусственной бодростью крикнул Попляшихин, взбираясь на какое-то креслице сзади гимназиста и путаясь в целом лабиринте проволок. — Не поминайте лихом!

Гимназист обернулся к своему спутнику и туго завязал носовым платком ему глаза.

Пропеллер бешено вертелся, мы кричали, а Попляшихин сидел такой бледный, что лицо и платок были одного цвета.

— Отпускайте! — скомандовал гимназист. — Летим!

Мы зашли сзади, уцепились за хвост аэроплана и протащили его несколько шагов.

Потом подошли вплотную к гордо сидевшему на своем неудобном сиденье гимназисту и стали слушать.

Заглушаемый шумом пропеллера, гимназист орал во все горло, обернувшись назад:

— Тридцать метров над землей! Сорок! Пятьдесят два!!! Что вы чувствуете?

— Страшно, — прохрипел Попляшихин.

— Бодритесь. Это только сначала.

— Где мы сейчас?

— Мы пролетаем над какой-то деревушкой. Люди, как клопы, ползут по дорожкам. Церковь кажется серебряным наперстком. Держитесь! Сейчас будет порыв ветра!

Мы с Семиразбойниковым поднялись на цыпочки и стали дуть на Попляшихина, а потом сорвали с него шапку и отступили.

IV

Тот человек, который благословлял его, взял с земли тряпку и мазнул Попляшихина по лицу.

— Ой, что это? — закричал Попляшихин.

— Птица ударилась! — ответил гимназист. — Не смущайтесь!.. Сейчас мы пролетаем над рекой!!! Лодки кажутся щепочками, а паруса — обрывками бумажки! На западе собирается туча! Кажется, будет дождь... Ах, черт возьми... на меня уже упало несколько капель!

Семиразбойников притащил садовую лейку и, взобравшись мне на плечи, стал щедро поливать трясущегося журналиста.

— Вода!!

— Не вода, а дождь. Он сейчас, впрочем, перестанет... Можно подняться выше?

— А... где мы?

— Двести двадцать метров! Вдали виден какой-то город.

— Д...двести?.. Спускайтесь! Ради Бога, спускайтесь! Тут нет воздуху... Я задыхаюсь!..

— Понятно! — проревел гимназист сквозь шум пропеллера. — Наверху разреженная атмосфера. Приготовьтесь — спускаемся!..

Попляшихин судорожно уцепился за планки аппарата, молчаливый, со сжатыми губами, а Семиразбойников поднялся сзади на цыпочки и стукнул товарища кулаком по голове.

— Ой!

— Толчок от спуска, — сказал гимназист. — Всегда ударяет в голову. Впрочем, поздравляю. Спуск великолепный.

Мы захлопали в ладоши и подняли бешеный крик, а наш фотограф отступил назад и сунул в карман кодак, которым он снимал полет Попляшихина.

— Браво! Молодцы, ребята! Один момент мы думали, что вы не вернетесь: совсем с глаз скрылись!

Попляшихин сорвал с глаз повязку, соскочил с аэроплана и очутился в объятиях друзей.

Семиразбойников приблизился к нему и протянул руку.

— Поздравляю, — тихо, сконфуженно сказал он. — Я думал о вас хуже... Вы не трус, и держали себя прекрасно. Я бы никогда не рискнул забраться на такую высоту!

— А вы знаете — совсем и не страшно было. Только когда какая-то птица шваркнулась о мою физиономию — жуть по спине прошла. Дождь тоже потом мочил... А впрочем, пустяки.

— Да, — сказал горячо Семиразбойников. — Только с помощью таких безрассудно отважных, смелых людей и совершается великое дело завоевания воздуха!

— Урра, Попляшихин!!

Попляшихин подошел к гимназисту и обнял его.

— Без вас никогда бы я не сделал этого.

— О, что вы, право... — покраснел скромный гимназист.

V

Всякий интересующийся воздухоплаванием мог прочесть на другой день в газете:

«Полет журналиста Попляшихина.

Вчера мне удалось достичь того, о чем тысячи людей пока только мечтают...

Я поднялся на аэроплане!

Удивительная вещь: когда я только уселся на свое место, в душу закрался жуткий, предательский страх, но стоило только отделиться от земли, как страх исчез и уступил место какому-то страшному спокойствию и легкости...

Ветер свистел в ушах, фуражку рвало с головы, но казалось, что это происходит не со мной, а где-то далеко-далеко. Под ногами расстилалась великолепная панорама... Вот какая-то деревушка... Церковь кажется серебряным наперстком, а люди — жалкими, мизерными клопами.

Мы пролетаем над рекой... Что это? Какие-то щепочки? Нет, это лодки! А на них что? Лоскутки бумаги? Господи! Да ведь это паруса!! И преклоняешься перед величием Творца...

Пилот кричит:

— Пятьсот метров! Шестьсот! Семьсот!!

В ушах шум, дышать затруднительно... Я прошу спуститься...

Несколько минут молчания, неожиданный толчок, больно отозвавшийся в голове, — и мы снова на земле среди восторженно приветствовавших нас друзей...

И кажется — будто это сон, будто греза о невозможном, о несбыточном. Но нет — не сон это! Щека болит от удара крылом налетевшей птицы, и мокрое от дождя платье прилипает к телу... А сердце немолчно стучит:

«Свершилось! Воздух завоеван!»

VI

Статья Попляшихина появилась в газете 12 числа. А 13-го в другой газете, конкурирующей с попляшихинской, появилось подробное фактическое описание всех стадий полета, иллюстрированное фотографическими снимками.

На снимках ясно было видно — какой дождь мочил Попляшихина, и какая птица задела его крылом, и какой ветер сорвал с него фуражку...

Все боялись, что Попляшихин повесится.

Но он только запил.

МОЙ СОСЕД ПО КРОВАТИ

Гостей на этой даче было так много, что я не всех знал даже по фамилиям. В 2 часа ночи вся эта усталая, нашумевшая за день компания стала поговаривать об отдыхе. Выяснилось, что ночевать остаются восемь человек — в четырех свободных комнатах.

Хозяйка дома подвела ко мне маленького приземистого человечка из числа остающихся и сказала:

— А вот с вами в одной комнате ляжет Максим Семеныч.

Конечно, я предпочел бы иметь отдельную комнату, но по осмотре маленького незнакомца решил, что если уж выбирать из нескольких зол, то выбирать меньшее:

— Пожалуйста!

— Вы ничего не будете иметь против? — робко осведомился Максим Семеныч.

— Помилуйте... Почему же?

— Да видите ли... Потому что компаньон-то я тяжелый...

— А что такое?

— Человек я пожилой, неразговорчивый, мрачный, все больше в молчанку играю, а вы паренек молодой, небось душу перед сном не прочь отвести, поболтать об этом да об том.

— Наоборот. Я с удовольствием помолчу. Я сам не из особенно болтливых.

— А коли так, так и так! — облегченно воскликнул Максим Семеныч. — Одно к одному, значит. Хе-хе-хе...

Когда мы пришли в свою комнату и стали раздеваться, он сказал:

— А ведь знаете, есть люди, которые органически не переносят молчания. Я потому вас и спросил давеча. Меня многие недолюбливают за это. «Что это, — говорят, — молчит человек, ровно колода»...

— Ну, со мной вы можете не стесняться, — засмеялся я.

— Ну вот спасибо. Приятное исключение...

Он снял один ботинок, положил его под мышку, погрузился в задумчивость и потом, улыбнувшись, сказал:

— Помню, еще в моей молодости был случай... Поселился я со знакомым студентом Силантьевым в одной комнате... Ну, молчу я... день, два — молчу... Сначала он подсмеивался надо мной, говорил, что у меня на душе нечисто, потом стал

нервничать, а под конец ругаться стал... «Ты что, — говорит, — обет молчания дал? Чего молчишь, как убитый?» — «Да ничего», — отвечаю. «Нет, — говорит, — ты что-нибудь скажи!» — «Да что же?» Опять молчу. День, два. Как-то схватил он бутылку да и говорит: «Эх, — говорит, — с каким бы удовольствием трахнул тебя этой бутылкой, чтобы только от тебя человеческий голос услышать». А я ему говорю: «Драться нельзя». Помолчали денька три опять. Однажды вечером раздеваемся мы перед сном, вот как сейчас, а он как пустит в меня сапогом! «Будь ты, — говорит, — проклят отныне и до века. Нет у меня жизни человеческой!.. Не знаю, — говорит, — в гробу я лежу, в одиночной тюрьме или где. Завтра же утром съезжаю!» И что же вы думаете?

Мой сосед тихо засмеялся.

— Ведь сбежал. Ей-Богу, сбежал.

— Ну, это просто нервный субъект, — пробормотал я, с удовольствием ныряя в холодную постель.

— Нервный? Тогда, значит, все нервные! Ежели девушка двадцати лет, веселая, здоровая, она тоже нервная? У меня такая невеста была. Сначала говорила мне: «Мне нравится, что вы такой серьезный, положительный, не болтун». А потом как только приду — уже спрашивать начала: «Чего вы все молчите?» — «Да о чем же говорить?» — «Как! Неужели не о чем? Что вы сегодня, например, делали?» — «Был на службе, обедал, а теперь вот к вам приехал». — «Мне, — говорит, — страшно с вами. Вы все молчите...» — «Такой уж, — говорю, — я есть — таким меня и любите». Да где там! Приезжаю к ней как-то, а у нее юнкер сидит. Сиди-ит, разливается! «Я, — говорит, — видел и то и се, бывал и там и тут, и бываете ли вы в театре, и любите ли вы танцы, и что это значит, что подарили мне сейчас желтый цветок, и со значением или без значения?» И сколько этот юнкер мог слов сказать, это даже удивительно... А она все к нему так и тянется, так и тянется... Мне-то что... сижу — молчу. Юнкер на меня косо посматривает, стал с ней перешептываться, пересмеиваться... Ну, помолчал я, ушел. И что ж вы думаете? Дня через два заезжаю к ней, выходит ко мне этот юнкер. «Вам, — говорит, — чего тут надо?» — «Как чего? Марью Петровну хочу видеть». — «Пошел вон! — говорит мне этот проклятый юнкеришка. — А то я, — говорит, — тебя так тресну, если будешь еще шататься». Хотел я возразить

ему, оборвать мальчишку, а за дверью смех. Засмеялась она и кричит из-за двери. «Вы мне, — говорит, — не нужны. Вы молчите, но ведь и мой комод молчит, и мое кресло молчит. Уж лучше я комод в женихи возьму, какая разница...» Дура! Взял я да ушел.

Я сонно засмеялся и сказал:

— Да-а... История! Ну, спокойной ночи.

— Приятных снов! Вообще, у мужчины хотя логика есть, по крайней мере. А женщина иногда так себя поведет... Дело прошлое — можно признаться — был у меня роман с одной замужней женщиной... И за что она меня, спрашивается, выбрала? Смеху подобно! За то, видите ли, что я очень молчалив и поэтому никому о наших отношениях не проболтаюся... Три дня она меня только и вытерпела... Взмолилась. «Господи, Создатель, — говорит. — Пусть лучше будет вертопрах, хвастунишка, болтун, но не этот мрачный надгробный мавзолей. Вот, — говорит, — со многими приходилось целоваться и обниматься, но труп безгласный никогда еще любовником не был. Иди ты, — говорит, — и чтобы мои глаза тебя не видели отныне и до века!» И что ж вы думаете? Сама пошла и мужу рассказала о наших отношениях... Вот тебе и разговорчивость! После скандал вышел.

— Действительно, — поддакнул я, с трудом приоткрывая отяжелевшие веки. — Ну, спите! Вы знаете, уже половина четвертого.

— Ну? Пора на боковую...

Он неторопливо снял второй сапог и сказал:

— А один раз даже незнакомый человек на меня освирепел... Дело было в поезде, едем мы в купе, я, конечно, по своей привычке сижу, молчу...

Я закрыл глаза и притворно захрапел, чтобы прекратить эту глупую болтовню.

— ...Он сначала спрашивает меня: «Далеко изволите ехать?» — «Да». — «То есть как да?»...

— Хррр-пффф!..

— Гм! Что он, заснул, что ли? Спит... Ох, молодость, молодость. Этот студент, бывало, тоже, что со мной жил... Как только ляжет — сейчас храпеть начинает. А иногда среди ночи проснется и начинает сам с собой разговаривать... Со мной-то не наговоришься — хе-хе!

Я прервал свой искусственный храп, поднялся на одном локте и ядовито сказал:

— Вы говорите, что вы такой неразговорчивый. Однако теперь этого сказать нельзя.

Он недоумевающе повернулся ко мне:

— Почему?

— Да вы без умолку рассказываете.

— Я к примеру рассказываю. Вот тоже случай у меня был с батюшкой на исповеди... Пришел я к нему, он и спрашивает, как полагается: «Грешен?» — «Грешен». — «А чем?» — «Мало ли!» — «А все-таки?» — «Всем грешен». Молчим. Он молчит, я молчу. Наконец...

— Слушайте! — сердито крикнул я, энергично повернувшись на постели. — Сколько бы вы ни говорили мне о вашей неразговорчивости, я не поверю! И чем вы больше мне будете рассказывать, — тем хуже.

— Почему? — спросил мой компаньон обиженно, расстегивая жилет. — Я, кажется, не давал вам повода сомневаться в моих словах. Мне однажды даже на службе была неприятность из-за моей неразговорчивости. Приезжает как-то директор... Зовет меня к себе... Настроение у него, очевидно, было самое хорошее... «Ну, что, — спрашивает, — новенького?» — «Ничего». — «Как ничего?» — «Да так — ничего!» — «То есть позвольте... Как это вы так мне...»

— Я сплю! — злобно закричал я. — Спокойной ночи, спокойной ночи, спокойной ночи.

Он развязал галстук.

— Спокойной ночи. «... Как это вы так мне отвечаете, — говорит, — ничего! Это невежливо!» — «Да как же иначе вам ответить, если нового ничего. Из ничего и не будет ничего. О чем же еще пустой разговор мне начинать, если все старое!» — «Нет, — говорит, — все имеет свои границы... можно, — говорит, — быть неразговорчивым, но...»........

....

Тихо, бесшумно провалился я куда-то, и сон, как тяжелая, мягкая шуба, покрыл собою все.

* * *

...Луч солнца прорезал мои сомкнутые веки и заставил открыть глаза.

Услышав какой-то разговор, я повернулся на другой бок и увидел фигуру Максима Семеныча, свернувшегося под одеялом. Он неторопливо говорил, смотря в потолок:

«Я, — говорит, — буду требовать у вас развода, потому что выходила замуж за человека, а не за бесчувственного, безгласного идола. Ну чего, чего вы молчите?» — «Да о чем же мне, Липочка, говорить?»

ИХ ПРАЗДНИК

Всякий вновь входящий считал своим долгом облобызаться с юбиляром-антрепренером, который встречал гостей у дверей, кланяясь всем с беспокойно ликующим видом.

Всякому вновь входящему юбиляр говорил так:

— Семен Иваныч! Низкое спасибо за то, что ответили на мое скромное приглашение! Вася! Здравствуй! Низкое спасибо за то, что... скромное приглашение... вспомнил... Григор Григорич! Низкое спа... за приглашение... скромная память... Василий Пентелеймоныч! Низкое... ничего, что насморк, поцелуемся... Скромное приглашение... низкое спас... Игнатов!..

Напустив в комнату достаточное число почитателей, юбиляр пошептался с распорядителем, и, похлопав в ладоши, крикнул с искусно разыгранной скромностью:

— Дорогие гости! Пожалуйте за стол перекусить чего-нибудь... У меня очень невзыскательно...

Он лгал. В душе его все пело и ликовало, потому что ужин был приготовлен не такой уж скромный, — и закуски, и горячее, и шампанское. А десерт был совсем диковинный: выдолбленные ананасы с какой-то былой штукой внутри.

Уселись за столы. Места хватило всем, кроме одного обиженного судьбой, потертого юноши. Юноша долго бродил между столами с видом человека, который развязно спешит куда-то по собственному делу, и едой не интересуется. Не найдя места, юноша, снедаемый горем, пробрался к дверям и незаметно ушел, решив раз навсегда порвать с шумным светом и заняться научными исследованиями...

Закуски уничтожались почитателями юбиляра с изумительной торопливостью. Так отступающая армия спешит сжечь и, вообще, уничтожить все приготовленные запасы,

чтобы они не достались неприятелю. Успокоились только тогда, когда неприятель был поставлен в безвыходное положение. И, наконец, подали какой-то бульон.

Первым встал местный рецензент единственной в городе газеты, человек до того изысканный и светский, что окружающие тускнели около него, как светляки перед электрическим фонарем. Но да и этот человек, умевший владеть собой, сейчас волновался. Стараясь скрыть обуревавшие его чувства, он схватился за сползший на бок галстук, передвинул его еще дальше и начал странной нотой, как отсыревший орган:

— Кге!.. Милостивые государыни и милостивые государи! Позвольте мне, скромному летописцу русского театра, сказать несколько слов о том, к кому сегодня прикованы все любящие восторженные взоры, — о том, кто сейчас сидит со скромно опущенной, талантливой головой, одним словом, — об антрепренере здешнего театра, Кузьме Федоровиче Сверкалове! Кузьма Федорыч! Позволь тебе поклониться от имени зрителя и принести нашу теплую благодарность за те минуты незабываемого, трепетного восторга, который мы переживаем в этом театре, превращенном твоим гением в светлый храм искусства. Пусть в этот день все узнают и услышат о тебе правду, — о тебе, чутком, умном художнике, обаятельном товарище и кротком, милосердном человеке к младшей актерской братии... Ура!

Грянули аплодисменты. Все гуськом потянулись к юбиляру целоваться. Образовалась очередь, которую бледный от восторга антрепренер не всегда видел даже у своей театральной кассы.

Когда, разбушевавшиеся волны общего восхищения и приязни к юбиляру немного улеглись, раздался стук ножа о тарелку.

— Тссс!.. Слушайте, слушайте!

— Многоуважаемые собравшиеся! — сказал оратор, ражий поклонник театрального искусства. — Здесь говорили сейчас о маститом юбиляре — гордости русской сцены! Да! Он этого вполне заслуживает... Но не забудем же и о тех скромных трудолюбивых муравьях, с помощью которых достиг уважаемый юбиляр своего величия и значения! Не забудем, господа, и об актерах-строителях этого храма, руководителем и вдохновителем которых был юбиляр... За них поднимая я свой бокал! Господа! За здравие актеров!

И снова зазвенела тарелка, о которую неистово колотили черенком ножа.

— Господа! — сказал третий оратор. — Сейчас здесь мой многоуважаемый оппонент говорил об актерах, назвав их строителями храма, рабочими, если так можно выразиться, подрядчиком которых, вдохновителем которых был юбиляр. Нет, господа! Настоящим вдохновителем и творцом всего является режиссер — гениальный полководец этой разнокалиберной армии, и за него я поднимаю свой бокал! А юбиляр — это просто большая финансовая сила, которая сумела организовать коммерческую сторону предприятия... Итак, за здоровье режиссера! Ура!!

Восторженное ура прокатилось по комнате.

И четвертый оратор тоже встал и скромно начал:

— Здесь говорили об уважаемом юбиляре, как об организаторе деловой, коммерческой стороны предприятия. Откуда оратор это взял? Позвольте мне, господа, поднять бокал за истинную вдохновительницу и доброго гения коммерческой части нашего театра — купеческую вдову, Агнию Стечкину, которая, к сожалению, сейчас доведена болезнью до печального пребывания в доме для умалишенных. Ура!

Все выпили и потом притихли, так как встал следующий оратор:

— Здесь говорили о болезни многоуважаемой купеческой вдовы Стечкиной, о болезни, которая довела последнюю до сумасшедшего дома. Так... Болезнь довела ее до сумасшедшего дома, а кто, или что довело ее до болезни? Не то-ли предприятие, организатора которого мы здесь чествуем? И я считаю своим долгом выпить за то, чтобы наступили те светлые времена, при которых подобные вещи казались чудовищными, а не собирали бы здесь толпу людей, инертно любующихся на развал искусства... Да здравствует будущее, когда все антрепренеры из волков превратятся в овец!

Гром аплодисментов не помешал сказать следующему оратору:

— Здесь говорили сейчас о каком-то золотом веке, веке добрых антрепренеров... Жалкий оптимистический бред! Нет! Долго еше не выведутся эти грабители, эти канальи! Конечно, о присутствующих не говорим, но самое лучшее, господа, выпьем — и молчок! Черт с ним! Ура!

— Предыдущий оратор, — сказал следующий оратор, — сказал фразу: «о присутствующих не говорим»... Да почему? Вот, я, например, имею мужество сказать в лицо юбиляру: куда вы дели залоги театральных служащих? Почему второй актер Беззубов пытался отравиться и не отравился только потому, что у него не было денег — ты ему не заплатил ни копейки! Почему бездарная лошадь Паникадилова играет первые роли? Почему я с тебя уже три месяца не могу получить пятьдесят рублей? Тебе кричали ура? Нет, брат, нужно кричать «караул!»

Следующий и последний оратор сказал очень кратко:

— Да разве с ним словами можно? Намять ему бока, чтобы знал... Сеня, ты сидишь ближе к нему — дай-ка ему, как следует!

Сеня, пошатываясь, встал, — и чествование юбиляра затянулось далеко за полночь...

ГЛУХАЯ ИСПОВЕДЬ

Неизвестный старик шел в сумерки по улице, прихрамывая и нюхая воздух своим длинным острым лисьим носом.

Неизвестный старик повернул в переулок, вошел в ворота большого дома, поднялся по широкой лестнице на четвертый этаж и постучал в дверь.

— Эй, племянник, ежовая голова... Отопри-ка!

Он дернул дверную ручку и дверь распахнулась.

— Ишь, ты... Не запираетесь. Как будто, нарочно гостей ждете. Эй, племянничек! Будет тебе дуться. Ты бы встретил своего престарелого родственника.

Он вошел в комнату и огляделся. На широком диване лежала лицом к стене какая-то фигура, которая даже не обернулась при появлении старика.

— Ведь, не спишь же, — хрипло рассмеялся старик, — чего там притворяешься? Я бы имел больше права на тебя дуться — подумай-ка: ты не ответил на два моих письма! Что это — у тебя новый ковер? Поздравляю.

Племянник промолчал. Дядя прошелся по комнате, потыкал пальцем землю в цветочном горшке и сел.

— Сердишься? Все еще сердишься?

Племянник ничего не ответил.

— Что это за моду ты выдумал — укрываться пальто с головой — ведь, жарко.

Тиканье будильника было ему ответом.

Старик ударил себя по коленке и энергично с казал:

— Я ведь знаю, за что ты сердишься и презираешь своего добряка дядю... За историю с Анфисой! Да? Угадал ведь? Мне только интересно — откуда ты узнал? А людишки что передадут, то и переврут. А по-моему, все это не так уж и страшно... Ну, зашел я ночью в ее комнату, ну, хотел ее поцеловать — эка важность. Простая горняшечка. Да, ведь, и не обидел бы я ее, в случае чего. Мы-то старые люди щедрее вас молодых... Что в ней, в сущности, особенного? А я ей обещал подарить костяную коробочку для булавок и десять целковых наличными... Что? Ты, кажется, что-то ворчишь? Нет? Хоть бы ты словечко мне сказал, дерево ты бесчувственное!

Старик снова потыкал пальцем землю в цветочном горшке и вздохнул.

— Ты б поливал чаще. Сухо... Гм... Значит, ты, я вижу, не за Анфису сердишься, а за что-то другое... Очень я подозреваю, что к тебе в последнее время завертывал проклятый Егорка. Когда выгонял его — чувствовало мое сердце, что побежит он к тебе жаловаться. Эх, ты! Вместо того, чтобы дуться — ты бы лучше постиг душу своего дяденьки. Легко мне это было? Легко, когда Анфиска прямо в глаза мне заявляет, что я для нее ничто, а письмоводитель мой Егорка для нее все! Должен был я выгнать Егорку или нет? По-моему, — должен.

Старик поджал печально губы и потом, озаренный какой-то мыслью, внезапно вскрикнул:

— Эге! Да ты не потому ли так освирепел на меня, что у Егорки в сундучке мои золотые часы нашли? Так, ведь я ж его под суд не отдавал. Только предлог выискал, чтобы выгнать эту гадину. Иначе, сам посуди, за что? Не могу же я ему сказать — хе-хе, — что сам не прочь приволокнуться за Анфиской. Еще бы ты мог негодовать не меня, если бы я взломал Егоркин сундук, да и сунул туда часы. А, ведь, сундучок-то его был открыт... Я даже замка не портил... Ну, что же ваше королевское величество? Смените свой гнев на милость?

— Тик-так, тик-так, — ответили часы.

— А за Егорку будь спокоен — я его облагодетельствую. Я ему местечко тут нашел у приятеля в страховой конторе. Правда, вакансии у него нет, да я, брат, тут целый планчик соорудил... У этого приятеля служит девица в машинистках — рожа, ни на какую постройку негодная. На какую же штуку я пускаюсь? Иду я, братец ты мой, к приятелю этому и рассказываю, будто бы его машинистка в одном обществе говорила, что его контора мошеннические полисы выдает. Озверел он, как черкес. Я, говорит, ее без объяснения причин в двадцать четыре часа уволю. Ладно, думаю, вот оно и хорошо: от Егорки я избавлюсь и место ему нахожу, чтобы он у меня вдруг да опекунского отчета не потребовал. Ты, ведь, знаешь, я его опекун.

Племянник молчал, будто воды в рот набрал.

— Да, брат, опекун. Ты, впрочем, может быть, на то и сердишься, что я его денежки пустил по широкой дорожке? Какая собака могла это принести тебе на хвосте? До этого, брат, никому дела нет пока, потому что Егорка еще несовершеннолетний...

Вдруг старик беспокойно завозился в кресле, поглядывая на молчаливую фигуру злобно настроенного племянника.

— Послушай! Ты, может быть, оттого и злишься, что узнал историю с Егоркиной метрикой?. Миленький мой! Да кто теряет, — тем более, Егорка — оттого, что он двадцатичетырехлетний балбес по документам числится восемнадцатилетним. Экая важность! Да когда у меня будут деньги, я снова переделаю его метрику и паспорт и заткну ему глотку деньгами!

Старик скривил губы в плаксивую гримасу:

— Ах, как это все мне грустно! Уж вот, я тебе скажу так: если и грешить и делать неверные шаги, так для чего-нибудь, во имя каких-нибудь таких вещей... Ну, для детей, что ли, жены... А, ведь, от бедности и жену свою в гроб вогнал. Помнишь тетю Катю? Ты еще ее любимцем был. Гм... Не пронюхал ли ты, мой милый, старинную историю с ее родильной горячкой? Я тогда этой проклятой акушерке заткнул глотку красненькой, чтобы молчала, а она, гляди, и разболтала. Ну, положим, я и не знал, что в это время бабье бою не переносит — легонечко потрепал ее, а она и того... «Иде же, как говорится, несть ни печали, ни всякого другого». Охо-хо...

Старик встал и долго ходил по комнате, поглядывая на племянника, похлопывая рукой по обоям и насвистывая беззубым ртом какой-то марш.

— Черт тебя знает... Не пойму я. Не приходил ли к тебе случайно мальчишка, лет этак шестнадцати и не рассказывал ли он тебе душераздирательной истории о гнусном отце, который в младенчестве оставил его, малютку в багажном отделении на станции Раздельной? Так я тебя обрадую: наполовину врет! Да-с... Я давно боялся, что этот пронырливый мальчишка выплывет, ибо он и тогда еще — двухлетним щенком — отличался самыми продувными свойствами. Врет он потому, что я не бросил его, а просто потерял. Потом спохватился, да где там! Поезд уже верст восемьсот отошел. Туда-сюда — ничего подобного. Вот, брат, как... Это уж верно, как по писаному...

Старина нерешительно кашлянул.

— Ну, что ж... Ты и сейчас не протянешь дядьке, своему старому дяденьке, руки примирения, как говорится в романах с политипажами в тексте. Хе-хе! Ну, племяш, будет. Это даже невежливо... Я тебе все, как на ладони, а ты, как рыба: ни адью, ни бонжур. Ну, вставай, что ли!!

Старик схватил племянника за плечо и в удивлении отскочил в сторону, потому что плечо в его руках смялось, как тряпка. Он взял племянника за рукав, но и в рукаве ничего не было. Он поднял лежавшее на диване пальто — под пальто никого не было. Диван был пуст и комната была пуста.

— Эх, эх, — укоризненно сказал старик. — Такой неряха... Вечно пальто на диван как попало бросит.

Неизвестный старик взял племянниково пальто, аккуратно повесил его на гвоздь и, хмыкнув носом, ушел... Вышел на лестницу, спустился вниз, вышел из ворот, зашагал по переулку, нюхая острым носом воздух, и пропал за углом, оставшись таким же загадочным, как и тогда, когда появился.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ НА БАРМАЛЕЕВОЙ УЛИЦЕ
(Хроника)

Это лето было какое-то особенное: жара была сильная, а общественная жизнь чрезвычайно слабая; мух было колоссальное количество, а газетной темы — ни одной.

И наша маленькая газетка «Чебоксарские Вести» в это лето влачила жалкое существование, что мы, сотрудники, глядя ее предсмертные конвульсии, плакали. Хитрые читатели почти не покупали «Чебоксарских Вестей», зная, что, кроме объявлений, статьи по албанскому вопросу и петербургских перепечаток «об оздоровлении города», они ничего в ней не найдут.

— Странно, что в городе нет убийств, — удивлялся издатель. — Взял бы кто-нибудь да убил бы кого-нибудь...

— За что? — спрашивает редактор.

— Да я не знаю. Тому виднее. Подлецы все! Не кровь течет в жилах, а вода. Опять же — корыстолюбия в них нет, желания присвоить что-нибудь, утащить что-нибудь у своего ближнего!

— Что вы такое говорите! — возмутился редактор.

— Да ей-Богу! Если бы они еще были благонравны из-за добродетелей, а то ведь так... из-за простой трусости. Слякотный народишка!

Такой разговор они вели пятого июля; а 6 июля случилось преступление на Бармалеевой улице.

Преступление состояло в следующем: в квартиру гимназического надзирателя Шаплюгина, воспользовавшись его отсутствием, забрался неизвестный злодей, взломал надзирателев комод и похитил надзирательские сбережения в сумме 140 р., а также новый сюртук, сшитый портным Канцлером.

7-го числа «Вести» уже писали об этом:

«Преступление на Бармалеевой улице».

«Гнусное злодеяние, взволновало и возмутило все мыслящие общественные элементы»...

После подробного изложения события и описания первых шагов сыскной полиции, газета настойчиво спрашивала:

«Можем ли мы быть уверены, что подобные, леденящие кровь преступления не повторятся? Можем ли мы спокойно спать в то время, когда преступник, этот тигр в образе человека, это существо без жалости и милосердия в душе, может быть, в это же время под кровом ночи бродит,

сжимая в руке окровавленный кровью несчастной жертвы нож и задумывая новое преступление?»

Конечно, никто не мог спокойно спать. И не спали.

Восьмого июля в городе только и было разговоров, что о преступлении на Бармалеевой улице, а газета того же числа писала:

Передовая статья:

— Дума 3-го созыва — работоспособная дума в кавычках — отдыхает на лоне природы, и до судеб страны ей такое же дело, как до прошлогоднего снега. Проект обязательного обучения народа лежит до сих пор под сукном, и несчастный народ, темный, неграмотный, не озаренный светом знания, дичает, звереет, опускаясь и падая иногда до грабежей и преступлений... Случай на Бармалеевой улице достаточно показывает, до чего может довести преступное промедление в рассмотрении законопроекта о всеобщем обучении.

Фельетон носил такое заглавие:

«Отцы города и преступление на Бармалеевой улице». — Свершилось! Как раз то, что мы предсказывали... Преступное равнодушие наших «гласных» (иначе, как в кавычках, этого слова нельзя поставить), отсутствие интереса у них к вопросу о ночных сторожах привели нас к тому, что теперь называется Цусимой... Да! На Бармалеевой улице гор. Дума имела новую Цусиму — все по причине той же прославленной русской лени, русского «авось» и русского «небось»... Ха-ха. Слово за вами, господа «гласные».

Что касается хроники «Вестей», то она прямо неистовствовала... Было описание улицы, места преступления, план дома, предполагаемый путь преступника (пунктиром), интервью с Шаплюгиным, — очень подробное и содержательное... Писал хроникер так:

— Вчера мы посетили жертву преступления на Бармалеевой улице. Несчастный чувствует себя очень удрученно и о грабителе говорит не иначе, как с чувством глубокого возмущения. Он даже заболел и, большею частью, лежит. Сообщают, что полиция уже напала на следы. Вчера допрашивали портного Канцлера, сделавшего Шаплюгину сюртук.

Маленькая подробность: в момент совершения преступления потерпевший был с друзьями в трактире «Пекин».

9-го июля в передовой «Вестей» говорилось так:

«Как это ни печально, но весь наш бюджет зиждется на доходах от винной монополии, и правительство сознательно попустительствует злу пьянства, приводящего народ к несчастьям и разорению. Пусть преступление на Бармалеевой улице стоит перед министерством финансов живым укором! Если бы хозяин квартиры Шаплюгин не сидел в момент преступления в трактире с горячими напитками — «Пекин», а сидел бы дома — преступления бы не случилось... Впрочем, что эти укоры министерству финансов?!..

И погромче нас были витии...»

Хроника сообщала, что жена Шаплюгина, узнав о трагическом преступлении, выезжает из Старой Руссы, где она гостила у сестры. Хроника приводила рассказ дворника и показания портного Канцлера. Хроника обещала, в виду сенсационности всего дела, поместить портрет пострадавшего и рисунок (от руки) дома, где произошло преступление. Хроника это сделала.

Во всем городе самым известным человеком считался теперь Шаплюгин. Им интересовались, некоторые восхищались его стойкостью и мужеством, некоторые завидовали, а большинство с лихорадочным интересом ожидало раскрытия преступления...

Город понемногу стал оживляться. В газете появились свежие объявления: портного Канцлера, трактира «Пекин» и какого-то слесарного мастера, предлагавшего обывателям делать замки такой прочности, которая не позволит никому вновь пережить «ужасы Бармалеевой улицы».

Уже приехала жена Шаплюгина... уже его выбрали в члены клуба, и незнакомые вежливо раскланивались с ним на улице... Уже была написана передовая о реформе полиции в связи с нераскрытием преступления на Бармалеевой улице, — а преступник все не обнаруживался.

Наконец, он обнаружился самым странным образом, самым простым образом: в трактир «Пекин» пришел заблудший бродячий дьяконов сын Геранька, и, так как на нем был надзирателев сюртук, и менял он надзирателеву сторублевку — его схватили. Он заплакал, стал на колени и поцеловал буфетчику руку.

Злодея связали и под конвоем громадной толпы повели в часть... Наэлектризованная громовыми статьями «Вестей», толпа эта едва не растерзала негодяя.

Хроникер «Вестей» навестил его в участке и даже беседовал с ним. Леденящие душу подробности сообщил он в газете.

Передовая была — «о реорганизации духовного ведомства в связи с причастностью сына священнослужителя к злодейству на Бармалеевой улице...

Напечатано было стихотворение о страшном дьяконовом сыне, под заглавием:

— «Десница Божия».

Весь август был целиком занят сенсационным преступлением на Бармалеевой улице, судом над преступником и приговором. (Передовая — реформа местного суда и недостатки министерства юстиции).

Часть сентября питалась слабыми отголосками преступления, описанием самочувствия заключенного злодея и чертами из жизни Шаплюгина...

А с октября месяца в нашей газете подуло свежим ветром, паруса бодро надулись и мы весело ринулись вперед на борьбу с реакцией ....

....

Однажды дождливым ноябрьским днем, в редакции появился Шаплюгин... Мы, признаться, уже забыли о нем и были, поэтому, очень удивлены его визитом.

— Что вам угодно?

— Несчастье, — сказал он. — Такое, перед, которым бледнеет «преступление на Бармалеевой улице». Вот-то материалу вам, господа!

Мы сухо спросили:

— Да, в чем дело?

— Ночью к нам забрались трое мужчин в масках, связали нас и вынесли все, что можно было унести. У одного даже был револьвер. Жена ранена...

— Хорошо, — небрежно кивнул головой редактор. — Можете идти. Спасибо.

И на другой день в хронике появилось петитом:

— «Третьего дня трое неизвестных, войдя к гимназическому надзирателю Шаплюгину, произвели нападение и унесли

кое-что из утвари. Дело ограничилось одним испугом, да мелкими царапинами, полученными женой Ш. К розыску приняты меры».

КУХАРКА АКСИНЬЯ ДЕМИНА

Многие люди солидного, преклонного возраста каким-то образом застревают на одном из ранних периодов своей жизни, и сидят на этом периоде до самой смерти...

У солидного господина есть борода, государственная служба, взрослые дети. Но он, как только выберет свободную минуту, — поймает свою комнатную собачку, привяжет к хвосту бумажку и, бегая за изумленным животным, испытывает самое искреннее, неподдельное веселье. Или он будет стараться закрутить свой серебряный портсигар на поверхности стола так искусно, чтобы портсигар вертелся минуты две. Если ему это не удается — он нервничает, волнуется, а при удаче — рад безмерно и искренно.

Этот человек застрял на восьми годах от роду.

Однажды, когда я был в этом возрасте — меня впервые взяли в цирк. Я сидел рядом с сестрой, десятилетней нервной девочкой, уже смотревшей раз эту цирковую программу.

Когда кончался какой-нибудь номер, она поворачивалась ко мне и порывисто шептала:

— Сейчас выедет такой, на белой лошади. Через ленты будет прыгать. А рыжий клоун будет хватать лошадь за хвост и бегать за ней.

И я, действительно, через минуту видел и белую лошадь, и рыжего клоуна.

И все мое удовольствие тонуло в целом море зависти к сестре, в страстном желании видеть все происходившее не в первый, а во второй раз и, так же, как и сестра, объяснять кому-нибудь:

— Сейчас будет ходить по проволоке.

Лучшим человеческим наслаждением мне казалась именно эта осведомленность, эта возможность во всякий момент сообщить соседу:

— А сейчас один будет ломаться на трапеции.

Весь тот вечер сестра казалась мне высшим существом.

Теперь мне тридцать лет.

Когда я сижу в театре на втором представлении новой пьесы, я шепчу соседу:

— Сейчас героиня будет писать любовнику письмо и в это время неожиданно войдет граф.

Я ловлю себя на том превосходстве, с которым сообщаю соседу это сведение, и — холодею:

— Неужели мне 8 лет?!..

Безработная кухарка Аксинья Демина была существом угрюмым, нелюдимым и, казалось, с момента своего рождения смотрела на весь мир, нахмурив раз навсегда жидкие бледные брови.

Когда она шла по улице, направляясь, по обыкновению, в рекомендательную контору — не было на свете женщины более необщительной, суровой, солидной, ушедшей в самое себя.

Снаружи казалось, что эта женщина изнемогает под бременем невыносимой солидности и положительности. Казалось, что ее угрюмые, неподвижные глаза заморозили бы своим тяжелым холодным взглядом каждого, кто попытался бы сделать что-нибудь, выходящее из рамок строгого делового отношения к жизни.

Но у Аксиньи Деминой под твердокаменной корой положительности — теплились свои стремления и идеалы, глупые, величиной с воробьиный нос, смешные и никому непонятные, но все же ее, Аксиньины, идеалы, из-за которых она бедствовала, ужасающе голодала и хронически бродила без места.

У кухарки не может быть такого же идеала, как у Наполеона или Байрона. Аксинья имела самый мелкий и низменный идеал:

— Поразить.

Сидя скромно в уголку рекомендательной конторы, Аксинья терпеливо выжидала своей счастливой минуты и вся дрожала от внутреннего, грудного смеха, загнанного туда раз навсегда.

Из всей ожидающей ангажемента прислуги — она была самой жалкой, обтрепанной, с самым серым, невеселым лицом, — но это-то и придавало пикантности тому, что она считала приятным долгом проделывать почти каждый день.

Приходили барыни, с брезгливо выдвинутой нижней губой, и пытливым взором выискивали себе будущую «за повара», «полубелых» и со стиркой. Все барыни были непоколебимо убеждены, что ряд женщин, стоявших перед ними — закоренелые воровки, развратницы и сообщницы убийц. Все искусство выбора, значит, заключалось в том, чтобы выбрать наименее корыстолюбивую воровку и, если убийцу, то такую, которая из-за пустяков на преступление не пойдет.

А выбираемые женщины хранили в душе стойкое убеждение, что барыня пришла нанимать прислугу не для какой-либо надобности, а просто, чтобы сжить лишнего человека со света, вогнать в гроб, отравить капризами жизнь и, в конце концов, погубить ни в чем неповинную «за повара» или «полубелую»...

Осмотрев всех «полубелых» и найдя их наглыми грязнухами, барыня неосторожно приближалась к Аксинье Деминой.

— А ты, голубушка... Умеешь готовить?

Аксинья равнодушно смотрит на барыню.

— Да чего ж его не готовить? Конечно ж готовлю.

— Что ж ты готовишь?

Аксинья на секунду медлила и, вдруг, неожиданно, забрасывала барыню самыми причудливыми блюдами, которые она измыслила во время долгих часов ожидания:

— Плюмажи, разные лампасе, загибалы соусные — мало ли!

Ошеломленная барыня качала одобрительно головой и спрашивала:

— А сколько ж ты хочешь в месяц?

И здесь в груди Аксиньи снова зарождался внутренний, далеко запрятанный, счастливый смех — это была долгожданная минута!

Аксинья равнодушно смотрела в угол и, делая вид, что занята какими-то расчетами, апатично говорила:

— Сколько же вам положить?.. Сорок рублей в месяц.

Изумленная барыня отшатывалась от Аксиньи, а она крутила концы дряхлого платка и стояла наружно спокойная, безмятежная.

— Сорок рублей положите — настоящая цена.

— Да ты в уме?

— А чего ж нам! В уме. Нам из ума выйти — последнюющее дело.

Барыня, ругаясь, отходила к другим женщинам, а Аксинья, безмерно счастливая, возвращалась на свое место.

Знающие ее, подсмеивались над этой глупой бесшабашной старухой, а она сидела, значительно поджав губы, серьезная, жалкая в своей солидности...

Что она делала вне своей рекомендательной конторы? Как она бедствовала, сидя месяцами без места, голодная, сурово-непреклонная, нося в груди дрожащий смех и нелепое сладострастное стремление:

— Оглушить.

Какое дитя сидело в этой странной закоренелой старухе?

Однажды в контору пришла маленькая очень молодая дама под руку с мужем.

Она с любопытством осматривалась, как птичка, из-под полей громадной черной шляпы, прижималась к руке мужа, и всем своим видом показывала, что она замужем уже не менее трех дней, что ее все смешит и что жизнь она изучила с добросовестностью и тщанием годовалого младенца.

Дама эта указала рукой на Аксинью и шепнула мужу:

— Какая смешная... Как будто, из папье-маше. Наймем ее.

— Куропатка ты моя, — возразил муж. — Кухарок нанимают, насколько я знаю, вовсе не по той причине, что они смешные. И потом у нее лицо, как у каменной бабы...

— Ну. Наймем ее, Костя... Я же прошу тебя!

Из-под шляпы на него смотрели два молящих глаза.

Муж засмеялся.

— Ну, иди, нанимай.

Дама подошла и поклонилась Аксинье.

— Здравствуйте, сударыня.

— Здравствуйте, — сказала, вздыхая, Аксинья.

Они стояли одна против другой и, молча, смотрели друг на друга.

— Вы... простите меня за нескромный вопрос... кухарка?

— Она, — отвечала Аксинья. — Могу готовить разное супе, загибалы, пирожные...

— Какие странные блюда, — удивилась дама. — А сколько вы хотите в месяц?

Барыня произвела на Аксинью благоприятное впечатление. Подумав, Аксинья ответила:

— Тридцать пять рублей!

Зная, что настоящие хозяйки торгуются, барыня сморщила нос и предложила:

— Возьмите тридцать.

Аксинья вздрогнула, но сдержала крик изумления и уверенно сказала:

— Самая низменная цена: тридцать пять рублей.

— Ну, хорошо, — согласилась барыня. — Служите у нас.

Она задумалась и потом сделала то, что считала первым и необходимым условием всякой сделки:

— Вот вам тогда задаток. Десять рублей.

На новом месте Аксинья ходила смущенная, растерянная, забыв закрыть изумленный рот, который грозил так и остаться в этом неудобном положении.

В первое утро она решила раз навсегда «оглушить» молодую барыню бешеными ценами на припасы и, явившись к ней, заявила:

— Денег дайте на рынок. Пятнадцать рублей. Маловато, да и готовить-то ведь на троих... Картофелю куплю — по полтине фунт, круп на трешницу, да мясо — дерут нынче за говяду по семи гривен — мяса еще куплю. Опять же зелень разная, пустерняк, лук-порей...

И она безнадежно замолчала.

— Сейчас, — засуетилась барыня. — Вот вам пятнадцать рублей. Ничего, что золотом? А вы соль и горчицу уже посчитали здесь? Может, не хватит.

Аксинья не ощутила в груди знакомого сладострастного дрожащего смеха...

Ни ошеломления, ни эффекта не было.

И почва заколебалась под ногами обескураженной кухарки.

В тот же день, когда молодые супруги, сидя за обедом, уничтожали с аппетитом ее странную подозрительного вида стряпню, кухарка Аксинья вошла в столовую и остановилась у порога.

— Чего вы желаете, Аксинья? — вежливо спросила барыня.

Аксинья заплакала.

— Невтерпеж мне! Какая я кухарка? Таких кухарок метлой нужно гнать из кухни. Тридцать пять рублей мне нужно давать? Три рубли много! Где ваши глаза-то были? Нешто такой обед пятнадцать целковых стоит? Рупь ему цена! Берите ваши деньги!.. Тоже нанима-ают... Ну вас!

Она положила на стол деньги и убежала.

На другой день ее видели шагающей по улице по направлению рекомендательной конторы. Была она еще холоднее, сумрачнее и строже.

В конторе забилась в самый угол, а когда одна из барынь попыталась нанять ее, она, даже не думая, заявила:

— Семьсят пять!

ДЕШЁВАЯ ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА “САТИРИКОНА”

ВЫПУСК 39

(1912)

круги по воде

ЗАМЕТКИ ПРОВИНЦИАЛА

I

Когда я приехал в Петербург — у меня на очереди были следующие дела, аккуратно отмеченные в записной книжке:

Полечиться массажем. Отыскать хорошую массажистку.

Найти экономку для ведения хозяйства у меня в Крыжополе.

Подыскать подходящую натурщицу для позирования в моей картине: «Диана встречает Эндимиона».

Пригласить солидную лектрису для чтения мне по вечерам, по случаю слабости глаз.

II

Я взял газету и быстро отыскал в отделе публикаций все нужные мне профессии:

«Молодая, опытная массажистка. Массирует у себя на дому от 3 до 7 ч. веч.».

«Предлагает заведовать у одинокого экономка. Согласна в отъезд».

«Молодая, хорошего сложения натурщица позирует художникам. От 1 ч. до 9 час.».

«Солидная, пожилая дама предлагает быть лектрисой у инт.м. ч.».

III

— Это вы экономка? Спросил я встретившую меня даму.

— Да. Я, — приветливо улыбнулась она.

— Вы согласны в отъезд?
— О, куда угодно.
— Ваши условия?
— Жалованье в месяц 500 рублей. Ну, конечно, еще пара платьев в месяц и две-три безделушки.
Я помолчал.
— Вы, действительно, экономка?
— Конечно. Ведь вы читали публикацию.
— Знаете что? — сказал я серьезно. — Брать для соблюдения экономии в хозяйстве экономку, стоимостью в тысячу рублей — напоминает мне поступок некоего человека, имевшего состояние в тысячу рублей и купившего на эту тысячу рублей кассу для хранения этой тысячи рублей. Вы понимаете, что он остался при кассе, идеальной хранившей деньги, но без денег, которые бы можно хранить в этой кассе. Прощайте.

IV

Публиковавшаяся «солидная пожилая лектриса», действительно, оказалась солидной пожилой дамой, одетой немного безвкусно, но богато.
— А, это вы! — сказала она, рассматривая меня в лорнет. — Так, так... Вы мне нравитесь.
— Спасибо, — скромно улыбнулся я. — Вы мне тоже нравитесь. Ваши условия?
— Сто рублей в месяц и сотня сигар. Я люблю запах хороших сигар.
— Неужели вы курите сигары?!
— Нет это вы будете курить.
— Да вам-то что до этого — буду я курить или нет?
— А как же! Раз я вам их даю — вы должны курить.
— Признаться... я не понимаю... Почему вы даете? И потом — сто рублей в месяц — это цена неподходящая.
— Как хотите. Больше я не могу платить.
— То есть получать?!
— Платить!!!
— По-лу-чать?!!
— Пла-тить!!!!
— Вы? Мне?
— Я. Вам.

— Вы же будете у меня лектрисой и вы же будете мне платить деньги?

— Ах, ты мой котенок, — сказала она, обнимая дряхлой рукой мою шею. — Ты маленький дурачок... Куда же ты? Ну, ладно — сто двадцать! Убежал... Боже, как нынче дорожают молодые люди!.. Прямо-таки приступу нет!

V

— Очень рад познакомиться, — поклонился я высокой, хорошо сложенной натурщице, в розовом пеньюаре. — Поработаем во славу искусства! Вы мне подойдете...

— Еще бы, — засмеялась она. — Ну, раздевайтесь.

— Я? Раздеваться? Зачем?

У меня было такое изумленное лицо, что она участливо спросила:

— Может, вы не туда попали? Может, вы ошиблись адресом?

— Вероятно, — облегченно вздохнул я. — А, понимаю. Вы массажистка! А я думал, что натурщица. Чуть не попросил вас раздеться.

— Да я и есть натурщица.

— Как?! И вы, натурщица, предлагаете художнику раздеваться?!

— Да, неужели, вы художник?

Она хлопнула себя по бокам, присела на пол и залилась хохотом.

VI

Я сделался осторожным.

— Это вы и есть массажистка?

— Я, я.

— Настоящая массажистка? которая массирует? Не натурщица?

— Конечно, не натурщица. Я массажистка.

Я бешено взревел:

— Вы массажистка? Так зачем же вы раздеваетесь, когда мне нужно раздеваться, мне, нуждающемуся в массаже, а не вам?!

На глазах ее показались слезы.

— Вижу, — печально сказала она. — Понимаю... Просто я вам не нравлюсь.

VII

Я вышел от нее, выбросив свою записную книжку, изорвал газету с публикациями и, купив билет, уехал в Крыжополь.

Уехал... Уехал совсем из этого «города шиворот-навыворот», где экономки разоряют, лектрисы платят слушателям за свое чтение, натурщицы раздевают художников, а массажистки сами раздеваются перед больными.

В СВЯТУЮ НОЧЬ

I

Маленький, сухощавый старик сидел в убогой комнате на ветхом стуле, опустив голову, сложив руки ладонь-к-ладони — и терпеливо слушал...

Жена — угрюмая старуха со злым лицом, говорила, размахивая руками:

— Тоже! Миллионер нашелся... яйца красить! Хороши будут и белые. Ротшильд ты что ли, прости Господи? Одной краски на гривенник извел. На улице валяются гривенники, что ли?

— Милая! — сказал старик. — Ведь я тебе уже говорил, что я гривенник этот нашел на улице. Иду — смотрю — лежит беленький. А, думаю, — плутишка! Возьму я тебя, да куплю на тебя красочки для яичек.

— А хоть бы и на улице нашел. Это фабрикант какой-нибудь может на прихоти гривенниками бросаться, а нам, миленький, это не пристало!

— А зато я апельсинных корок для водки даром достал!

— Еще бы ты апельсинные корки стал покупать! Пока еще, милый мой, банкирской конторы не имеешь! А кто заплатил за среднюю курицу семь гривен? Я заплатила за среднюю курицу семь гривен? Нет, ты! Пусть другие прожигают жизнь, как хотят, но тебе-то, старому, уже пора остепениться!..

В передней раздался звонок. Старуха побежала к дверям и через минуту впустила высокого молодого человека,

одетого в порыжевшее летнее пальто и старые лаковые ботинки. В руках пришелец мял черную широкополую шляпу. Держался он, впрочем, очень независимо.

— Что нужно вам, государь мой? — подозрительно спросил старик.

— Если вы меня пригласите сесть, я вам все, как есть выложу. Все, можно сказать, до крупиночки из этого мешка вытряхну.

Он похлопал себя по голове.

— Ну, садитесь. С праздником вас.

— Вас также, дедушка. Это ваша супруга? Здравствуйте, мамаша. Ах, если бы вы знали, зачем я к вам пришел! Вы бы мне в ножки поклонились! Эх, знаю, что подлость делаю, разбалтывая об этом, да уж такова моя натура... Мамаша! Что вы так на меня смотрите? Я только спрошу вас: хотите получить ни за что ни про что целую кучу денег?

— Не желаете ли стаканчик вина выпить? — предложил старик, вставая со стула к которому он до этого был точно пришит.

— После, старина, после. Вот что: если бы я сообщил вам, что там, на улице, за вашей дверью лежит куча золота — дали бы вы мне за эти сведения половину?

— На улице?! — спросила старуха, делая порывистое дивжение к дверям.

Незнакомец усмехнулся.

— Не сейчас, мамаша, не сейчас! Сейчас еще не лежит.

— И четверти довольно будет, — сказал хладнокровно старик, пожевывая губами.

— Четверти мне мало.

Маленький старик вспомнил слова своей энергичной жены и сказал:

— Довольно будет, довольно. Я не какой-нибудь Ротшильд, чтобы половинами разбрасываться.

— Экой ты, дедушка, жилистый... Ну, ладно. Дело, видишь ли, вот в чем: читали ли вы, господа, рассказы о людях, которые в пасхальную ночь творили какое-нибудь доброе дело, отдавали какому-нибудь голодному горемыке последние крохи, а потом Господь посылал им за это радость и богатство?

— Давай дальше! — сказал старик.

— Ну, вот. Вы слышали что-нибудь о богаче Картузине? Об его прошлогодней выходке говорил весь город.

— Нет, не слышали.

— Как же! Это какой-то полупомешанный чудак... Он наряжается в оборванное платье, отправляется к дверям дома каких-нибудь жалких бедняков и, развалившись на земле, начинает громко стонать, как человек, истомленный мучительным голодом и жаждой. От одной, от другой двери его погонят, он идет к третьей и проделывает ту же церемонию. В конце концов, конечно, встречается какой-нибудь сердобольный бедняк, который сжалившись над ним, приглашает к себе в дом, дает ему поесть и снабжает последними грошами на будущее... И что же вы думаете? Через час-два после ухода оборванца приходит к сердобольному человеку артельщик и выкладывает ему пять тысяч чистоганчиком. Недурно, а?!.

— Чего же вы от нас хотите?

— Хочу, — торжественно сказал молодой человек, — чтобы тысченка-другая перепала мне! Я узнал, что Картузин нынче будет лежать у ваших дверей.

— Слышишь, жена? — прищурился маленький старикашка.

— Вам не нужно было бы нас и предупреждать, — сказала старуха. — Мы, все равно, отдали бы и без этого нуждающемуся последнее. Пусть только ляжет под двери.

— Э, тетя! Бросьте штучки, — захохотал незнакомец. — Меня на это не возьмешь... Будем решать начистоту. Хотите пополам — ладно, а нет — стоит мне только шепнуть ему, что вам уже все известно...

— Подавись третьей частью, — предложил старик, потирая ладони одну об другую.

— А тебя, дедушка, от двух третей, не разорвет?

— Не разорвет. Нас ведь, двое со старухой. Так что — нечего там.

— В таком случае, — по рукам!

Так было продано и разделено на части лучшее, что есть, в природе — человеческое милосердие, прекрасный душевный порыв, доброе, чудаковатое сердце оригинала-миллионера.

II

Спрятавшись за оконной занавеской, старик выглядывал на улицу и нетерпеливо постукивал по стене сухими пальцами.

Наконец, он облегченно вздохнул: из-за угла, направляясь к его дверям, показался какой-то оборванец; он, придерживаясь за стены, тихо брел, еле передвигая слабыми ногами, будто одержимый невыносимыми муками голода и жажды.

— Варвара! — крикнул старик. — Ты подмела сор около подъезда, как я тебе говорил?

— Подмела. Даже песочком посыпала.

— И дура. Вечно пересолит. Ты бы еще ему постель выставила...

Оборванец, между тем, шел, ни на что не обращая внимания, и в лице его, обращенном к равнодушному небу, сквозила голодная тоска.

У дверей дома, где его подстерегали, силы, наконец, оставили несчастного: он зашатался и рухнул наземь с глухим стоном.

— Есть! — сказал старик, потирая ладонь-о-ладонь. — Лег. Выходи, Варвара. Действуй, Варвара!

Варвара неторопливо вышла на крыльцо, вскрикнула от неожиданности, увидав лежащего, и потом участливо наклонилась к нему.

— Бедняга! Эй, молодой человек... Вы что, больны, что ли?

— О, добрая госпожа, — еле ворочая языком, сказал оборванец. — Я уже третий день ничего не ел. Конечно, и вы, вероятно, прогоните меня, как уже гнали от подъездов другие добрые господа.

— Звери! — сказала старуха, утирая кулаком слезы. — Что у них лежит в том месте, где должно быть сердце? Камень, или — еще хуже — слиток золота. Эй, старик! Иди сюда, помоги мне поднять этого беднягу. Мы будем хуже волков, если не дадим ему чего-нибудь поесть и подкрепиться.

— Вы... Вы меня не гоните? — изумленно вскричал лежащий.

— Как видите, — улыбнулась старуха. — У старой Варвары есть еще кое-что в груди, хоть она и бедна, как церковная крыса.

При помощи старика и его жены, оборванец кое-как поднялся и вошел в дом.

Варвара сама сняла с него рваное старое пальто, заботливо повесила его на вешалку в передней и потом весело захлопотала.

— Вот вам! Кушайте на здоровье! Жареная курица, колбасы, яички крашенные — мой старичина сам и красил. Водочка на апельсинных корках. Селедочка малосольная.

Оборванец набросился на все с жадностью изголодавшегося человека, но, утолив первый голод, всплеснул руками и сказал:

— Боже! Я съел почти все, в то время, когда вы приготовили для себя... Простите меня! Я вижу — живете вы небогато и запасов у вас нет... Я себе этого никогда не прощу...

— Не думайте о нас! — сказал старик, кротко улыбаясь, — нам много не надо, да и потом — согласитесь сами — приятнее съесть вместо разносолов, сухую корку хлеба, зная, что ты накормил и избавил от смерти ближнего своего.

— Вы — добрый человек! — растроганно сказал незнакомец, пожимая хозяину руку.

— Если бы у нас было всего вполовину меньше, — сказала Варвара, — и то бы мы вам отдали все. Такое уж у нас правило!

Незнакомец пожал руку и Варваре.

— Вы добрая женщина.

— Кушайте, пожалуйста. Вот кулич!

— Спасибо, — дрожащим голосом сказал незнакомец, утирая непрошенные слезы. — А теперь я пойду. И так я, кажется, злоупотребил вашей добротой.

— Куда же вы теперь пойдете? — сочувственно прищурился старик.

— Куда? Бог его знает куда. У меня нет пристанища. Впрочем, переночую под каким-нибудь кустом...

— А деньги у вас есть?

— Ни копеечки.

— Тогда... — смущенно начал старик, вскочил, выбежал в другую комнату и вернулся сейчас же, держа двумя пальцами золотой. — Тогда... вот... Это все наши скудные сбережения, но мы отдаем вам от чистого сердца. Вам они нужнее!

— Как мне благодарить вас! — со слезами на глазах воскликнул неизвестный.

— Никак, — скромно покачал головой старик. — Благодарность за это — наша чистая совесть и спокойное сердце. Мы теперь не будем терзаться, боясь, что вы нуждаетесь. Авось, Бог пошлет нам!

Осыпая мужа и жену благословениями, незнакомец натянул свое ветхое пальто и вышел.

— Бог пошлет вам! — сказал он на прощание.

— Конечно, — подтвердил старик. — Иначе, — где же тогда справедливость?

III

Незнакомец вышел и бодро зашагал по улице, делая широкое шаги в такт гудевшему где-то пасхальному колоколу.

Из-за угла выдвинулась сначала широкополая, черная шляпа, потом порыжевшее летнее пальто, а потом показался и весь молодой человек — автор чудовищной комбинации с добряком-миллионером.

Он осторожно огляделся и подошел в оборванцу.

— Ну, что? Небось, хорошая кормежка?

— Чудесная! Наелся свыше головы. Давно так не кормили.

— Вот, видишь! А ты еще хотел продавать свой редкостный револьвер!.. Револьвер, брат, нам еще пригодится на будущее... Ты его побереги. А денег дал?

— Дал и денег. Десять рублей.

— Молодец старина! Ловко я разогрел его. А теперь и стаканчик винца не грешно выпить!..

Маленький старик сидел на ветхом стуле, опустив голову и потирая руки ладонь о ладонь.

— Не идет чего-то артельщик от этого фрукта, — проворчала жена.

— Да, — равнодушно сказал старичок. — Не идет.

— А вдруг и совсем не придет!

— Бывает и так, — согласился старичок.

— Может, он и думать о нас забыл? Может, ему что-нибудь не понравилось?

— Э, миленькая, все может быть. Они народ избалованный.

— Черт с ними, думает. И без моих денег, мол, обойдутся.

— Наверно, сидит и думает: дьявол их забери — этого старика и старуху, — поддержал равнодушным тоном супруг. — Шиш они получат, вместо денег. — Так что же,

значит: наша колбаса, курица, яйца, водка и деньги — пропали даром? — пронзительно закричала жена.

— Не кричи, старуха. Не надо кричать. Господь посылает убогим.

— Дожидайся! А пока что плакала наша курица и десять рублей!

— Чего ж плакали, — кротко сказал старичок, потирая ладони одна о другую. — Им нечего плакать.

— Почему же это так, позвольте вас спросить?

Старичок улыбнулся лучезарной улыбкой и вынул из кармана револьвер.

— Такая вещь стоит больше тридцати рублей. Я у него в пальтишке нашел. Думаю: если он богач — ему этой штуки не жалко, если жулик — все-таки мы двадцать целковых с тобой, душенька, заработали. Зачем же роптать, старушка? Нужно довольствоваться малым.

РАССКАЗ О БИЛЛИАРДНОЙ ИГРЕ, О БИЛЛИАРДНЫХ ИГРОКАХ, О БИЛЛИАРДНЫХ НЕУДАЧНИКАХ И О ПРОЧЕМ

Вы просите меня сказать, что-либо о биллиардной игре... Почему, именно, меня? Почему о биллиардной игре? Что? Вы меня видели несколько раз за биллиардом? Ну, что ж... Если вы считаете это достаточным основанием — пожалуйста.

Да, я один из самых азартных биллиардных игроков. Несколько лет тому назад в Харькове я проводил у биллиарда дни и ночи и, в конце концов, добился даже некоторой известности: я прославился, как один из самых худших биллиардных игроков.

Я объясняю это своей близорукостью, а, отчасти, артистичностью натуры: не умея еще, как следует, играть, я «заказывал» самые диковинные, почти невозможные, шары.

Например: мне страшно хотелось положить в уголок четырнадцатого... Но путь к нему был прегражден тремя шарами, стоявшими так, что к четырнадцатому можно было пробраться, только перешагнув через них. Я хладнокровно говорил:

— Играю четырнадцатого!

— Ка-ак? Каким образом?

Играю своего от двух бортов по одиннадцатому, а одиннадцатый дуплетом от шара... какой там стоит?.. Ну, это неважно... все равно... а одиннадцатый от шара кладет четырнадцатый.

Все смотрели на меня с удивлением и тайным восторгом.

Я долго целился... Трах! Я не только не попадал в вспомогательного одиннадцатого, но мой собственный шар, не добегая до намеченного борта, прямо и непосредственно сваливался в лузу, за что от меня отсчитывалось, в виде штрафа, пять очков.

Вы спрашиваете меня о происхождении биллиардной игры и об имени ее изобретателя?

Я полагаю, что изобретателя никакого не было, а родоначальником биллиарда следует считать обыкновенный обеденный стол, который постепенно и незаметно совершенствовался.

Сначала играющие или, вернее, обедающие, покончив с супом, принимались за горячий картофель и, ради забавы, перекатывали круглые картофелины друг к другу. Так как картофель был горяч, — игроки ловили его в полы своих камзолов, которые при усовершенствовании и выродились в современные лузы. Картофелина, брошенная неловкой рукой, не попадала в подставленную полу камзола и падала на пол, что лишало игроков возможности употреблять ее в пищу. Отсюда возникли борты, преграждающие возможность шару вылетать за пределы стола. Впрочем, есть такие игроки, шары которых никакой борт не удержит в границах биллиарда. Мне это часто удавалось...

Вот, в общих чертах происхождение биллиарда. Допотопные вилки заменились киями, вместо скатерти употребляют сукно... Что? Вы находить мое объяснение ненаучным? Не знаю... Значит, кто-то из нас больше понимает и разбирается в законах логики и эволюции...

Типы биллиардных игроков?

Их очень много, но главных три: экспансивный игрок, советчик и «жук».

В особенности, врезался мне в память экспансивный игрок... Он весь — один нерв. Когда его противник нацеливается на шар, он танцует около биллиарда, делает обреченному шару какие-то знаки, будто предостерегая от грозящей опасности попасть в лузу, а когда шар уже покатился — он перегибается

всем телом на сторону, искренно думая, что центр тяжести перемещается не только в его теле, но и в катящемся шаре. А когда экспансивный игрок сам «делает шара», он, ударив кием, забегает на другую сторону биллиарда, машет рукой тихо катящемуся шару, тычет пальцем в лузу, указывая ему могилу, дует на него, а иногда, схватив лихорадочно мел, чертит на сукне дорогу, ведущую прямехонько в лузу. Но шар — большой толстый философ, которому дороги свои высшие законы. Если его неправильно толкнули — никакая лесть, приказание и зазывание не помогут. Он насмешливо остановится у борта, где и затихнет.

Однажды, зайдя в биллиардную, я в табачном дыму и копоти услыхал странное слово:

— Упань! Упань!

Сначала я думал, что это военный клич индейцев, неведомым образом завоевавших биллиардную. Но потом оказалось, что это — повелительное наклонение от слова «упасть», которое относилось к шару над лузой. Вопил экспансивный маркер, у которого были, очевидно, свои соображения насчет русского языка.

Второй тип — советчик. Он почти никогда не играет, а если играет, то прескверно. Он «советует»,

— Зачем вам играть четырнадцатого? Он никак не проходит. Восьмерка ему мажет. Вот вам десятку играть нужно в средину: прямо-прямо попадает в лузу.

Десятка может попасть или не попасть, но советчику всегда попадает...

Если десятка положена, накидывается партнер игравшего:

— Лезете вы тут со своими советами, черт вас подери... Вот он и положил десятку!

Если десятку не удалось положить, ругает игрок, не попавший десяткой в средину:

— Хотел играть четырнадцатого, так нет — «играй десятку!» Лезет тут со своими советами, чтоб ты пропал!

Советчик смиренно молчит минут пять... Потом — неожиданно загорается:

— Куда, куда вы? Вам нужно семерку в угол играть с оттяжкой под девятку. Трех шаров сделаете. Неужели, вы не видите?

— Хотите я хлопну вас кием по голове? — предлагает один из игроков.

Советчик этого не хочет. Ему хотелось бы только, чтобы пятнадцатого играли в средину.

Были попытки выбрасывать советчика за двери или запихивать под биллиард. Но он заглядывал потом в окно или вылезал из-под биллиарда и коротко говорил:

— Зачем вам дуплет, когда шестерка прямо висит над лузой...

Третий тип — «жук». Так называется профессиональный биллиардный игрок, хладнокровный, искусный, хитрый и продувной.

Он может целый час играть с видом глупого новичка, завлечь вас и постепенно обыграть дотла.

Может часами сидеть около двух игроков и давать самые глупые, нелепые советы — пока терпение у одного из игроков не лопнет и он не скажет досадливо:

— Что вы с глупыми советами лезете... Давайте-ка сыграем лучше... Я вам покажу!

«Жук» неумелыми руками берет кий, держа его вверх ногами... Роняет мел.

— Я вам покажу! — торжествет игрок.

Конечно, в конце концов, «показывает» жук...

Я мог бы многое рассказать из того, что мне приходилось наблюдать во время моих прошлых скитаний по биллиардным: о мазчиках, о целых «группах» жуков, о разных играх: ботифон, чухонской, алягер, в пять шаров. Но эти игры не интересны тем, кто их не знает, и еще более не интересны тому, кто их знает...

Мастерские удары? Да, мне приходилось их видеть.

Недавно мне пришлось играть с одним поэтом... Он уверил меня, что прекрасно играет на биллиарде, и я, действительно, видел один его мастерский удар: он долго целился с «навеса» («пистолетом») тяжелым кием, взмахнул им... тонким концом прорвав сукно под шаром (шар не двинулся с места), толстым концом кия ударил какого-то злосчастного «советчика» в глаз, а когда обернулся к пострадавшему, чтобы извиниться — тонким концом кия разбил большую лампу, висевшую над биллиардом. Все это он назвал: «комбинированным ударом».

Я давно играю на биллиарде, но только в тот вечер постиг разницу между простым ударом и «комбинированным»... Первый — ничего не стоит перед вторым, а второй — стоил нам около сорока рублей (сукно, лампа и глаз...).

ИНТЕРВЬЮЕРЫ

I

Они ходят ко мне частенько и всегда у них такой вид, будто бы их заставило прийти неотложное дело.

А дела никакого и не было. Просто они приходят, садятся и с любопытством спрашивают:

— Что вы думаете о самоубийствах, участившихся за последнее время?

— Что вы думаете о воздухоплавании?

— О краже бриллиантов из ювелирного магазина?

— О котиковом промысле?

Помню появление первого интервьюера очень меня обрадовало и польстило мне. Я приветствовал его радостным воплем, скомкал в своих объятиях, повалил в мягкое кресло, сунул ему в зубы дорогую сигару, поджег ее, окружил тремя пепельницами и даже хотел завести граммофон, чтобы позабавить его, но он отказался.

Вопрос его был такой:

— Что вы думаете о доках на Черном море?

Призадумавшись, я спросил:

— Почему, именно, на Черном море?

— Потому что редактора и читателей интересует, именно, этот, вопрос.

— Они бывают везде, — осторожно сказал я.

— Везде-то везде, но, главное, нужно бы — на Черном море! А их, как раз, там и нет.

— Неужели такая в них нужда?

— Огромная. Без них у нас на Черном море флот всегда будет в упадке.

— А если... их... разыскать? — предложил я.

Он усмехнулся.

— Как же разыскать, если их нет!!

— Вот потому-то и надо разыскать. Всегда и разыскивают то, чего нет.

— Да, — возразил он, — но это ведь не иголка!

— Конечно, не иголка! Я-то о доках могу судить, как следует. Слава Богу! Подвертывались они мне в моей жизни!

— Может быть. Но только не на Черном море.

— На Черном море я ни одного не встречал, — согласился я. — Но однажды мне пришлось встретить его на маленькой

железнодорожной станции. Он сказал, что постережет мои чемоданы, пока я напьюсь чаю, а когда я вернулся, — он уже убежал с моими чемоданами. Как ему было не стыдно — не понимаю!

Интервьюер перекусил пополам сигару и крикнул изумленно:

— Кому? Кому стыдно?

— Этому мошеннику.

— А причем тут доки?

— Я же вам об одном из них и рассказываю. А то еще, помню, был я совсем молоденький. Познакомился с одним персиянином, а он...

— Стойте! — вскричал интервьюер. — Вы знаете, что такое доки?

— Зна...

— Нет, вы не знаете! Доком называется такое место, где строятся корабли, пароходы и другая посуда, назначение которой плавать по воде.

Я не хотел сдаться сразу.

— Ну, да... Бывают и такие доки. А то и такие бывают, что на глазах у вас ваши же часы снимет. Помню однажды...

— Виноват! Что вы скажете о доках на Черном море?

— Не вижу в них надобности, — сухо заявил я.

— А как же мы поставим наш черноморский флот на должную высоту?

— Как? Из Балтийского моря можно взять да напустить сколько угодно броненосцев.

— Хорошо говорить вам — напустить! А Турция не пропустит их через Дарданеллы.

Я был обескуражен, но не показал виду.

— Можно потихоньку как-нибудь... ночью, когда заснут...

— Чепуха! Там цепи, мины, стража...

— Ну, какое-нибудь другое место выбрать... въехать в Черное мо...

— Да другого нет!!

— В таком случае, извините — ничем не могу вам помочь.

— Ну, а если мы устроим на берегу доки и начнем на них строить броненосцы?

— Ну, что ж... устраивайте.

Он облегченно вздохнул, как будто только и ждал моего разрешения. Торопливо попрощался и ушел с видом чело-

века, который через полчаса должен выстроить не менее десятка доков.

На другой день в газете было написано, что лучшие русские умы сходятся на необходимости устройства доков на Черном море.

Это был премилый молодой человек.

II

Второе интервью не было таким удачным, как первое.

Второй интервьюер пришел, запыхавшись, и спросил:

— Что вы думаете об...

— О чем? — прищурился я с видом знатока.

— Об этом самом... Черт возьми! Я забыл, о чем...

Он долго тер себе переносье, стараясь вспомнить.

— Проклятая память! О чем же вы должны думать?

— Может быть, что я думаю о всеобщем разоружении?

— Нет! Причем тут разоружение? Впрочем, постойте! Я до вас тут одного осла интервьюировал — и записал ответ. Не догадаемся ли мы по этому?

Он прочел в записной книжке:

«Я считаю это страшным бедствием. Бывают случаи, когда природа как будто объявляет беспощадную войну человеку. Сотни, тысячи жертв людьми и несчастными животными — и человеческие руки, все-таки, бессильно опускаются перед этим врагом. Вся наша культура, вся наука — как они жалки перед ним, этим слепым чудовищем!..»

— Я знаю! — вскричал я. — Он говорит о чуме! Только почему он так сожалеет о гибели животных? Подумаешь — какие-то крысы! Они разносят заразу, да их же еще и жалеть! Чем больше их передохнет — тем лучше!! Записывайте!

Я продиктовал ему:

«Соглашаясь с тем, что это зло очень велико, я, тем не менее, держусь того мнения, что борьба с ним возможна. Как? Ответ ясен: уничтожение крыс, беспощадная война с блохами и более сносные гигиенические условия. Если всякий человек будет держать в чистоте свое тело, мыть как можно чаще руки, сжигать всякие отбросы — то нет сомнения, что беспощадный враг не зацепит его своим черным крылом!!»

Молодой человек записал мое мнение, поблагодарил и ушел.

На другой день все были поражены, читая мои соображения по поводу стихийного бедствия — тайфуна, пронесшегося по восточному побережью Америки.

Оказалось, таков был сюжет интервью, порученного забывчивому интервьюеру: — «что вы думаете о бедствиях, причиненных тайфуном»?..

Я не знаю, нашелся ли на земном шаре хоть один идиот, который пытался бы спасти свою жизнь от тайфуна по предложенным мною рецептам: мытье рук, истребление крыс и вообще «сносные гигиенические условия».........

....

III

В последнее время интервьюеры совсем одолели меня. Чтобы избавиться от них, я обратился к «сносным гигиеническим условиям» — держал двери на замке.

Но на днях один из этих бичей человечества проник ко мне и заявил, что не уйдет живым, пока не проинтервьюирует меня.

— Меня нет дома, — признался я.

— Я с вами не согласен. По-моему, вы дома.

— Я ушел около часа тому назад и вернусь поздно ночью.

— Вы переменили ваше решение и вернулись полчаса тому назад.

— Мое слабое надломленное здоровье не выдержало борьбы с жизнью, и я умер! Приложитесь к покойнику и идите себе домой.

— Вы еще совсем теплый и для интервью вполне пригодны.

Я был очень нахален, но мое нахальство по сравнению с его нахальством было дружеской лаской и самоотречением.

— Сколько времени вы будете здесь торчать и задавать ваши бессмысленные вопросы?

— Я не буду торчать, а сяду. Вы отнимете у меня времени всего 15 минут, потому что я через четверть часа буду у другого субъекта или, вернее, объекта.

— Четверть часа? Честное слово? А потом вы уберетесь?

— Конечно. Не думаете ли вы, что беседа со знаменитостями доставляет мне удовольствие?

У меня явился план... Я внутренно захихикал, откашлялся и вежливо сказал:

— В сущности, конечно, это ваша профессия, и я не прав, отказываясь от интервью... Скажите, большой процент интервьюированных предварительно отказывается от интервью?

Он сказал откровенно:

— Почти все отказываются! Пока его уломаешь — будто камни ворочаешь...

— Но бывают и такие, которые рады-радешеньки, когда вы приходите интервьюировать их?

— Новички. Кто уже опытный — тот больше норовит спрятаться.

— Но, я думаю, в большинстве случаев, результаты интервью получаются самые нелепые?

— О-о!.. Я не помню ни одного сносного ответа... Вообще, человек бывает, как человек... Рассуждает умно, здраво — до первого интервью! Тогда такое заговорит, что святых выноси.

— Я думаю, нервы у вас, у интервьюеров, всегда расстроены?

Он покачал головой.

— Чистое мученье! Врагу не пожелаю такой профессии...

— Много, по крайней мере, она дает?

— Когда как. От ста до пятисот рублей в месяц. Смотря, как работаешь.

— Скажите, большинство людей вашей профессии — женаты?

— О, нет. Никогда не бываешь дома — посудите сами, для чего тогда жена?

— Долговечны интервьюеры?

— Нет. Больше сорока лет не выживают.

— Образование?

— Большей частью, четыре класса гимназии. Изредка — аттестат зрелости.

— Фармацевтов много?

— Очень.

— Отношение читателей?

— Пренебрежительное. Врет, говорят, как интервьюер.

— Необходимые качества?

— Хитрость, назойливость, сообразительность...

Я встал.

— Последнего у вас немного. Прощайте!

Он испуганно закричал:

— Что это значит? А интервью?

— Пятнадцать минут прошло. Поздравьте меня! Я сделал то, чего никто не делал... Интервьюировали всех — адвокатов, балерин, писателей, убийц, министров, авиаторов и шантанных певиц. Но никто еще не интервьюировал интервьюеров. Я это сделал. Ступайте, милый! Ступайте, ступайте!

Он хотел заплакать, но потом раздумал и, потоптавшись на месте, тихо спросил:

— Сколько вы на этом заработаете?

— Рублей семьдесят.

— Дайте пятьдесят процентов.

— Держите карман шире! А мне платил кто-нибудь за то, что интервьюировал?.. Смотрите, прошло уже двадцать минут. Упустите и второе интервью.

Он выругался, схватил шапку и умчался...

С ними, вообще, церемониться не следует.

ПАСХАЛЬНАЯ МЕТЕЛЬ

I

Когда я пришел к Будаговым с новогодним визитом, дома была лишь одна madame Будагова.

— Вы одни, Катерина Михайловна? — спросил я, вежливо раскланиваясь. — С Новым годом!

— Одна. Петр Терентьич уже часа три, как уехал делать визиты...

— Ну, иди ко мне, мой крысеночек. Иди, я тебя поцелую. Соскучилась?

— Очень. Целую неделю не видела тебя, гадкий мальчишка.

— За это Китти получит удвоенную порцию поцелуев.

Я обнял хозяйку дома и стал целоваться с проворством и быстротой почтового чиновника, кладущего штемпеля на конвертах.

Она стояла лицом к дверям, я — спиной.

На половине одного из поцелуев, она вдруг оторвалась от меня, поправила прическу и сказала странным голосом:

— Оставьте! Что вы делаете?

— Христосуетесь? — раздался сзади меня голос. — Хе-хе... Древне-христианский обычай исполняете?

Оглянувшись, я увидел хозяина дома Петра Терентьича. Он стоял на пороге, еще не успев снять шапки и глубоких калош.

Помолчав немного, снял их, шагнул в комнату и повторил:

— Христосуетесь?

— Да... — нерешительно подтвердил я, сам себе не веря. — Гм... Христосуюсь.

— Так... Дело хорошее. Ну — Христос воскресе!

Он подошел ко мне, обнял, и мы расцеловались.

— Ну, Христос воскресе.

— Воистину, — подтвердил я.

— Садитесь, пожалуйста. Где были у заутрени нынче?

— Так, знаете... Собственно — нигде. Праздничные хлопоты, разные дела...

— Напрасно, напрасно, молодой человек. Нет ничего возвышеннее и трогательнее, когда первый раз прозвучит «Христос Воскресе!» Поцелуи, ликование... Иллюминация горит, оживление... Восторг!

Он замолчал, не решаясь из деликатности прерывать моего занятия, которое заключалось в том, что я взял пепельницу в форме древесного листа и стал внимательно изучать ее строение. Мой пытливый взор осмотрел все прожилки и разветвления на зеленой поверхности листа; мой пытливый взор не удовлетворился этим: я повернул пепельницу донышком кверху, не обращая внимания на то, что два окурка упали на мое колено, — и стал рассматривать белое, как снег, донышко, на котором было напечатано очень красивыми голубыми буквами:

«М.С. Кузнецов в Будах».

— Окурочки уронили, — сказал хозяин. — Не беспокойтесь — я сам подниму. У кого разговлялись?

— Как... разговлялся?

— Ну, свяченый кулич ели. Вероятно, у Халюзиных?

— Нет не у Халюзиных.

— А у кого же?

— Да так... Ни у кого. Дома был.

— Ну, что вы говорите! Разве ж можно так — не разговляться. Да мне праздник не в праздник, если я, вер-

нувшись от пасхальной заутрени, не похристосуюсь, да не съем парочку красных яичек, да ветчинки, а прежде всего кулича свяченого, да колбаски с чесночком, да барашка ломтик молоденького, у которого в ротике первая весенняя травка торчит! А, впрочем, — что же это я, дурак, болтаю. Гость тут сидит, а я болтаю, забыв предложить вам чего-нибудь выпить и закусить. Милости прошу закусить, чем Бог послал. Ветчинки, кулича попробуйте, яичко лиловенькое...

Петр Терентьич взял меня под руку и потащил к накрытому по случаю Нового года парадному столу.

Он налил и себе, и мне по рюмке зубровки, но вдруг лицо его побагровело и глаза сердито засверкали.

— Катя! Что это такое? Что это за стол?

Стоявшая у окна и сосредоточенно дышавшая на замерзшие стекла хозяйка дома, обернулась и нервно спросила:

— Что такое? Что там еще случилось?

— Я спрашиваю, — сердито отчеканил хозяин, стуча черенком ножа о стол. — Я спрашиваю: что это такое за стол? Кто это так делает? Кто так накрывает, что не поставили ни крашеных яиц, ни барашка жареного, ни куличей? Где куличи?!

Лицо его вспыхнуло от раздражения и шея покраснела.

— Я вас спрашиваю: что это за пасхальный стол? Где яйца?

— Я сейчас, — сказала жена. — Сейчас... принесу. Забыла поставить...

— Ну, то-то... Да чтоб яйца были крашеные! А то мне праздник не в праздник... Живо! Я хочу выпить с моим молодым другом.

Хозяйка пожала плечами и, опустив голову, ушла, а я сидел, молча, постукивая носками лакированных ботинок и поглядывая на хозяина, нервно ходившего из угла в угол.

Он остановился, поглядел на меня и заметил:

— Ранняя нынче Пасха, не правда ли?

— Что?

— Я говорю, ранняя в этом году Пасха.

— Да...

— Хотя это бывает, — кивнул ободряюще головой хозяин. — У евреев Пасха еще раньше.

— Так — то ж евреи, — неопределенно возразил я.

Опять мы замолчали. Разговор не налаживался. Я почистил ногти о сукно фрака и стал их разглядывать. Розовые блестящие ногти. На одном — белое пятнышко. Говорят — к счастью. Счастливый, значит. Я погладил одной рукой другую и от нечего делать пересчитал пальцы. Все было в порядке — по пяти на каждой руке. Я вздохнул и поскреб ногтем по манжетной запонке.

— Ранняя Пасха, а теплая, — вяло сказал хозяин. — Не правда ли?

— Да, — после некоторого колебания отвечал я, искоса взглянув на хозяина. — Теплынь.

— Что вы говорите?

— Я говорю — теплынь! Тепло.

— Да. Дело как говорится, к лету идет.

Я чувствовал, как голова моя пустеет, делается легкой, а ноги — наоборот... Будто к ним по пуду свинца привесили.

— Уйти бы, — подумал я.

II

— Ну, вот... нате вам, — сказала хозяйка, входя в комнату и угрюмо поглядывая на нас исподлобья.

В руках она держала поднос; на подносе стояла большая булка, на верхушке которой торчал нелепый бумажный розан; кроме того, на подносе стояла тарелка с четырьмя яйцами: три черных, одно красное.

— Вот и цветные яички, — вскричал внезапно оттаявший хозяин. Чудесные яички — хозяйка сама красила.

— Было заметно, что это дело рук хозяйки: яйца были выкрашены наспех — одно красной губной помадой, липкое, неряшливое, а три — просто чернилами, которые кое-где еще не высохли.

— Возьмите черненькое, — радушно сказал хозяин. — Катя, отрежь гостю кулича. Пусть попробует — хороши ли нынче куличи... Сама, ведь пекла...

Булка была самая обыкновенная из турецкой булочной, но я взял кусочек и пожевал, судорожно двигая челюстями.

— Ну, как находите? — спросил хозяин.

— Ничего. Славный куличек.

— Гордость хозяйки! Ну, выпьем! С праздником. Христос Воскресе!

— Воистину...

— А что ж вы яичко-то? Надо яичком закусить. Это уж такой порядок. Дачку ищете?

— Что?..

— Я говорю., дачку уже начали искать? Или когда пасхальная неделя кончится, тогда поедете?

— Нет еще... не искал.

— Как же вы так? Надо теперь искать. А то после Пасхи хватитесь — все хорошие дачки разберут.

— Д... мерси... Ну, я, знаете, — побегу. Пора!

— Куда ж вы... посидите!

— Я и так засиделся. Извиняюсь... У меня еще уйма визитов.

— Не смею удерживать... Прощайте...

Хозяин взял меня под руку и повел в переднюю, мурлыча пасхальный ирмос.

— Извините, горничную отпустили, — позвольте я вам помогу одеться. Вот ваше пальто.

— Это не мое пальто, — нерешительно возразил я, поглядывая на потертое весеннее пальтишко, которое хозяин подавал мне. — У меня шуба.

Хозяин разразился смехом, схватившись за бока и подмигивая жене:

— От двух рюмок что нынче с молодыми людьми делается! Шуба! Да кто же на Пасху в шубе ходит... Тут в летнем пальто жарко... А вы кутаетесь — весеннее носите. Правда, оно легонькое, не на вате... Ну, одевайтесь!

— Уверяю вас, что у меня шуба... Это не мое пальтецо! На дворе страшный мороз...

— Мороз? На Пасху?! — всплеснул руками хозяин.

— На какую там Пасху, — нервно вскричал я. — Какая там Пасха, когда нынче Новый год?!

— То есть... как это?.. — ледяным тоном сказал хозяин, прищуриваясь. — Не хотите ли вы сказать, что целовали мою жену просто так...

Он подошел ко мне ближе.

— Нет, — крикнула жена, побледнев. — Мы, конечно, христосовались!..

— Ну, вот, видите... Просто вы выпили немножко, и вам всюду мерещатся шубы... Одевайтесь — ведь, вам спешить надо.

Он набросил мне на плечи жалкое пальтишко, нахлобучив на голову жокейскую шапочку, извлеченную им из-за сундука, и выпустил на площадку.

— Ну, всего хорошего. Заглядывайте после Пасхи... Досвишвеция, как говорят шутники...

Я шел по улице, понурившись. Энергичная пылкая горячая стужа щипала мое тело, сквозь прозрачное пальтишко, но я уже не обращал на заигрывания женщин никакого внимания...

ЧУДАК

Одно из главных душевных свойств Чудака выяснилось для меня совершенно случайно.

В то время мы были мало знакомы, и только еще присматривались друг к другу.

Прекрасным росистым утром гуляли мы с ним по полю, пригреваемые ранним солнышком. Дышалось легко, чудесно, полной грудью, а ноздри жадно расширялись навстречу сладким полевым запахам.

— Какое чудесное утро, — воскликнул я. — И какой райский аромат!

— Да, — кивнул головой Чудак. Жаль только, что я ботинки промочил росой.

— К черту ваши ботинки! Вы посмотрите — все до последней козявки, до последнего жучка живет сейчас полной жизнью, стараясь до дна исчерпать свое краткое предназначение.

Чудак с сомнением покачал головой.

— Тоже, знаете ли, разные жучки бывают и разные их предназначения... Иной жучок только тем и живет, что хлеб на корню пожирает и убытки делает...

— Вы не любите природы? — спросил я с досадой.

— Мы оба не любим друг друга. Так что — квиты.

Я оглядел его тощую, нескладную фигуру, его впалую грудь и желтые усы на бледном лице. И подумал:

— «А, пожалуй, голубчик, ты и прав. Природа тоже тебя не особенно жалует».

— По-моему, этот «цветочный ковер», которым вы так восхищаетесь — одна безвкусица. Тона подобраны кое-как, без всякого смысла...

— Ага!.. Вы, значит, требуете какой-то высшей гармонии. Ну, в самой природе вы гениальности не встретите; в описаниях ее — пожалуй. Помните, Пушкина? Ни с чем несравнимые строки:

Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух. Чуть трепещут
Сребристых тополей листы,
Луна спокойно с высоты
Над Белой Церковью сияет...

— Знаете, что напоминают мне эти стихи? Протокол. Бесстрастный полицейский протокол. О чем пишет поэт? Об украинской ночи? Ну, да, она бывает тиха... Тут ничего особенного. «Прозрачно небо»... Конечно, раз нет туч и небо ясно — оно прозрачно. Наверное, всякий обыкновенный человек тысячу раз говорил в этих случаях: «какое прозрачное небо!.. Как блещут звезды»... В том, что иногда в воздухе чувствуется тревога — нет ничего удивительного, даже животные иногда чувствуют это. А насчет «трепетания сребристых тополей» — это ведь любой хохол видел, знает и ничего не находит тут замечательного. Трепещут потому, что дует небольшой ветерок. Легкое движение воздуха.

— Замолчите! — крикнул я. — У вас, вместо сердца, кусок сухого дерева!

Чудак улыбнулся и ответил:

— Нет, сердце у меня хорошее. Вот легкие — действительно, не особенно приличные.

* * *

Однажды, прогуливаясь по шумной улице, я встретил Чудака. Он быстро шел, оглядывая фасады домов и внимательно прочитывая все вывески.

— Здравствуйте, Чудак. Куда вы?

— Гроб покупать.

Я рассмеялся.

— Странное у вас нынче остроумие. Пойдемте, прогуляемся.

— Не могу. Честное слово нужно заказать гроб.

— Кому?

— Нашей хозяйке дома. Она умерла нынче, и все ее домашние так растерялись, что взвалили эту обязанность на меня. Впрочем, старуха. Уже 60 лет.

Мы отыскали мрачное логовище гробовщика и спустились по ступенькам вниз.

Чудак выбрал небольшой черный гроб, вынул бумажник и потом вдруг, будто что-то вспомнил, огляделся.

— Еще что-нибудь прикажете? — засуетился гробовщик.

— Да... Как вы думаете, — обратился он ко мне. — Если человек на полголовы ниже меня — какова его длина?

— Высота, вы хотите сказать?

— Длина. Я беру лежащего. Мне понадобится еще один гроб. Можно купить заодно, чтобы потом не возиться.

— Для кого?!

— Для моего отца.

— Да разве он умер?

— Живехонек. Но у него рак желудка — дело верное... Больше трех месяцев не протянет.

— — И вы говорите таким тоном об отце?!

— Я говорю обыкновенным тоном. Тут уж ничего не поделаешь. Жалко его очень, — но от рака излечения нет. А гроб-то ведь, все равно, понадобится. Теперь ли, тогда ли...

— И вы способны для живого отца купить гроб?

— Да, ведь, я старику не покажу его... Спрячу пока в чулан — пусть стоит. А тогда, когда начнется суматоха...

— Вы, черт знает, что говорите! «Пока»... Прощайте!

Я сухо пожал руку удивленному, не понимавшему меня Чудаку и, расстроенный, убежал...

* * *

Я не был свидетелем третьего поступка Чудака — я слышал все происшедшее со слов других.

Однажды в одном из отелей Швейцарии, Чудак, в самый день своего отъезда в Россию, познакомился с семьей петербургского чиновника. Дочь чиновника, двадцатилетняя Ирина, чрезвычайно ему понравилась. После обеда Ирина в сопровождении Чудака спустилась к озеру, и там между ними произошел следующий разговор:

— Как жаль, что мы познакомились только сегодня, именно, в тот день, когда мне нужно уезжать.

— Да... Жалко.

— Вы мне очень нравитесь.

— Merci.

— Слушайте, знаете что? (Чудак вынул часы). До отъезда мне осталось полтора часа... За это время, конечно, ничего не успеешь... Но если вы умная девушка — вы должны понять меня. Я вам не противен, и если бы нам пожить бок о бок, так — месяц или полтора, вы могли бы влюбиться в меня и согласиться выйти за меня замуж. Но — повторяю — этого времени у нас нет, а я не прочь жениться на вас. Я знаю, конечно, что нужно делать все постепенно: сначала взгляды, потом легкое пожатие руки, мимолетный вздох, поцелуй после недолгой борьбы и потом — предложение руки и сердца. Кладем на пожатие руки две недели, на вздох — две недели, и на поцелуй — неделю. Итого — больше месяца. Предстоит трудная задача — проделать все это в 1½ часа... Вдумайтесь — если вы меня поняли — мы, по приезде в Россию, можем быть счастливы...

— Вы сумасшедший! Нас ведь все засмеют! Никогда я не слыхивала ничего подобного...

— Почему? Сделай я это самое предложение полтора месяца спустя, вы бы не удивились, а тут отказываетесь. А что особенного могло случиться за эти полтора месяца, так называемого «ухаживания»? Несколько букетов цветов, билетов в театр, десяток коробок конфет?.. Ну, если вы так привержены обычаю, традиции — извольте: я могу еще сейчас успеть прислать вам тридцать-сорок букетов, пуда полтора конфет и целую книжку билетов в театр на сегодняшнее представление «Норы». Ведь это все равно, в сущности... Не правда ли?

— Вы... или сумасшедший, или... нахал! — сердито крикнула девушка, и, вырвав руку, ушла одна, оставив позади себя огорченного Чудака.

Чудак долго и печально, с горькой складкой у углов рта, глядел, как удалялось чудаково счастье, не понявшее его, Чудака...

* * *

Я долго не встречался с Чудаком — несколько месяцев.

Вчера я зашел к нему, по делу немного щекотливому, но удивительно — я совсем не стеснялся этого странного, сухого, рассудительного человека.

— Здравствуйте, Чудак, — сказал я, усмехаясь. — У меня к вам дело. Это немного бестактно: столько времени не видеться и прийти теперь только по делу...

— О, ничего. Вероятно, вы были очень заняты и не могли зайти, а теперь время нашлось.

Я бросил на него косой пытливый взгляд — не шутит-ли он?

Нет. Чудак был совершенно серьезен и говорил без иронии.

— Так вот, милый Чудак. Мне нужна дозарезу тысяча рублей.

— Хорошо. У меня есть деньги.

— Вот удача-то! Я вам отдам через три с половиной месяца.

— Постойте, — сказал Чудак, призадумавшись, и, как будто, что-то высчитывая. — Вы говорите — через три с половиной месяца? Так ничего не выйдет: или отдайте через два с половиной месяца, или уж совсем не отдавайте.

Я изумленно посмотрел на него.

— Я вас не понимаю...

— Ах, Господи, — сказал он с легким нетерпением, глядя в потолок. — Расчет очень простой: через 2½ месяца я смогу получить долг, а через 3½ месяца не могу.

— Уезжаете?

— Не совсем. Просто у меня скоротечная чахотка, и доктора сказали, что я проживу самое большее три месяца.

Я вскочил с места, а Чудак похлопал меня по плечу и сказал:

— Но, если бы я, в крайнем случае, протянул еще недельку сверх срока — не хлопочите. У меня, ведь, наследников нет, а с гробовщиком мы уже сделались... Помните, тогда — заодно с отцом.

СТРАШНАЯ СЕКТА

— Пустите меня! — кричал жалобно Цацкин, упираясь. — Что это за в самом деле за такое?

— Иди, иди, чертова голова! Вот господин околоточный тебе покажет...

Человек, тащивший Цацкина, ступал неуверенно, пошатывался и изредка икал.

— Что такое? — спросил околоточный, выходя в пустую комнату, в которой происходила борьба Цацкина с конвоиром. — Кто такие?

— А-а... г-с-ин ок-л-точный! Здраccc... Торговец сс... скобенных товаров Терентий Чугунов.

— Хорошо, хорошо... А это кто?

— Это?

Чугунов наклонился к уху околоточного и с застывшим от ужаса лицом прохрипел:

— Ритуальный убийца!

— Кого же он хотел убить?

— Г-с-ин ок-л-точный — меня! Меня хотел убить, пр-клятый хасид.

— Господин околоточный! — жалобно вскричал Цацкин. — Он же идиот! На что мине ему убивать? Он же еле ногами ворочает!

— М-лчи, убийца! Г-с-ин ок-л-точный! Вот... вы, господа, рассудите. Вот вас тут двое околоточных...

— Каких двое! Я один.

— Ну, один. Харр-шо. Допустим. Но вы мне скажите: допускается употребление евреями христианской крови?.. Ась? Есть разрешение от начальства?

— Ну, конечно... Какое же начальство разрешит это?

— Ага! Видишь, жидюга. А ты что хотел сделать?

— А что я хотел?

— Что? Хотел ты христианскую кровь употребить или нет... Хотел?

— Ви же, господин Чугунов, совсем дурак. Господин околоточный! Позвольте мне...

— Помолчите! Что вы расскажете мне, Чугунов?..

— Хор-ршо-с! Рассудим по справедливости: пусть один околоточный из вас допросит меня, а другой его.

— Какой другой околоточный? Я здесь один.

— Ага... Один? Допустим!. Ну-с, так я вам скажу: этот хасид уже третий день заманивал меня в свою лавочку. Спрашивается — с какой целью?

— С какой же целью?

— Убить! Они, ваше благородие, кровь христианских детей в мацу кладут.

— Так зачем же он вас хотел убить?

Торговец Чугунов покачнулся, оперся о стену и горько усмехнулся.

— Зачем... Даже и очень странный вопрос. Говорят же вам, что христианскую кровь в мацу, черти, льют.

— Послушайте... Вы рассказываете ерунду. Сами же говорите, что им нужна детская кровь, а потом утверждаете, что они хотели убить вас. Хорошее дитя! Таким дитем можно сваи заколачивать.

— Па-азвольте-с! Какая им разница, ежели кровь, скажем, будет уже выпущена: нешто разберешь по ей, взрослая это кровь или махонькая. Все-дно, слопают.

— Ваше благородие! Что вы его слушаете, когда он даже не может стоять...

— Молчи, хассид! Г-с-дин ак-л-точный! Вы должны меня выслушать... Так же нельзя. Что же это такое, — убивают среди бела дня. Заманивают и убивают. Вы, может, думаете, что мне приятно попасть в мацу, чтобы всякий жиденок меня лопал? Желаю я этого?

Он треснул себя кулаком в грудь и гаркнул:

— Не желаю!

— Расскажите толком... У вас есть какие-нибудь улики?

— Улики? Есть. Он меня, ваше благородие, схватимши за рукав, два дня тащил в свою лавку. Я, говорю, не желаю. Зайдите. Не желаю. Зайдите, вы только инструмент посмотрите. Какой такой инструмент? Не желаю! А нынче он меня затащил. Как посмотрел я, что у него делается — так сердце у меня и упало! Ну, думаю — конец!

— Что же вы увидели?

— Что? Черт его знает, что, вот, что. На столе маца лежит черная-пречерная, круглая, а посередке кровью вымазана...

Цацкин всплеснул руками и завопил:

— Господин околот...

— Помолчите! А ваши слова я запишу. Дело это не шуточное.

— Видали вы? — скорбно сказал Цацкин. — Теперь они будут портить бумагу.

— Что вы еще видели?

Чугунов наклонился к околоточному и с дрожью в голосе прошептал:

— Трубку!

— Какую?

— Для стока крови. Когда делается рана, то через эту трубку тикет кровь.

— Трубку? Запишем трубку.

— Господин окол...

— Молчите! Я вас после спрошу... Больше вы ничего не заметили, господин Чугунов?

— Заметил, — сказал Чугунов, с ужасом глядя на Цацкина.

— Что же вы заметили?

— То самое, о чем в газетах писали. Когда оны убивают.

— Ну?

— Иголочки такие.

— Какие иголочки?

— А вот — махонькие. Штоб кровь текла бойчей, так они натычут эти иголочки... Черти вы, черти! Нету на вас пропаду. За что христианские душеньки губите?

Чугунов вытер кулаком слезу.

— И вы видели такие иголки?

— Видел! Штук сто видел, ваше благородие.

— Гм... Ну, запишем пятьдесят. Больше ничего?

— Ничего? А то, что он меня три дня в лавку к себе заманивал — это ничего?

— Господин околот...

— Молчите! Будете говорить, когда вас спросят... Итак, значит, Терентий Чугунов доносит на вас, что вы занимаетесь ритуальными убийствами и что у вас есть для этого все приспособления. Ну, что вы на это скажете?

Околоточный опустился на стул и сладко зажмурился: ему ярко вырисовывались три вещи: чин пристава, орден и еще кое-что, от чего так приятно оттопыривается мундир на груди.

— Ну, что вы скажете?

— Ой, Господи! — сказал иронически, пожимая плечами, Цацкин. — Хорошая наша страна, если тут нельзя даже заниматься продажей подержанных граммофонов в рассрочку!.. ....

....

ДЕШЁВАЯ ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА “САТИРИКОНА” ВЫПУСК 50 (1912)

круги по воде

ЧТО МНЕ НУЖНО

I

Надгробный памятник напоминает мне пресс-папье на столе делового человека. Такое пресс-папье служит для удерживания бумаг на одном месте. Мне кажется, что и первоначальная идея надгробного памятника заключалась в том, чтобы хорошенько придавить сверху беззащитного покойника и тем лишить его возможности выползать иногда из могилы, беспокоя близких друзей своими необоснованными визитами.

Поэтому, вероятно, постановка над трупом предохранительного пресс-папье — всегда дело рук близких друзей.

Я противник надгробных памятников, но если один из них когда-нибудь по настоянию моих друзей придавит меня — я не хотел бы, чтобы на нем красовались какие-либо пышные надписи, вроде: «Он умер, но он живет в сердцах», «Хватит ли океана слез, чтобы оплакать тебя?», «Бодрствуй там!», «Жил героем, умер мучеником»...

Я не хочу таких надписей.

Пусть на моем памятнике высекут четыре слова:

«Здесь лежит деликатный человек».

* * *

Злое чувство к той женщине, которую я любил, зародилось во мне таким образом: мы сидели с ней в гостиной, она рисовала карандашом в альбоме домик, в трубу которого кто-то, вероятно, с целью откупорить это странное здание, ввинтил штопор. На мой рассеянный вопрос о цели штопо-

ра художница ответила «дым» и немедленно пририсовала к домику поставленную на земле гребенку зубьями вверх.

Я сидел и думал: завтра нужно идти в театр, а моя горничная едва ли догадалась отдать в стирку белый жилет.

— О чем вы думаете? — спросила, глядя вдаль загадочным взором, хозяйка.

— Я? Так, знаете... Взгрустнулось что-то.

— Да... Я в последнее время замечаю, что вам как-то не по себе.

Это было верно. Третьего дня меня весь вечер терзало сомнение — запер ли я на ключ входную дверь моей квартиры, а вчера я получил письмо от отца с кратким уведомлением, что «такие ослы, как я, не могут рассчитывать на получение от него денежных сумм».

— Что же с вами такое?

— Так, знаете... Есть вещи, в которых не признаешься и близкому другу.

— Вы, может быть, влюблены?

— Ох, не будем об этом говорить...

— Да? По глазам вижу, угадала. А о н а... Отвечает она вам тем же?

— Не знаю... — рассеянно вздохнул я.

— Отчего же вы ее не спросите?

— Кого?

— Да эту женщину.

— Какую?

— В которую вы влюблены.

— Почему не спрошу?

— Да.

— Неловко...

Она нервно отвернулась от меня и взялась за карандаш, а я погрузился в размышления: если жилет был надет один раз — может он считаться свежим или нет?

Сзади шею мою обвили две ласковые теплые руки, и дрожащий голос хозяйки прошептал:

— Если ты, дурачок, не решаешься ее спросить, она тебе сама скажет: «Люблю!»

Первым моим побуждением было — подавить крик удивления и испуга... Я встал с кресла, обнял талию хозяйки и вежливо вскричал:

— Милая! Какое счастье!.. Наконец-то...

«Ничего, — подумал я, — теперь не люблю — после полюблю. Как говорится, стерпится-слюбится. Она, в сущности, хорошенькая».

Со своей стороны она тоже взяла мою голову и крепко прижала к своей груди, на которой красовалась брошка — выложенное рубинами ее имя «Наташа». Рубины впились в мою щеку и выдавили на ней странное слово «ашатан».

«Ну, — подумал я, — кончено! На мне оттиснут даже ее торговый знак, ее фабричная марка. Я принадлежу ей — это ясно».

II

Недавно Наташа сказала мне:

— А сегодня ко мне заезжал офицер Каракалов, мой старый знакомый.

— Ну, — сказал я. — Симпатичный?

— Очень.

— Да... Между офицерами иногда встречаются чрезвычайно симпатичные люди.

Мы помолчали.

— Он, кажется, до сих пор влюблен в меня.

— Да? Ну а ты что же?

— Я к нему раньше тоже была неравнодушна. Он такой жгучий брюнет.

— Вот как, — рассеянно сказал я. — Иногда, действительно, эти брюнеты бывают... очень хорошие. Ты скоро начнешь одеваться? Через час уже начало концерта.

Она заплакала.

— Что ты? Милая! Что с тобой?..

— Ты меня не любишь... Другой бы уж давно приревновал, сцену устроил, а ты, как колода, все выслушал... Сидишь, мямлишь... Нет, ты меня... не любишь!

— Честное слово, люблю! — сконфуженно возразил я. — Чего там, в самом деле. Право же, люблю.

— Человек... который... любит... Он слышать равнодушно не может... если его любовница... обратила внимание на другого мужчину...

— Милая! Да мне тяжело и было. Ей-Богу... Я только молчал... А на самом деле мне было чрезвычайно тяжело.

Когда мы ехали в концерт, я был задумчив.

Раздеваясь у вешалки, я обратил внимание на легкий поклон, сделанный Наташей какому-то рыжеусому толстяку.

— Кто это? — спросил я.

— Это наш домовладелец. Я у него снимаю квартиру.

— Сударыня, — угрюмо сказал я. — Чтобы этого больше не было!

Она удивилась.

— Чего-о?

— Чего? У, подлая тварь! Я видел, как ты на него посмотрела... Это, наверное, твой любовник!

— Да нет же! Дорогой мой... Я этого толстяка едва знаю. Мы с ним раза два всего и беседовали по поводу ремонта.

— Ремонта? У-у змея? Ремонта? Я бы тебя задушил своими руками. Мне говоришь, что любишь только меня, а в то же время...

Ее глаза засияли восторгом, и лицо просветлело.

— Милый мой, сокровище! Ты меня ревнуешь? Значит, любишь?..

— Я вас теперь ненавижу. А этому субъекту, если я его встречу, я дам такую пощечину, что он узнает, где раки зимуют. Я вам покажу себя.

Отделавшись от этой обязанности, я взял Наташу под руку, и мы вошли в зал.

Не успели мы сесть, как я стал выказывать все признаки беспокойства: вертел головой, ерзал на месте и злобно шипел.

— Что с тобой, дружочек?

— Я этого не допущу-с! Вот тот молодец в смокинге очень внимательно на тебя посматривает.

— Ну, Бог с ним! Какое нам до него дело...

— Да-с? «Бог с ним?» Усыпить мою бдительность хотите? Успокоить дурака, а потом за его спиной надувать его. Благодарю вас. Я не желаю носить этих украшений, которые...

— Но уверяю тебя, милый, что я даже не знаю, о ком ты говоришь.

Я саркастически засмеялся.

— Не знаешь? А сама уже, наверное, ему записочку приготовила.

— Какую записочку, что ты, мое солнце! На, посмотри, у меня руки пустые...

— Ты ее в чулок спрятала!

— Да когда бы я ее написала?

— Когда с тебя снимали ротонду. Тебе это даром не пройдет!

— Милый! Милый!

И опять лицо ее сияло гордостью и восторгом.

III

...Мы гуляли по парку. Наташа бросила на меня косой взгляд и сказала с деланным равнодушием:

— А я сегодня утром по Набережной каталась.

— Одна?

— Не одна.

— А с кем?

— Да зачем тебе это?

— Отвечай! — скучающим голосом крикнул я. — Я хочу это знать!

— Не скажу, — засмеялась Наташа. — Ты разозлишься.

— Ах, так? — вскричал я, скрежеща зубами. — У-у, гадина! Так я знаю: ты каталась с новым любовником.

Скрытая усмешка промелькнула в Наташиных глазах.

— Ну уж, ты скажешь тоже — любовник. Если мы с ним, с этим художником, несколько раз поцеловались...

— А-а! — взревел я, раскатами громогласного вопля будя свое равнодушие и врожденную кротость. — Ты осмелилась? Негодная! Хорошо же!.. Если я еще раз увижу тебя не одну — я знаю, что сделаю!

— А что, что, что? — дрожа от лихорадочного любопытства, крикнула Наташа.

— Я сейчас же повернусь и уйду от тебя. Больше ты меня не увидишь...

Наташа опустилась на скамью и заплакала.

— Голубка моя! Наташа?.. Что с тобой? Почему?

— Ты... меня... не любишь, — заливаясь слезами, прошептала Наташа. — Другой за такую ужасную вещь избил бы меня, поколотил, а ты покричал, покричал, да и успокоился...

— Дорогая моя! Как же так можно бить женщину?

— Можно! Можно! Можно! Есть случаи, когда любящий человек себя не помнит.

Я пожалел, что в этот момент не было такого случая, который лишил бы меня памяти и рассудка...

— Конечно, — колеблясь, возразил я, — бывают и у меня такие случаи, когда я себя не помню, но дело в том, что теперь я сразу догадался...

— О чем? — улыбаясь сквозь слезы, спросила она.

— Что история с художником выдумана тобой, что ты просто хочешь меня подразнить.

— Нет, не выдумана. Вот каталась с ним — и каталась. Целовались — и целовались!

— А-а, — бешено вскричал я, хватая ее за руку с таким расчетом, чтобы не сделать синяка. — Это правда?! Так вот же тебе!

Я осторожно схватил ее за горло и, выбрав место, где трава росла гуще, бросил ее на землю.

Лежа на боку, она смотрела на меня взглядом, в котором сквозь слезы светилась затаенная радость.

— Ты... меня... бьешь?

— Молчи, жалкая распутница! Или я задушу тебя!!

Я опустился около нее на колени и, обняв ее шею пальцами, слегка сжал их.

«Надо бы ударить ее, — подумал я, — но в какое место?»

Вся она казалась такой нежной, хрупкой, что даже легкий удар мог причинить ей серьезный ущерб.

— Вот тебе! Вот, змея подколодная!

Один удар пришелся ей по руке, другой по траве......

....

Наташа сидела на земле и плакала радостными слезами.

— Ты меня... серьезно... поколотил?

— Конечно, серьезно. Я чуть не убил тебя.

Она встала, оправила платье и сказала с хитрой усмешкой:

— Ты ничего не будешь иметь против, если ко мне сегодня вечером приедет Каракалов?

Я ленивым движением схватил ее за руку, бросил на землю и с искусством опытного оператора ударил два раза по спине и раз по щеке.

— Чуть не убил тебя. Ну, вставай. Пойдем домой — делается сыро.

* * *

В последнее время у нас с Наташей происходят страшные сцены, что иногда вызывает даже вмешательство соседей.

Мы возвращаемся из театра или с прогулки; я, не успев раздеться, бросаю Наташу на ковер, душу ее подушкой или колочу из всей силы по спине с таким расчетом, чтобы не переломать ей позвонков. Она кричит, молит о пощаде, клянется, что она не виновата, и на этот шум сбегаются соседи.

— С ума вы сошли, — говорят они в ужасе. — Вы не интеллигентный человек, а бешеный зверь.

* * *

Так и будет стоять на памятнике:

«Здесь лежит деликатный человек».

ДЕТВОРА

Существует такая рубрика шуток и острот, которая занимает очень видное место на страницах юмористических журналов, — рубрика, без которой не обходится ни один самый маленький юмористический отдел в газете.

Рубрика эта — «Наши дети».

Соль острот «наши дети» всегда в том, что вот, дескать, какие ужасные пошли нынче дети, как мир изменился и как ребята делаются постепенно невыносимыми, ставя своих родителей и знакомых в ужасное положение.

Обыкновенно остроты «наши дети» фабрикуются по одному и тому же методу:

— Бабушка, ты видела Лысую гору?

— Нет, милый.

— А как же папа говорил вчера, ты сущая ведьма?

Или:

— Володя, поцелуй маму, — говорит папа. — Поблагодари ее за обед.

— А почему, — говорит Володя, — вчера дядя Гриша целовал в будуаре маму перед обедом?

Или совсем просто:

— Дядя, ты лысый дурак?

— Что ты, Лизочка!

— Ну да, мама. Ты же сама вчера сказала папе, что дядя — лысый дурак.

Бывают сюжеты настолько затасканные, что они уже перестают быть затасканными, перестают быть «дурным тоном литературы». Таков сюжет «наши дети».

Поэтому я и хочу рассказать сейчас историю о «наших детях».

От праздничных расходов, от покупок разных гусей, сапог, сардин, нового самовара, икры и браслетки для жены у чиновника Плешихина осталось немного денег.

Он остановился у витрины игрушечного магазина и, разглядывая игрушки, подумал:

«Куплю-ка я что-нибудь особенное своему Ваньке. Этакое что-нибудь с заводом и пружиной!»

Зашел в магазин.

— Дайте что-нибудь этакое для мальчишки восьми–девяти лет!

Когда ему показали несколько игрушек, он пришел в восторг от искусно сделанного жокея на собаке: собака перебирала ногами, а жокей качался взад и вперед и натягивал вожжи, как живой. Долго смотрел на него Плешихин, смеялся, удивлялся и просил завести снова и снова.

Возвращаясь, ног под собой не чувствовал от радости, что напал на такую прекрасную вещь.

Дома, раздевшись и проходя мимо детской, услышал голоса. Приостановился...

— О чем они там совещаются? Мечтают, наверное, ангелочки, о сюрпризах, гадают, кому какие достанутся подарки... Обуреваемы любопытством — будет ли елка... О, золотое детство!

Разговаривали трое: Ванька, Вова и Лидочка.

— Я все-таки, — говорил Ванька, — стою за то, чтобы их не огорчать. Елку хотят устроить? Пусть! Картонажами ее увешать хотят — пусть забавляются. Но я думаю, что с нашей стороны требуется все-таки самая простая деликатность: мы должны сделать вид, что нам это нравится, что нам весело, что мы в восторге. Ну... можно даже попрыгать вокруг елки и съесть пару леденцов.

— А по-моему, просто, — сказал прямолинейный Вова, — нужно выразить настоящее отношение к этой пошлейшей елке и ко всему тому, что отдает сюсюканьем и благоглупостями наших родителей. К чему это? Раз это тоска...

— Милый мой! Ты забываешь о традиции. Тебе-то легко сказать, а отец, может быть, из-за этого целую ночь спать

не будет, он с детства привык к этому, без этого ему Рождество не в Рождество. Зачем же без толку огорчать старика...

— И смешно, и противно, — усмехнулся Вова, — как это они нынче устраивали елку: заперлись в гостиной, клеют какие-то картонажи, фонарики. Зачем? Что такое! Когда я нарочно спросил, что там делается, тетя Нина ответила: «Там маме шьют новое платье!..» Секрет Полишинеля!..

Все засмеялись.

— Братцы! — умоляюще сказал добросердечный Ванька. — Во всяком случае, ради Бога, не показывайте вида. Вы смотрите-ка, как я себя буду вести — без неумеренных восторгов, без переигрывания, но просто сделаю вид, что я умилен, что у меня блестят глазки и сердце бьется от восторга. Сделайте это и вы: порадуем стариков.

Плешихин открыл дверь и вошел в детскую, сделав вид, что он ничего не слышал.

— Здравствуйте, детки! Ваня, погляди-ка, какой я тебе подарочек принес! С ума сойти можно!

Он развернул бумагу и пустил в ход жокея верхом на собаке.

— Очень мило! — сказал Ваня, захлопав в ладоши. — Как живой! Спасибо, папочка.

— Тебе это нравится?

— Конечно! Почему же бы этой игрушке мне не нравиться? Сработана на диво, в замысле и механике много остроумия, выдумки. Очень, очень мило.

— Ванечка!!..

— Что такое?

— Милый мой! Ну, я тебя люблю, — ну, будь же и ты со мной откровенен... Скажи мне, как ты находишь эту игрушку и почему у тебя такой странный тон?

Ванька смущенно опустил голову.

— Видишь ли, папа... Если ты позволишь мне быть откровенным, я должен сказать тебе: ты совершенно не знаешь психологии ребенка, его вкусов и влечений (о, конечно, я не о себе говорю и не о Вове — о присутствующих не говорят). По-моему, ребенку нужна игрушка примитивная, какой-нибудь обрубок или тряпичная кукла, без носа и без глаз, потому что ребенок большой фантазер и любит иметь работу для своей фантазии, наделяя куклу всеми качествами, которые ему придут в голову; а там, где за него все

уже представлено мастером, договорено механиком, — там уму его и фантазии работать не над чем. Взрослые все время упускают это из виду и, даря детям игрушки, восхищаются ими больше сами, потому что фантазия их суше, изощреннее и может питаться только чем-то, доходящим до полной иллюзии природы, мастерской подделки под эту природу.

Понурив голову, молча, слушал сына чиновник Плешихин.

— Так... Та-ак! И елка, значит, как ты говорил давеча, тоже традиция, которая нужнее взрослым, чем ребятам?

— Ах, ты слышал?.. Ну, что же делать?.. Во всяком случае, мы настолько деликатны, что ни за что не дали бы вам почувствовать той пошлой фальши и того вашего смешного положения, которые для постороннего ума так заметны...

Чиновник Плешихин прошелся по комнате раза три, задумавшись.

Потом круто повернулся к сыну и сказал:

— Раздевайся! Сейчас сечь тебя буду.

На губах Ваньки промелькнула страдальческая гримаса.

— Пожалуйста! На твоей стороне сила — я знаю! И я понимаю, что то, что ты хочешь сделать, — нужнее и важнее не для меня, а, главным образом, для тебя. Не буду, конечно, говорить о дикости, о некультурности и скудности такого аргумента при споре, как сечение, драка... Это общее место. И если хочешь — я даже тебя понимаю и оправдываю... Ты устал, заработался, измотался, истратился, у тебя настроение подавленное, сердитое, скверное... Нужно на ком-нибудь сорвать злость — на мне или на другом — все равно! Ну что ж, раз мне выпало на долю стать объектом твоего дурного настроения — я покоряюсь и, добавлю, даже не сержусь. «Понять, — сказал философ, — значит простить».

Старик Плешихин неожиданно вскочил со стула, махнул рукой, снял пиджак, жилет и лег на ковер.

— Что с тобой, папа? Что ты делаешь?

— Секи ты меня; что уж там! — сказал чиновник Плешихин и тихо заплакал.

Во имя правды, во имя логики, во имя любви к детям автор принужден заявить, что все рассказанное — ни более ни менее как сонное видение чиновника Плешихина...

Заснул чиновник — и пригрезилось.

И однако, сердце сжимается, когда подумаешь, что дети наших детей, шагая в уровень с веком, уже будут такими, должны быть такими — как умные детишки отсталого чиновника...

Пошли, Господь, всем нам смерть за пять минут до этого.

РОМАН ДВУХ ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

На свете можно встретить много несообразностей, но одна из величайших несообразностей — это способ писателей всего мира сочинять романы.

Самые знаменитые романисты не могли уберечься от того, чтобы не попасть впросак самым позорным образом.

Иной такой господинчик сидит-сидит, пишет-пишет, и, наконец, вздохнув с облегчением, выводит крупными буквами:

— Эпилог.

Знаете ли, чем он заканчивает роман?

«Наконец-то, после долгих несчастий и злоключений, эта влюбленная парочка соединилась. Закончим же наш роман немногими словами: свадьба происходила в скромной деревенской церковке; венчал старый священник с дребезжащим голосом — после чего молодожены уехали за границу».

«Закончим же наш роман»... О, Боже ты мой! Да ведь с этого начинать роман нужно.

Скромная церковка и дребезжащий священник — это пролог, а не эпилог.

Подумаешь, большая важность, что девушка до свадьбы претерпела много злоключений (корыстолюбивый опекун заточил ее в свой мрачный дом на краю города, откуда отважный жених выкрал заключенную и, переодев в мужское платье, увез к своему другу, жена которого, будучи тайно влюблена в отважного молодого человека, пыталась отравить невестку, но по ошибке яд выпил муж и т.д.). Это не роман. Настоящий роман всегда должен начаться после свадьбы.

Когда я захлопывал книгу, дойдя до заключительного венчанья в деревенской церковке при помощи дребезжащего священника — тут-то моя голова и начинала работать.

Как они поехали за границу? Что с ними было через год? Не было ли так, что отважный молодой человек, вступив во второй год супружества, таскал по кабинету за волосы

предмет своих былых стремлений, а она, бедняжка, уже два раза навещала квартиру молодого графа, прожигателя жизни, с которым познакомилась тайком от мужа...

Может быть, через три месяца после свадьбы он говорил с еле скрываемым отвращением:

— Послушай, если ты будешь целовать в морду свою паршивую собачонку, я вышвырну ее за окно.

— Да? А то, что ты по целым дням сосешь свои зловонные сигары — это ничего? Я думала, что люблю человека, а не дымовую трубу!

— Сигара не собака — от нее не заразишься какой-нибудь накожной болезнью.

— А зато от моей собаки не идет дым и не отравляет моих легких, которые и так, кажется, не особенно крепки.

— Подумаешь, страдалица какая! Умирающая Травиата.

— А ты дымишь и остришь одинаково — как самоварная труба... и т.д.

Наивные романисты забывают, что они описывают жизнь своих героев только на протяжении двух — много трех — лет, — именно, те годы, когда характер еще не сложился.

Характер же не сложился потому, что героям некогда — они, как сумасшедшие, носятся друг за другом на протяжении десятков и сотен страниц.

Три года молодого, доверчивого человека и наивной пылкой влюбленной в мечту дурочки — какой это пустяк в сравнении с долгими годами последующей жизни, десятками лет, громадным необозримым полем...

Пусть брак счастливых любовников — это фундамент их будущей жизни; но надо войти в положение читателя: бредет он по городу, и видит — рабочие в яме возятся, фундамент кладут. Ясно — дом строят. Но что будет в этом доме? Поглазев на работу и отойдя к своим делам, читатель никогда этого не узнает, что это за дом? Касса ссуд, сиропитательный приют, полицейский участок или притон разврата?

Такое большое предисловие мне понадобилось для маленького диалога, который без вышенаписанного, может быть, показался бы читателю чудовищным, невероятным, лживым.

Дело в том, что мне посчастливилось присутствовать при возникновении, развитии и конце романа между двумя моими друзьями — Синицыным и Картошевской — женой одного писателя.

Конечно, другой менее ленивый человек, чем я, сделал бы из нижеприведенного очень недурной толстый роман. А я ограничиваюсь тем, что из этого воображаемого романа выбираю всего несколько фраз, связанных героями моего рассказа на протяжении года.

Может быть, было бы лучше каждый отрывок этого диалога, пометить числом, месяцем и выделить в отдельную главу; но я, по присущей мне безалаберности, сваливаю все в одну кучу, сохранив только хронологическую постепенность.

Вот что слышал я на протяжении года:

—... Нас сейчас познакомили, но я, простите, не расслышала вашей фамилии.

— Синицын, Андрей Николаевич.

— Спасибо. А я Картошевская, Евгения Евгеньевна.

—...Опять я вас встречаю, Евгения Евгеньевна. Здравствуйте! Я вас очень рад видеть.

— Серьезно? Это не фраза? Почему вы меня рады видеть?

— Тот разговор, который мы вели в день первого знакомства, произвел на меня очень сильное впечатление.

— Однако вы со мной тогда спорили. За это вам ничего бы не стоило говорить, ну, да Бог с вами — я тоже очень рада, очень рада видеть вас.

— Очень?

— О-чень!

—...Знаете, что? Вы не примете моих слов в дурную сторону? Который это раз мы сегодня с вами встречаемся?

— Четвертый.

— О, Боже! А я думала, что мы уже давно-давно знакомы... Так вот что: нам лучше не встречаться!

— Но это невозможно! Я никогда не соглашусь на это.

— И тем не менее, это необходимо. Так будет лучше для вас и... для меня!

— Но я сойду с ума! Евгения...

— Тссс! Прощайте. Поцелуйте руку — и конец. Сюда идут. Прощайте.

—...Наконец-то ты пришла!. Разве можно запаздывать на целых восемь минут!

— Но я боялась войти... Мне казалось, что около твоих дверей ходит кто-то похожий на моего мужа.

— Сокровище мое! Снимай скорее шляпу и рассказывай, что делал вчера?

— Были на вечере у Бремерова.

— Кто был из мужчин?

— Кто? Гм... Ха-ха-ха! Ты можешь представить — я ведь не помню! Так это меня интересует, что я даже не запомнила.

— А о ком же ты думала?

— О ко-о-ом? Догадайся.

— Моя бесценная! За... знаешь, когда ты меня целуешь — сердце мое обливается теплой кровью, и я лечу в какую-то глубокую, преглубокую, сладкую пропасть.

— Смотри-ка! Я тебе, кажется, поцеловала руку! Никому из мужчин я этого не могла бы сделать.

— А я... мне хочется сейчас умереть.

— Живи!!!

—... Ну как живешь, мой Андрей Первозванный?

— Был вчера на вечере у Бремерова.

— Кто был из знакомых?

— Кто? Гм... Если не ошибаюсь, Мохначева, Петкевичи...

— Ха-ха-ха!!.. Ох, не могу!

— Что такое?

— Моя радость, ведь Мохначева была у нас, а Петкевичи уже месяц, как за границей.

— Да? Ну, черт с ними. Я, признаться, ходил, как помешанный. Подумай — ты не была у меня целых 26 часов.

—...Милая! Почему это ты вздохнула?

— Ах, знаешь! Я боюсь тебя потерять.

— Почему? Разве я давал повод?

— Нет... но когда ты целовал вчера Мохначевой руку, я чуть не упала в обморок... Что это за дурацкий обычай — целование рук!

— Однако, ведь тебе же целуют руки!

— Да, но это принято.

—... Женя! Ты опять вздыхаешь? Почему?

— Почему? Эта Мохначева... опять...

— Женя, стыдись! Официальный поцелуй руки...

— Я не о поцелуе говорю; но ты вчера с ней говорил минут восемь...

— Ах, но не виноват же я, что она завела длиннейший разговор о своей коллекции вышивок.

— Скажи, у тебя с ней нет... связи?

— Боже... каки-и-е мы глу-у-упенькие...

—... Послушай, Женя! Я должен с тобой серьезно поговорить. Может быть, для тебя это незаметно, но я видел, как ты за за ужином определенно кокетничала с Бремеровым.

— Я? Кокетничала? Ну, знаешь, во всяком случае, я по три раза рук ему при прощаньи не целовала и зацепившуюся за кресло юбку не отцепляла.

— Вероятно, потому, что у него нет юбки.

— Не остри! Шуточкой легко отделаться. Знай, что если ты не оставишь эту тварь...

— Женя!

— Если ты ее не оставишь в покое, я сегодня же поеду кататься с Бремеровым! Слышишь?

— Да? Как это ясно: просто тебе хочется поехать с этим дураком кататься и ты почему-то выискиваешь предлог... Обливаешь грязью безвинную женщину...

— Заступайся, заступайся! Может быть, ты еще прибьешь меня? Конечно, раз она тебе дороже... для тебя — все...

— Куда?!!

— Это не ваше дело!

— Не к нему ли ты сейчас летишь? Условились?

— Вас это совершенно не касается; я женщина свободная...

— А муж?

— Ха-ха! Не будете ли вы теперь защищать его интересы? Знаете — вы комик! Надеюсь, после всего, что вами сказано...

—... А-а! Пришли!

— Женя! За что ты меня мучаешь?

— Я? Вас? За мою-то любовь...

— О, Боже! Значит, ты меня любишь? Я так истосковался по твоим губкам, щечкам... Еще раз! Поцелуй крепче!

— Мой ненаглядный! Я так страдала... Думаю, сидит там у своей Мохначевой.

— Женя! Опять? Я же ничего не говорю о твоем Бремерове.

— Мой Бремеров? Во всяком случае, он в тысячу раз порядочнее этой развратной бабенки... Симпатичный, воспитанный...

— Ах, так? Почему же ты не пойдешь к нему, если он такой гениальный... Мохначева, конечно, не блещет такими достоинствами, но...

— «Но, но»...?! Если ты так ее восхваляешь, так знай же: Бремер мне вчера присылал цветы! Розы!

— Ну, что ж... Мохначева получит их завтра! И розы и хризантемы...

— Да? Ну, знаешь ли... Едва ли ты достанешь такие хризантемы, какие присылал мне в прошлом году Ростковский...

— Я тебя уже просил этого имени не упоминать!! Я ведь не вспоминаю о Верочке Кребс!

— Верочка Кребс? Да у нее нога величиной с мою шляпу. Ростковский стройный, изящный и иногда посмотрит так, что...

— Да, милая? Так зачем же дело стало? Пиши ему, телеграфируй, чтобы он приехал... Боже! Как я не оценил Катерины Михайловны! Это был ангел...

— Не такой, во всяком случае, как Ростковский...

— И поцелуйся с ним!

— Я уже поцеловалась. Он, вероятно, лучше целуется, чем твоя Катерина Михеевна!

— Михайловна!

— Не прикажешь ли мне помнить имена всех твоих любовниц? Знаешь что? Мне это смертельно надоело...

— Ну, и ладно. Чего же лучше!

— Ах, так? Не будете ли вы добры вернуть мне мои карточки? Они вам теперь ведь не нужны.

— Конечно. Прикажете вам их вернуть или прямо переслать тому счастливцу, который...

— Стыдитесь! Глаша, проводите Андрея Николаевича...

Как приятно глядеть на сверкающий белоснежной скатертью красиво сервированный стол. Цветы в вазах так свежи, закуски так чисто и аккуратно разложены и наполненные вином бутылки так содержательны, имеют такой изящный солидно-опрятный вид. Электрический свет дробится на бокалах и пышно освещает нетронутые салфетки...

Посмотрите на тот же стол, когда гости насытились. — Культурные гости, а кажется, будто по столу прошел от-

ряд печенегов. Тарелки измазаны, скатерть облита соусом и вином. Увядшие цветы роняют лепестки на развороченные, скомканные закуски, и электрические лампы заливают беспощадным светом всю эту мерзость...

Приходят лакеи и — доедают остатки.

Любовь — ау! Где ты?

МОДА

Самым богатым человеком сельца Голяшкина был мужик Пантелей Буржуазов.

Он имел то, чего не имел ни один из прочих граждан сельца — скот.

Правда, весь скот его выражался в одной худощавой курице, но так как этой редкой птицы у других не имелось, то молва единогласно наградила Пантелея Буржуазова именем богатея.

В те сумрачные дни, когда голяшкинцам надоедало глодать вечную кору, сердце их начинало жаждать чего-нибудь высокого, несбыточного, и они серой бесформенной кучей сбивались у порога избы Пантелея Буржуазова — полюбоваться на его курицу.

Пантелей выносил худую испуганную курицу, садился с ней на завалинку и позволял мужикам не только смотреть, но и трогать рукой курицу.

— Ах ты, животная! — умиленно говорил какой-нибудь бобыль Игнашка, гладя шершавой рукой дрожащую курицу. — Гляди, дядя Пантелей, штоб не улетела.

— Долго ли, — поддакивали добродушные мужики.

— Не плодущая она, — вздыхал польщенный втайне Пантелей Буржуазов...

— Не спосылает Господь? — догадывался Игнашка.

— Петушка для ней нету.

Старики, опершись на палки, вспоминали, что у какого-то Андрона Губатого был петух, но этого петуха уже не было. Да и сам Андрон был на том свете, объевшись как-то свыше меры печеным хлебом.

Облизав языком черные, в трещинах губы, Игнашка хрипел:

— Такой бы курице, да вырасти с быка — до чего б! Говядины с нее надрать пудов двадцать... Мясо белое-белое. Сольцей его присолить, да чашку водки перед этим — до чего б!..

Мужики сверкали бледными глазами и, лязгнув зубами, сдержанно смеялись.

Качая головами, говорили:

— Уж этот Игнашка. Уж он такое скажет.

Налюбовавшись на Буржуазову курицу, вздыхали и заботливо говорили:

— Ну, чего там. Неси ее, дядя Пантелей, в избу. Неровен час — остудится.

Так, между едой и развлечениями, мужики сельца Голяшкина и жили, коротая век.

* * *

Странно как-то.

Пока была жива Буржуазова курица, никто из голяшкинцев не чувствовал своей бедности и убожества. Но когда заласканная мужиками курица умерла и разоренный Пантелей съел ее ночью с потрохами и перьями, все почувствовали себя скверно и безотрадно.

— Бедные мы, — говорил Пантелей Буржуазов мужикам, сидя на выгоне.

— Это ты правильно, дядя. В точку. Небогатый мы народ. Одно слово — крестьяне.

Пропившийся писарь, проходя по большой дороге, свернул к мужикам, и так как был от природы бестолков и словоохотлив, то лег рядом, желая после долгого молчания отвести душу.

— Драсте, — сказали мужики и продолжали потом свой тихий, печальный разговор.

Прослушав их, писарь лег на живот и сказал:

— Это, братцы, что. Живете вы тихо, мирно, и земля под вами не трясется. Нет поэтому к вам внимания общественных слоев взаимопомощи, интеллигентного народонаселения столиц и провинциальных мест. А ежели бы земля сотряслась под вами, вроде как бы Мессина, — не было бы вам тогда от публики обидно... Сразу бы вы получили взаимопомощь эмиритальных взносов на предмет благоустройства потрясенного быта...

Писарь вычурным языком рассказал о землетрясении в Мессине и о сочувствии общества к этому бедствию.

Притихшие мужики жадно выслушали его и долго безмолвствовали.

— Привалит же этакое счастье народу, — завистливо сказал Игнашка. — Они, надо быть, теперь не только хлеб, а и крупу получают.

— Какое же счастье, ежели народу гиблого сколько, — возразил писарь.

— Гиблый народ везде есть, — сурово поддержал Игнашку мужик по имени Жердь. — Тоже это понимать надо. Айда по избам, ребятки.

Когда вставали, беспочвенный и вздорный бобыль Игнашка ощупал рукой землю и злобно сказал:

— Крепкая, подлая. Нет того, чтобы сотрястись.

— Крупа хороша вареная, — задумчиво прошептал один мужик.

И пошли.

* * *

— Ежели писарек не врет, — сказал по дороге Игнашка мужику по прозванию Жердь, — то можно бы трясение земли устроить и у нас.

— Болтливый ты человек, Игнашка. Всегда скажешь этакое. Нешто ж такую вещь устроить?

— Эка невидаль!

Восторженный Игнашка уже махал перед мужиками длинными руками, божился и ругался, убеждая устроить землетрясение.

Мужики отнеслись к вздорному предложению скептически, но писарь выслушал Игнашку внимательно.

— А что ж, братцы... Все равно — погибель тут ваша... Можно такую Мессину устроить! Хуже не будет.

— Да как же ты ее повернешь? — недоумевали мужики. — Землю-то...

— Эх, оглобля... Ее и поворачивать не надо. Вы ломайте избы, а я в город побегу телеграмму давать. Дескать, все разрушено, полная катастрофа и крах крестьянского быта. Иди, проверяй после — было или не было. Зато, по крайности, обеспечены будете.

Толковали до вечера.

* * *

Вечером ели кору без всякого удовольствия и охоты и, отравленные сладким ядом писаревой гнусной выдумки, были вялые, молчаливые.

А к ночи пришли к спящему где-то в клети бесприютному писарю и сказали:

— Ты беги, писарек, в город, а мы тут займемся.

Когда снаряженный, из общественных капиталов, в дорогу писарь, охваченный волной общего подъема, вышел из избы, чтобы идти в город, то увидел величественную картину: мужики ломали избы, амбары, разные верхние клетушки, и пыль от этого разгрома высоким столбом поднималась к небу, будто апеллируя к нему, высокому и равнодушному.

* * *

Через день в столичных газетах появилась потрясающая телеграмма:

«Землетрясение. В районе местности села Голяшкина разразилось страшное, небывалое, перед которым бледнеет мессинская катастрофа, землетрясение... От сотрясения земли воды вышли из берегов, затопивши все богатое, зажиточное до катастрофы, село. Постройки обрушились, и часть их бесследно провалилась в расщелину. Масса раненых и пострадавших. Когда их откапывали, то геройскую помощь оказывал писарь Гавриил Семенович Уздечкин, самоотверженно бросавшийся в самые опасные места. Отчаяние беспредельное. Требуется немедленная помощь общественных кругов. Писарь Уздечкин потерял все свое состояние. Деньги и припасы направлять туда-то...»

* * *

Мужики ждали.

ТО, ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ С КАЖДЫМ

Иногда актер, опоздавши на спектакль, летит в театр, суля извозчику облагодетельствовать его на всю жизнь. Иногда человек выйдет из вечного своего состояния меланхолии и апатии, — доберется кое-как до театра, летит сломя го-

лову по лестнице, сбивает с ног пожарного, перепрыгивает через плотника и за семь минут до третьего звонка начинает лихорадочно одеваться.

Долголетняя тренировка удерживает его от крупных промахов и упущений при таком головокружительном одеванье; но когда он напяливает на голову светлый или темный парик, на затылке остается тоненькая предательская полоска волос, представляющих полную собственность обладателя головы... Обыкновенно цвет этой полоски прямо противоположен цвету парика, а несчастный актер и не замечает всего ужаса своего положения.

— Пустяки! — возразит большинство актеров.

Пустяки?.. Театр — паутина, сотканная из неисчислимого количества мелких деталей, и если упустить даже такую деталь, как полоска волос шириною в полпальца, вот что может произойти...

* * *

Шел «Ревизор».

Актер, которому надлежало играть Хлестакова, проделал все то, что перечислялось в начале статьи: опоздал на спектакль, в театр летел, суля извозчику обеспечить его старость, сбил с ног пожарного, перепрыгнул через плотника, оделся в семь минут и напялил парик — именно вышеуказанным способом... И товарищи осматривали его перед выходом и хвалили его грим, и никто не заметил затылка...

В четырнадцатом ряду сидел приказчик галантерейного магазина и рядом с ним — дама его сердца, ради которой он пожертвовал бы с радостью не только жизнью, но и новым сиреневым галстуком, кокетливо украшавшим приказчичью грудь.

Хлестаков вошел элегантный, красивый, вручил Осипу цилиндр и тросточку и затем стал насвистывать — сначала «Не шей, ты, мне, матушка», а потом — ни то ни се... Все было, как следует.

Обладатель сиреневого галстука нагнулся к своей даме и сказал:

— Простой обман зрения. Они, то есть господин Хлестаков, — в парике! На затылке каемочка из собственного волосу!

Старый геморроидальный чиновник обернулся и сердито прошипел:

— Прошу не разговаривать! Только слушать мешаете...

Приказчик хотел было пропустить эти слова мимо ушей, но его дама фыркнула, и истерзанное сердце приказчика сжалось... Ему показалось, что его избранница смеется над ним.

Чтобы рассеять создавшееся неприятное положение, приказчик наклонился к чиновнику и обиженно сказал:

— А вы кто тут такое, что командоваете?

Чиновник молча презрительно пожал плечами, и приказчику это показалось еще обиднее.

— Тоже, командир выискался! «Прошу не разговаривать»... Тоже, подумаешь... Крыса ободранная!

Девица захохотала.

Чиновник злобно обернулся и прошипел:

— Если вы не замолчите, я попрошу капельдинера вывести вас.

— Ме-ня? Ах ты, кочерга!!

В соседнем ряду обернулись и нервно зашикали:

— Тссс!.. Чего вы разговариваете! А еще старая женщина!

Упрек этот относился к старушке, которая безмятежно сидела и смотрела на сцену, спрятав голову в плечи.

— Я разговариваю?! Да ты что — очумел, батюшка?

— Прошу без возражений!

— Господи! — простонал кто-то сзади. — Этой публике не в театре быть, а в балагане!!

— Шшштос?! Сами вы балаганный плясун! Как вы смеете выражаться. Капельдинер!

— Да это не он! Это вон тот, в сиреневом галстуке. Сидит с какой-то полудевицей и думает, что...

— Это я-то полудевица? Да я тебя за такие слова...

— Тише!

— Тише! — заорал с галереи чей-то тяжелый бас. — Пррошу соблюдать тишину! Что за кррики?!!

Поднялся невообразимый шум. Горячие споры возгорелись в разных углах театра. Всякий, дрожа от негодования, упрекал соседа в неумении держать себя, а сосед выражал пожелание, чтобы у обвинителя за такие слова отсох язык не позже завтрашнего дня.

Актер, игравший Осипа, сначала растерялся, потом разозлился, потом подошел к рампе и скорбно сказал:

— Господа! Мне первый раз приходится играть перед дикарями, которые...

— Что он сказал?! Вон его! Долой!

— Давайте занавес!

— Авторрра!!

— Деньги обратно!!

— Улю-лю!!..

Тихо опустился занавес... У кассы толпилась публика и настойчиво требовала возврата денег за билеты...

* * *

Бледный, с трясущимися губами, режиссер подбежал к Хлестакову, который нервно шагал по сцене, и спросил его:

— С чего это они взбесились?

— А черт их знает! — растерянно развел руками Хлестаков. — Я пойду переодеваться...

И одним движением руки он сдернул с головы парик... И тоненькая полоска собственных волос слилась с остальной головой, — она выглядела так невинно, будто во всем происшедшем была совершенно ни при чем...

* * *

Скромный автор будет вполне удовлетворен, если рассказанная им история произведет на актеров должное впечатление: если, прочтя ее, они перестанут опаздывать в театр, надевать парики задом наперед и вообще начнут вести добродетельную жизнь, неся высоко святое знамя искусства, то автор большего бы и не хотел...

КАК Я СДЕЛАЛСЯ ЛГУНОМ

I

Всякий, кто знал меня с детства, мог бы подтвердить, что не было мальчика, юноши и мужчины — правдивее меня.

Все, что угодно, но не ложь.

Шутка — да! Мистификация — да! Но ложь, жалкая, отвратительная, извивающаяся, как скверный червяк, — ложь вызывала во мне такое же чувство, какое испыты-

вает непривычный путешественник на корабле, переживая первую качку.

Шутку я любил. Бывало, не было для меня лучшего удовольствия, как ответить на вопрос учителя: «Куда ты, дьяволенок, запропастился на весь вчерашний день?» — «Вчера я был на панихиде по случаю смерти тетки...»

Нужно ли объяснять, что у меня тетка не только не умирала, но даже не рождалась, а вся штука заключалась в том, что мы ходили за город стрелять из монте-кристо галок.

Главный элемент юмора, входящий в каждую шутку — это контраст. В моей шутке с учителем все было — сплошной контраст: вместо одной тетки — несколько галок, вместо панихиды — монте-кристо.

Будучи юношей, я часто подшучивал над знакомыми девушками.

— Поцелуйте меня! — просил я одну из них.

Она усердно целовала меня, а потом, оторвавшись, спрашивала:

— Когда же наша свадьба?

— Свадьба? — усмехаясь, говорил я. — Какая там свадьба, ведь я уже женат.

Нужно ли говорить, что вовсе не был женат, а мои слова были чистейшей мистификацией.

Даже, сделавшись мужчиной, я не потерял своей природной способности — подтрунивать над ближними.

— Поцелуйте же меня, — просил я одну из знакомых девушек, протягивая умоляюще руки.

Она холодно говорила:

— Я с женатыми не целуюсь.

— Милая моя, да разве же я женат?

— Конечно. Об этом все говорят. Жена ваша и ребенок живут в Москве.

— Ха-ха-ха! — заливался я смехом. — Да ведь это моя сестра с ребенком, вдова. Действительно, живет в Москве. И кто это мог выдумать?

Она усердно целовала меня.

Нужно ли говорить, что я был уже женат в это время и даже, более того, — имел ребеночка!

Эти невинные мистификации частенько развлекали меня, спасая, застраховывая, может быть, от худшего, что ложится таким позорным пятном на человеческую душу — от лжи.

II

Недавно мне случилось проезжать в экипаже по Литейному проспекту.

Литейный уже кончился, мы выехали на Невский, с тем расчетом, чтобы, перерезав его, попасть на Владимирский проспект, но в это время наша лошадь, услыхав сбоку рев автомобильного гудка, внезапно остановилась, и автомобиль самым нахальным образом наехал на нас, свалив на бок экипаж, лошадь и сломав одну оглоблю.

Я вывалился на мостовую, как медная пуговица из вывернутого наизнанку кармана мальчишки, а кучер вспорхнул, как ласточка, и опустился прямо на лежащую лошадь.

— Ну, — сказал я ему, вставая, — нечего тут заниматься верховой ездой, слезайте с лошади и ступайте домой.

Около двадцати человек подбежали ко мне, но я облюбовал одного, именно, околоточного и сказал:

— Нельзя ли мне позвать какого-нибудь целого извозчика, какое-нибудь не разрозненное издание. Я бы поехал домой.

— Вы не ушиблись?

— Руку немножко прищемил. Но так как я прищемил ее своим же боком, то, следовательно, сам и виноват.

— Позвольте вашу карточку, — сказал околоточный.

— Я даю карточки только своим близким друзьям, — возразил я. — Конечно, может быть, в будущем...

— Я вас прошу дать мне вашу карточку!..

— Я все хорошие карточки уже роздал; осталась одна, на которой я не особенно похож...

— Я прошу у вас визитную карточку!

Изумлению моему не было пределов.

— Мою... визитную... Фотографическую просят, обыкновенно, когда нравится лицо, а визитную — в том случае, если не нравится поведение. Чем вам не нравится мое поведение? Я ведь не виноват в том, что случилось, — сидя в экипаже, как орех в скорлупе.

— Вы, конечно, не виноваты, но виноват шофер.

— Так вы у него карточку и спросите. Впрочем он тоже не виноват. Я думаю, у него был такой расчет: видя, что моя лошадь преграждает ему путь, он решил рявкнуть так свирепо, чтобы лошадь испугалась и понесла, очистив ему путь.

— Ну?

— Вы ведь знаете, что лошади, испугавшись чего-нибудь, — должны понести; Но, очевидно, моя лошадь не знала этого правила, так как, наоборот, — тут же на месте и застыла. Вот почему автомобиль наехал на нас.

— Расскажите с самого начала.

— Слушаюсь. Вчера за обедом я получаю городскую телеграмму: «Приезжайте поговорить об иллюстрациях в кни...»

— Нет, расскажите, как вы ехали.

— Ехали по Литейному, выехали на Невский; сбоку моторный гудок как зарычит. Лошадь, бежавшая довольно приличной рысью, вдруг стала на месте, очевидно, сговорившись сама с собою раньше, назло мне и кучеру. Шофер не мог сразу остановить мотора и въехал в гостеприимно остановившийся экипаж.

— Так, так. Теперь вашу фамилию сообщите, адрес, род занятий?

Я сказал.

— Ах, так это вы! — обрадовался этот культурный, начитанный человек. — Читал, как же, много читаю. Имею честь... гм! Эй, извозчик! Отвези их, куда они прикажут.

III

После этого случая я прожил спокойно часов пятнадцать — во всяком случае, гораздо менее суток.

Потому что на другой день с утра я закипел в самом ужасном котле.

— Алло! Ты?

— Я. Это ты, Пеликанов? Что тебе?

— Ну, как, голубчик, твое здоровье? Я так беспокоился. Эти ужасные моторы!

— Постой, да ты откуда узнал?

— Сегодня в газетах об этом пишут. Расскажи, как это случилось?

— Да ведь ты читал в газете.

— Нет, ты мне сам расскажи. В газетах, может быть, и приврали.

Я сказал:

— Ехали мы по Литейному. Выехали на Невский; не успели перерезать его и выехать на Владимирский, как сбоку

чей-то мотор ка-ак рявкнет! Моя лошадь вдруг стала, как вкопанная, и мотор, не успев затормозиться, налетел на нас и опрокинул. Я немного ушиб бок — уже прошло, а в экипаже сломана одна оглобля.

— Какой ужас! Ну, до свиданья.

Я отошел от телефона, но сейчас же пришлось вернуться.

— Алло! Это вы?

— Да. Здравствуйте. Что прикажете?

— Вы не в постели? Значит, к счастью, ничего опасного... А я так беспокоилась. Как это случилось?

— В газетах...

— Нет, вы мне сами расскажите. Как это произошло?

Я затаил вздох и сказал ровным голосом:

— Ехали мы на Литейный — Невский — Владимирский. Все проспекты. Невский — сбоку гудок мотора. Испуг и остановка лошади. Въезд мотора в экипаж. Падение на бок экипажа. Мы на земле. Ушиблен бок, сломана оглобля — все уже выздоровело.

— Вот кошмар! Прощайте.

На третий звонок я ответил кратко:

— Путь: Литейный, Невский, Владимирский. Невский — гудок мотора, остановка лошади, падение экипажа, ушиб бока, оглобли. Исправлено.

После четвертого звонка и лаконичного объяснения происшествия: «Убирайся к черту!», я улегся на диван и стал размышлять:

— В сущности, эти добрые люди не виноваты. Они хотят только выразить свое участие ко мне; нужно быть справедливым: конечно, неимоверно скучно повторять одну и ту же историю десять раз, но ведь каждый-то из них слышит ее в первый раз. Нельзя же всякого, кто выразит мне участие — посылать к черту. Не сделать ли так: отпечатать сотню брошюр с подробным описанием и иллюстрациями происшествия и раздать их всем друзьям. Нет, пожалуй, не успею. Пока продержу корректуру, закажу иллюстрации — все уже меня переспросят. Или сделать так: пригласить всех сегодня на чашку чая, да и рассказать сразу, оптом. Тоже неудобно. Явятся не все сразу, а по одному, и каждый, сгорая желанием выразить мне участие, сейчас же начнет расспрашивать о «случае с мотором».

Я чувствовал, что нахожусь в отчаянном положении. Под заголовком «Несчастье с популярным писателем» в газетах было написано совсем не то. Нужно было написать так:

— «Сегодня с популярным писателем случилось страшное несчастье: около двухсот друзей и знакомых обрушились на него с вопросами о пустяковом столкновении экипажа с мотором — и обрушившись, погребли несчастного под своими обломками. Отчаянию несчастных родных нет пределов. Когда же, наконец, наша полиция обратит внимание на так называемых друзей и т.д.»...

Звонок телефона поднял меня с дивана.

— Алло! Вы?

— Я. Хотите узнать что-нибудь о «случае с мотором»? Прочтите газету.

— О, газету! Ведь известно, что газеты всегда перепутают.

— Да? — сказал я, чувствуя неожиданный прилив свирепой радости. — Это верно. Газеты врут. Так слушайте же правду! Я ехал по Литейному, сидя рядом с английским посланником, с которым меня связывает долголетняя дружба. Оглянувшись, он сказал: «Если не ошибаюсь, за нами следят!». «Кто?». «Молодцы из секты тугов-душителей. В бытность мою полковником 10-го Индийского полка сипаев, я немало их перевешал, и вот они теперь»... Он не договорил. Раздался какой-то странный рев, четыре человека выпрыгнули из мотора и, схватившись за нашу коляску, опрокинули ее; но посланник не растерялся! Он выхватил из-за пазухи странный амулет из цельного рубина и протянул им: «Икаруд!» — сказал он по-индийски! И сейчас же — все четверо, с гортанным криком, словно сквозь землю провалились. Будто ничего не было. Только поломанная коляска да лежавшие на земле лошади свидетельствовали о происшедшем.

— Какой ужас! А в газетах совсем не так написано.

— Еще бы!

IV

— Алло! Да, я. О, конечно. Ужасный случай. Если вы читали в газ... Что? От меня хотите слышать? Ладно. Случай, действительно, из ряду вон выходящий?.. Едем мы — вдруг на углу Литейного и Невского, на тротуаре какая-то тень.

Промелькнула, остановилась и припала к земле, тихонько рыча.

— Автомобиль на тротуаре?

— Какой там автомобиль! Это был великолепный экземпляр королевского тигра.

— Послушайте, что вы такое говорите? Тигр... на углу Невского и Литейного...

— Ну, да! Бежавший из цирка. Что же тут особенного? Гигантским прыжком, будто под ним развернулась колоссальная пружина, он бросается с Литейного прямо на нас и ударом могучей лапы сбивает экипаж наземь. Мы — почти погибли! Но... на наше счастье мимо шел стрелок, который метким выстрелом между глаз...

— О, Боже! Да стрелок-то откуда?

— Из цирка же; обыкновенный цирковой стрелок, попадающий во что угодно и как угодно...

— Но в газетах...

— Э, что газеты! Врут газеты.

....

— Кто там еще? Вы? Спасибо, что навестили лично. Такой ужас! Я до сих пор не могу опомниться...

— Ради Бога! Расскажите мне подробно. Газеты, вероятно, дали неполный рассказ... Я горю желанием выслушать от вас.

— Неполный рассказ! Да они все переврали ваши газеты; прежде всего это случилось не на углу Невского и Литейного, а у меня на квартире...

— У вас? В квартире? Экипаж с лошадьми? Автомобиль?

— Да. Представьте себе.

— Послушайте...

— Я, ведь не говорю, что автомобиль большой. Этакий... маленький. Игрушечный.

— А лошади?

— Тоже игрушечные. Дело в том, что я подарил своему сынишке автомобиль. Катаясь на нем по комнате, мальчишка нагрузил его разными вещами и, между прочим, пятью фунтами пороха, который я приготовил для охоты. И что же — разогнавшись, он налетает с размаху на деревянных лошадей, порох взрывается, и все летит к черту — мальчишка, автомобиль, нянька, лошади! Все так исковеркано, что теперь не разберешь, где начинается мальчишка и кончается нянька!

— О, ужас-то! Где же... все это?

— Где? Вымели, выбросили. Не хоронить же эти остатки, если не разберешь — нянькина ли это челюсть или руль автомобиля?!

* * *

Рассказывал я эти истории, нисколько не скучая — до самого вечера.

Вот как я стал лгуном. Сам я им сделался? Нет. Люди сделали.

ДЕШЁВАЯ ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА "САТИРИКОНА" ВЫПУСК 61 (1912)

круги по воде

С КОРНЕМ

I

— Удивительная женщина! — прошептал Туркин. — Я ее иногда даже боюсь.

— Почему боишься?

— Бог ее знает, почему. В ней есть что-то нездешнее.

— Где она?

— Вон, видишь... На диване комочек. В ней есть что-то грешное, экзотическое — это стручковый перец, но формы какой-то странной... необычной.

— Нездешней? — спросил Потылицын.

— Нездешней. Пойдем, я вас познакомлю. Она тобой интересовалась. Спрашивала.

Туркин схватил Потылицына под руку и, лавируя между группами гостей, подтащил его к пестрому комочку, свернувшемуся в углу дивана.

Комочек звякнул, развернулся, и рука, закованная в полсотни колец и десяток браслетов, поднялась, как змея, из целой тучи шелка и кружев.

— Айя! — сказал Туркин. — Я привел тебе моего друга, Потылицына. Ты, Потылицын, не удивляйся, что мы с Айей на «ты», — она всех просит называть ее так. Айя стоит за простоту.

Даже при самом поверхностном взгляде на Айю этого нельзя было сказать: невероятно странную прическу, сооруженную из волос, падавших на глаза, обхватывал золотой обруч, белое лицо и красные губы сверкали в этой чудовищной рамке, как кусок сахара, политый кровью. Нельзя

сказать, чтобы на этой Айе было надето простое человеческое платье: просто она была обшита несколькими кусками газа терракотового цвета и окована с ног до головы золотыми цепочками, привесками и браслетами — браслеты на руках, браслеты на ногах, ожерелье в виде браслета, на шее. А от браслета на руке шли тоненькие цепочки, придерживавшие кольца на пальцах, так что вся рука была скована хрупкими кандалами.

При каждом движении Айя вся тихонько позвякивала и шелестела.

— Знакомьтесь со мной, — сказала Айя. — Вас зовут, я знаю, Потылицын, а меня Айя. Думаю, что через час мы будем на «ты». Так проще.

— Айя... — нерешительно сказал Потылицын. — Айя... А дальше как? По отечеству.

— Никак. Просто Айя.

Айя взяла руку Потылицына, осмотрела ладонь этой руки и уверенно сказала:

— Мы с вами где-то встречались. Вы помните?

— Нет... кажется, не помню. Не встречались.

— Встречались, — уверенно сказала Айя. — В Египте.

— В Египте? Да я там никогда не был.

— О... будто это так важно — не были! Мы с вами все-таки встречались, — капризно протянула Айя. — Не теперь, так раньше.

— Да я и раньше там не был.

— Раньше? Откуда вы знаете, что было раньше... когда не было смокингов и автомобилей. Вы ведь нездешний.

— Да, я сам с юга. Родители мои...

— Вы нездешний! У вас нечеловеческое выражение глаз. Может быть, вы когда-нибудь были ящерицей.

— Может быть, — нерешительно сказал Потылицын. — Мне об этом неизвестно.

— Дайте-ка еще раз вашу руку, — сказала Айя. — У вас на душе есть преступление.

— Что вы! Да я...

— Тссс... Не надо быть таким шумным. Посидим, помолчим.

Эта просьба относилась, очевидно, только к Потылицыну, потому что Айя позвякала с минуту и, усевшись поудобнее, сказала:

— Что бы вы сделали, если бы были королем всего мира?

«Повесил бы тебя», — подумал Потылицын, а вслух сказал:

— Что бы я сделал? Не знаю. Особенного тут ничего не сделаешь.

— А если бы я была королевой, приказала бы уничтожить все часы на земном шаре. Часы — это господа, мы — рабы, и мы стонем под их игом. Тик-так, тик-так! Прислушайтесь — это свист бича.

— Ну, уничтожили бы вы часы, а дни остались бы. День сменяется ночью — те же часы.

— В моем королевстве была бы абсолютная ночь. Мы жили бы под землей и уничтожили бы время. Нет времени — и мы бессмертны. Из всего моего королевства я бы сделала бесконечный темный коридор.

«Пожалуй, сделай тебя королевой, — подумал Потылицын, — ты еще и не такую штуку выкинешь... С тебя станется».

А Айя в это время говорила задумчиво и трогательно:

— Ах, я так понимаю римских цезарей. Ванна из свежей человеческой крови утром — это запас нескольких жизней на целый день! Возрождение через смерть прекрасных молодых детей... Розовый огонь на свежем сером пепле...

— Где ваш муж служил? — нервно спросил Потылицын.

— Директор металлургического общест... Ах, мой муж! Иногда я слышу около себя шелест — это он издали думает обо мне.

— Нездешний шелест? — спросил Потылицын.

— Да... Нездешний. Это вы очень хорошо сказали. Шелест... Выродившийся гром, раб, сверженный с небес и закованный в шелковые оковы. Вы никогда не были убиты молнией?

Потылицын украдкой пожал плечами и уверенно признался:

— Был.

— Как это хорошо! Быть убитым молнией — это небесная смерть. Рана в борьбе с небесным Воином.

II

Потылицын потер ладони одна о другую, взглянул на Айю и заметил будто вскользь:

— Вы были когда-то женой вождя негритянского племени?

— Почему? — спросила Айя умирающим шепотом.

— Потому что вы серая. Вы под пеплом... даже сейчас. Я уверен, вы родились от Вулкана. Вышли из кратера вместе с пеплом.

— Ах, — сказала Айя, — вы, пожалуй, правы больше, чем нужно. Не нужно быть правым. Кратер...

— А когда вы смеетесь, — заметил деловито Потылицын, — вы напоминаете самку суслика.

— Суслик смеется перед опасностью, — покачала головой, позвякивая, Айя.

— Да и после смерти. У вас прекрасные глаза, Айя. В особенности левый.

— Мой левый глаз знает больше.

— Да! Знание, умерщвляя, украшает. Я вспомнил! Мы с вами виделись не в Египте, а у истоков Замбези. Вы пили воду, стоя передними ногами в реке.

— Я была оленем?

— Да. Антилопа гну. Жвачное однокопытное. И, зацепившись хвостом за ветку хлебного дерева, смотрел я на вас, раскачиваясь. Верно?

Айя нерешительно взглянула на Потылицына, и в глазах ее можно было прочесть некоторый испуг: будто пришел какой-то похититель и явно хочет обокрасть ее.

— Да, — подтвердила она. — Замбези. Я помню тигра, который любовно смотрел на меня из джунглей...

Потылицын серьезно кивнул головой.

— Да... тигр. Очевидно, он убежал из туземного зверинца, потому что на Замбези они не водятся.

— Вы любите пуму? — смущенно спросила Айя. — Пума и ягуар напоминают льющуюся воду. Их движения водопадны.

— Ниагарны или иматрны? — с интересом спросил Потылицын.

— Ах, это все равно. Я когда-нибудь встречу ягуара... Я буду проходить под деревом, и вдруг на меня сверху свалится гибкая злая масса. О, я не буду кричать. Пусть! Пусть мое тело будет исковеркано, облито кровью. Пусть — я зато узнаю мучение. Я скоро встречусь с ягуаром.

— Вы действительно этого хотите? — сурово спросил Потылицын.

— Да, я хочу мучения, побоев. Я поцелую руку ударившему меня мужчине.

— Хорошо. Завтра я буду у вас с визитом и, кстати, завезу вам расписание.

— Чего?.. — удивилась Айя.

— Расписание пароходов, отходящих в Сан-Франциско. Оттуда по железной дороге до Сакраменто и...

— Зачем?

— Затем, что ягуары водятся в Мексике. До Иокогамы вы можете поехать по Сибирской железной дороге. Правда, вагоны не ахти какие и на станциях буфеты отвратительные...

— Ах, что вы такое говорите...

— Да ведь как же! Иначе вы до ягуаров не доберетесь. В Мексике вы их можете найти по дороге от Чиґуагуа...

— Милый! Вы мне даете мигрень. Вы слишком реально касаетесь вещей, которые тоньше паутины. Наши ощущения должны быть ирреальными.

— Нездешними?

— Вот именно. Вы очень метко это сказали...

— Вот что, уважаемая Айя, — сказал Потылицын, вставая. — Я хочу иметь с вами серьезный разговор... Но наедине. Можем мы сейчас уйти в кабинет хозяина?

— Да... — колеблясь, согласилась Айя. — Только зачем «вы»? Нужно «ты». Ты — это не приближает, а отдаляет. Я хочу отдаления.

— Ладно, ладно. Пойдем.

III

Они вошли в кабинет. Потылицын усадил Айю на оттоманку, притворил дверь и уселся рядом.

— Вот что, моя милая. Как тебя зовут?

— Айя. Это звучит, как падение снега.

— Моя милая! Если ты будешь ломаться — я тебя поколочу. Ты сама об этом мечтала давеча. Не вздумай кричать — я свалю все на тебя. Меня все хорошо знают как скромного человека, а тебя, вероятно, считают за полусумасшедшую сумасбродку, готовую на всякую глупость. Итак, не ломайся и скажи мне, как тебя зовут? Как твое настоящее имя?

— Вы с ума сошли! — испуганно сказала притихшая Айя. — Меня зовут Екатерина Арсеньевна.

— Вот и прекрасно. Вот что я тебе скажу, Екатерина Арсеньевна: мне тебя смертельно жалко... Как это так можно

изломать, исковеркать свой благородный человеческий облик? Как можно себя обвешать какими-то браслетками, цепочками, связать себя так, что к тебе и приступиться страшно. Вспомни, Екатерина Арсеньевна, о своей матери. Как бы она плакала и убивалась, если бы увидела свою дочь в таком горестном, позорном положении. Какой глупец научил тебя этим смешным, нелепым разговорам об Египте, ягуарах и темных коридорах? Милая моя, ты на меня, ради Бога, не обижайся — ты баба, в сущности, хорошая, умная, а только изломалась превыше головы. К чему это все? Кому это нужно? Дураки, вроде Туркина, удивляются тебе и побаиваются, а умные люди смеются за твоей спиной. Мне тебя смертельно жалко. То, что я тебе скажу, никто тебе не скажет, даже твой муж. Сними ты с себя все эти побрякушки, колокольчики, начни говорить по-человечески, и ты будешь женщиной, достойной уважения и даже настоящей любви. Дети-то у тебя есть?

— Нету, — со вздохом сказала жена директора.

— Вот то-то и беда. Может, это все от бездетности пошло. Ну, милая, не будь такая печальная, развеселись, махни на все рукой и заживи по-новому. Ей-Богу, тебе легче будет, чем тогда, когда нужно измышлять беседы о каких-то темных королевствах, ягуарах, пумах и кровавых ваннах. Вот ты уже и улыбаешься. Молодец! Я ведь говорил, что ты женщина не глупая и чувствуешь даже юмор. Ты на меня не сердишься?

— Вы чудовище, — засмеялась Екатерина Арсеньевна. — Грубое животное.

— Ну, миленькая, ну, скажи же, ну, бросите вы своих ягуаров и египтян, а? Обещаете? Я буду вам самым преданным, хорошим другом. Вы мне очень нравитесь, вообще. Бросите?

— Наш разговор — между нами? — отрывисто спросила она, отвернувшись.

— Конечно. Я завтра зайду к вам, ладно?

— Хорошо... Только чтобы об этом разговоре даже не намекать. Условие?

— Даю слово. Итак, до завтра. Расписания привозить уже не надо?

— Ну-у?! А кто обещал молчать? Чудовище! Кстати, мне эта цепочка ужасно натерла руку. Я сниму эту сбрую, а вы спрячьте ее в карман.

— Ах вы, прелесть моя. Давайте!

ПЯТИЛЕТКИ

— Далеко изволите ехать?

— И не спрашивайте.

— Что так?..

Мой спутник огляделся с видом самого беспросветного отчаяния и сказал:

— Вы, вероятно, потому разговариваете со мною, что не знаете, кто я такой?

Я инстинктивно отодвинулся.

— А кто вы такой?

— Член третьей Государственной Думы — вот кто я такой.

У него был такой угнетенный вид, что я попытался утешить его.

— Ну, что ж делать — мало ли с кем встречаешься в пути. Я в таких случаях не особенно разборчив.

— Спасибо! Вы первый...

— Что первый?

— Отнеслись ко мне по-человечески. А то — просто хоть вешайся. Хотите, я расскажу вам, почему я уезжаю из родного города?

— Ну?

— Из Петербурга выехал я в хорошем, веселом, душевном настроении. Доехал до места, вылез из вагона и говорю носильщику: «Кликни, братец мой, Игната, кучера члена Государственной Думы Семинядева». Он, носильщик-то, осмотрел меня с ног до головы и спрашивает: «Это вы и есть член третьей Думы? — «Я». Ка-ак расхохочется. — «Хорош», — говорит. «И как не стыдно приезжать было». «Да ты как смеешь?! Пойдешь ты кучера моего позвать или нет»? — «И кучера, говорит, не позову и, вообще, с вами мне даже разговаривать не желательно. Потому — не заслуживаете вы того, чтобы вам услуги оказывать». — «Как так, не заслуживаю?» — «Да так. Много чего вы для нас сделали, пять лет-то проторчамши? Хороши, нечего сказать. Ступай сам, зови своего Игнашку несчастного». Выругался я, пошел искать Игнашку. Нахожу... «Здорово, Игнат. Как поживешь?» — «Садитесь уж, — сурово отвечает Игнашка. — Нечего вам юлить. Глядеть на вас тошно! — «Да ты что — с ума сошел»? — «Было бы с чего», — отвечает. — Другим-то и сходить не с чего». — «Да как ты смеешь»?

Обернулся он ко мне, оглядел и таково скверно процедил: «Вернулись? Прохороводились? Пять лет-то где? Псу под хвост брошены. А толку много? Сидите уж лучше! Сижу... Едет он, словно молоко везет. «Ты бы подогнал, Игнашенька». — «Подогнать... А вы подгоняли? Небось, закону-то никакого подогнать не могли... Туда же — подгони, да подгони... Слякоть этакая»! Слушаю и молчу. Приезжаю домой. Въезжаем это, значит, во двор, детишки мои резвятся — гимназисты, двоечка. Сердце мое заколотилось... «Деточки, кричу я, деточки! Сюда! Папенька ваш приехал»! Обернулись они, поглядели. «В самом деле, — говорит Борька, — кажется эта старая кляча притащилась». — «Милые мои! Да что с вами?! — «Никакие мы тебе не милые! Если бы были милые — ты бы старался учебное дело лучше поставить... А то все только по министерским передним бегал — подлиза паршивая». Побледнел я, к жене бросаюсь, к матери ихней. «Катенька, что же это такое»? — «Ах ради Бога, не лезь ты ко мне с поцелуями! Что это за депутатская привычка, — сейчас же лизаться! Тебе чего нужно? Чего ты приехал»? Она кричит и я кричу: — «Прежде всего я прошу объяснить! Почему это дети встретили меня так сухо? Почему не поцеловались?» — «А тебя мокро нужно было встретить? Поцеловать тебя нужно? Я б тебя так поцеловала!.. Ты что для нас, женщин, в Думе свой сделал? Чего добился? Что для учеников сделал? С Кассо под ручку гулял? Разозлился я: — «А ну вас, к бесу! Пойду к дяде Коле»! — «Пойди-ка! Ты ему что, неприкосновенность личности принес? Или свободу союзов? Пойди-ка! Он тебя так примет, что до зеленых веников не забудешь. Ему как раз кружок для самообразования закрыли, обыск делали — иди, иди! Он-те поблагодарит». Схватился я за голову, побежал в редакцию газеты. «Объясню, думаю, в чем дело, какие мы законопроекты сделали, чего добились. Пусть знают»! Прибегаю. «Кто такой? Что такое?» — «Так и так, — говорю. Я такой-то, миссия печати и прочее... Поддержите». — «Вас поддерживать? А законы о печати провели? А пять лет что делали? Рыболовство на Амуре обсуждали? Вон отсюда»!

Лицо рассказчика было искажено страданием.

— Поделом, — засмеялся я. — Так вам и надо. Куда ж вы теперь едете?

— Да, на этот Амур же! К рыболовам. Эти, по крайней мере, благодарны будут... Потому что законопроект-то о правильной постановке рыболовства на Амуре мы действительно провели, хоть что-нибудь сделали. Далеконько ехать, да что ж делать!.. Там я думаю приютиться.

Поезд стоял... В открытое окно донесся звук чьих тяжелых шагов и разговор:

— Помять бы ему бока хорошенько — знал бы!

— Да уж следовало бы. Отвести бы в уголочек, да... Не посмотреть на то, что хозяин!

Депутат побледнел и схватил меня за руку.

— Это они обо мне! Ей-Богу, обо мне.

— Ну, что за вздор! Какие-то неизвестные рабочие о хозяине беседуют.

— Нет, это обо мне! Хозяин — это обо мне. Нас и в газетах называли «хозяевами положения». Это обо мне! Спасите меня!

Но спасать его не понадобилось, потому, что поезд вздрогнул и тронулся.

При этом, паровоз загудел и свистнул так, что мы вздрогнули.

— Это меня, — простонал несчастный депутат, хватая меня за руки. — Это он меня освистал!

— Господи! Да за что же?

— Я знаю, за что... За то, что мы рабочим вопросом не занимались... О, спасите меня!

— Отстаньте, — сурово сказал я. — Пусть вас полиция спасает!

— О, Боже! Но ведь мы и для нее... ничего не сделали!!

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ГЛЫБОВИЧ

I

— Миленький мой, — сказала госпожа Принцева. — Вот уже почти месяц, как мы с тобой признались, что любим друг друга. По-моему, мы должны быть счастливы (я, конечно, и счастлива...), но ты — ты меня беспокоишь! Что с тобой? Ты задумчив, молчалив, часто, сидя в уголку, что-то шепчешь, на вопросы отвечаешь невпопад... Ми-

лый! Может быть, ты разлюбил меня? Может быть, я тебе за один месяц надоела? Или другую встретил? Конечно, если ты меня разлюбил — против этого ничего не поделаешь... сердцу не прикажешь. И я требую только одного — откровенности. Встретил другую — что ж делать... Нужно сказать... Только имей в виду — если это правда, я этого так не оставлю. Слава Богу, серную кислоту еще можно достать, когда хочешь...

Действительно, у Глыбовича было задумчивое, рассеянное лицо и глаза смотрели грустно-грустно не на Принцеву, а куда-то в угол.

Он вздохнул.

— Конечно, то, что ты говоришь о другой женщине, — неправда. Я люблю только тебя, и, может быть, это-то меня и угнетает.

— Угнетает? Почему?

— Скажи, тебе никогда не приходила в голову мысль о твоих детях?

— При чем тут дети?

— Дети — это ангелы на земле. Дети — цветочки алые на сожженной солнцем ниве. У тебя есть два таких прекрасных цветочка...

— Ну и что же?

Чувствительный Глыбович закрыл руками глаза и прошептал:

— Я их люблю, как своих родных детей... Меня пугает их будущее...

— О Боже мой... Почему?

— Тебе никогда не приходило в голову — что будет, если твой муж узнает о наших отношениях?

— Что будет? Скандал будет.

— О, — сказал Глыбович со стоном. — Я боюсь другого... Убийства!

— Ты думаешь, он тебя убьет?

— Как ты меня мало знаешь... Стал бы я о себе думать! Не меня... Я боюсь, что безумная карающая рука опустится на тебя!

Госпожа Принцева прижалась к Глыбовичу и спросила то, что, наверное, уже несколько тысяч лет спрашивается в подобных случаях:

— Тебе будет жалко, если я умру?

— О, можешь ли ты спрашивать! Но не забывай, после тебя останутся дети — двое невинных крошек... Что с ними будет? Убийца-отец или пойдет на каторгу, или, в лучшем случае, оправданный, начнет пить, чтобы алкоголем заглушить муки совести и раскаяния... Пьяный, опустившийся, будет приходить он в холодную, нетопленную комнату и будет он колотить и терзать безвинных детей своих. «Папочка, — будут спрашивать они, складывая на груди исхудалые ручонки. — За что ты нас бьешь?» — «Молчите, проклятое отродье», — заревет отец.

Припав к плечу рассказчика, госпожа Принцева тихо плакала.

— А потом он умрет в белой горячке около трепещущих испуганных детей. С ужасом будут взирать они на его искаженное злобой и безумием лицо... Кстати, у него есть что-нибудь в банке?

— Что?

— Я спрашиваю, у него есть что-нибудь? В процентных бумагах или на текущем счету?

— Что ты! Откуда?.. Мы все проживаем. А почему ты это вдруг спросил?

— Потому что дети в таком случае останутся выброшенными на улицу. Что их ждет? Карманный воришка и падшая женщина.

— О, не говори так! — вскричала госпожа Принцева, хватаясь за голову...

— Вот видишь, — сказал Глыбович, торжественно простирая руку. — Вот что гнетет меня и мучает меня! Имеем ли мы право строить все счастье на трупиках малых сих?

— Что же делать? Боже, что же делать? — ломая руки, вскричала госпожа Принцева. — Где же выход? Слушай... А почему ты думаешь, что он непременно меня убьет?

— Он? Конечно убьет. О, милая моя... Плохо же ты знаешь мужчин, которые любят... Никакие законы и никакие дети их не остановят...

— Значит — что же? Из твоих слов ясно, что мы должны расстаться?

— Боже сохрани! Но я хочу быть уверенным за судьбу твоих детей. Пусть они его дети — все равно, я привязался к ним за этот месяц и люблю, как собственных.

— Но... им все-таки что-нибудь останется! У меня есть бриллианты...

— О, бриллианты! Отец отнимет их и пропьет... Как их застрахуешь от этого?

— Вот что... у меня есть одна старая тетка. Правда, небогатая...

— Она застрахована на случай смерти?

— Кажется, нет.

— Ну, вот видишь. Чем ты застрахована, что у нее нет других родственников? Ну, скажи... Чем ты застрахована?

— Застрахована... — машинально сказала Принцева. — А что, если мне застраховаться?

— Тебе? Гм... Это, пожалуй, идея. Если, конечно, полис завещать детям. Чтобы не узнал только муж об этом...

Долго еще слышался шепот влюбленных в маленьком будуаре госпожи Принцевой.

II

Однажды, когда госпожа Принцева в изящной позе полулежала на кушетке, а сидевший на низенькой скамеечке чувствительный Глыбович осыпал поцелуями ее руки — вошел муж, господин Принцев.

— Извините, — сухо сказал он. — Я, кажется, помешал?

— Нет, ничего, — возразил Глыбович, сохраняя редкое присутствие духа. — Я как раз благодарил Ольгу Николаевну за одно доброе дело, которое она сделала.

— Да? — сказал муж ледяным тоном. — Вот что, господин Глыбович... Мне нужно серьезно поговорить кое о чем с вами. Не пройдете ли вы в мой кабинет?

— О, сделайте одолжение!

Мужчины ушли.

С искаженным ужасом лицом вскочила с кушетки госпожа Принцева и прислушалась. Резкий разговор, какой-то удар, потом выстрел, сдавленный крик и глухое падение тела — чудились ей. Но, нет! В кабинете все было сравнительно тихо.

— Объясняются, — подумала госпожа Принцева и, держась рукой за бешено бьющееся сердце, вышла в столовую к вечернему чаю.

Дверь из столовой вела в кабинет. Оттуда доносился разговор, но слов не было слышно. Долетал только резкий

протестующий голос господина Принцева и отрывочные слова Глыбовича: «Вы не правы! Это несправедливо! Если вы о ней не хотите думать, то подумайте хоть о детях!»

— Странно! — подумала госпожа Принцева. — Он о моих детях думает больше, чем обо мне. Вот-то размазня!

Снова прислушалась...

— «Конечно, кто первый умрет, это еще вопрос!» — «А я вам говорю...» — «Вы должны допустить, что она женщина молодая!» — «А мне-то какое дело!» — «И что семейное счастье вещь очень непрочная»...

Дальше ничего нельзя было разобрать...

Зажгли лампу. Пришли дети — пятилетний Игорь и семилетняя Катя, — предводительствуемые гувернанткой.

Пили чай. Дети уже напились, поблагодарили мать и сели рассматривать картинки. Покончили и с этим делом и уже отправились спать, а господин Принцев все спорил с Глыбовичем о чем-то, то повышая, то понижая голос.

С одной стороны, госпоже Принцевой было приятно, что дело кончилось без шума, выстрелов и убийств, а с другой — тяжелое чувство какой-то неудовлетворенности и обманутого ожидания язвило сердце неверной жены.

Только-то? О, другие мужчины, вступившие в борьбу друг с другом за обладание ею, не поступали бы так, будто бы они обсуждают какое-то коммерческое предприятие. Или она не такой уж предмет раздора и спора, чтобы из-за нее стрелялись или вступали в единоборство?!

И кончилось тем, что госпожа Принцева с самым жадным любопытством стала прислушиваться — не раздастся ли наконец: «выстрел, подавленный крик и глухой стук падения тела»...

Тогда, может быть, ей бы сделалось легче.

Выстрелов не было.

Вместо этого в десятом часу вечера дверь из кабинета наконец распахнулась и вылетел красный, вспотевший Принцев. Он шатался от усталости и смотрел на все потускневшими глазами.

Глыбович, наоборот, был свеж, как всегда; он вышел корректный, застегнутый на все пуговицы, от чаю отказался, поцеловал хозяйке дома руку, простился с хозяином и, шепнув что-то на ходу гувернантке, исчез.

— Что это у вас за разговоры с Глыбовичем были? — с наружным спокойствием спросила госпожа Принцева, наливая мужу чаю.

— Негодяй он, твой Глыбович, — сурово сказал муж.

Жена вспыхнула.

— Во-первых, что это за «твой», а во-вторых, я прошу с моими знакомыми быть вежливее!

— Знакомый! Хороший знакомый!..

— Я с вами не совсем согласна, — сказала гувернантка, неожиданно вступая в разговор. — Господин Глыбович очень милый человек...

— Да-с? Почему же это вы им так очарованы, позвольте осведомиться?

— Он с такой любовью отнесся к моей матушке, которой даже и не знает... Так сочувствовал. Посоветовал мне даже застраховаться, чтобы она не осталась без куска хлеба в случае, если я...

Господин Принцев поднял голову.

— Как?! Он и вас застраховал?!

— Как это так — «и вас»?

— Потому что он меня тоже сейчас застраховал. Целый час я от него отбивался, но разве от этого чувствительного репейника отделаешься? О детях, о жене такое развел мне, что я чуть не заплакал. Что поделаешь — застраховался. Вообще, знаете, эти агенты по страхованию жизни — такой ужас!

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК

I

Однажды я зашел в маленькую, полутемную типографию с целью заказать себе визитные карточки. В конторе типографии находилось двое людей: конторщик и полный, рыжий господин с серьезным, озабоченным лицом.

— Меньше ста штук нельзя, — монотонно говорил конторщик. — Меньше ста штук нельзя. Нельзя меньше ста штук.

— Разве не все равно: сто или шесть штук? Куда мне сто? Мне и шести штук много.

— Шесть штук будут стоить то же, что и сто. Что же за расчет вам? Что же за расчет?.. Вам-то — какой расчет? — спрашивал печально и лениво конторщик.

— Ну ладно! Печатайте сто, только так: пятьдесят штук одного сорта и пятьдесят штук — другого.

— На разной бумаге?

— Нет, — я говорю, — разного сорта. На одних напечатайте так: «Светлейший князь Иван Иванович Голенищев-Кутузов», а на других, просто: «Граф Петр Петрович Шувалов». Ну, там, коронки разные поставьте, вензеля — как полагается.

Я с любопытством смотрел на этого представителя знаменитейшей дворянской русской фамилии и только немного недоумевал в душе: какая же из двух фамилий принадлежала озабоченному господину.

— Будьте добры напечатать мне сотню визитных карточек, — сказал я, приближаясь к конторщику, — моя фамилия — Александр Семенович Пустынский.

Незнакомый господин издал легкий звук, похожий на радостное икание.

— Пустынский?! Вы и есть знаменитый писатель Пустынский?

— Ну уж и знаменитый!.. — сконфузился я. — Так просто... пишу себе.

— Нет, нет! — захлопотал озабоченный господин. — Не оправдывайтесь! Вы — знаменитый писатель. Очень рад познакомиться!

— Вы меня смущаете, — улыбнулся я, пожимая его руку. — А как ваша фамилия: князь Голенищев-Кутузов или граф Шувалов?

— Перетыкин Иван моя фамилия — вот как! Не слышали? У меня еще деда повесили за участие в Великой французской революции.

— Вы — Перетыкин?! А зачем же вы такие карточки заказывали?

Мне показалось, что он немного смутился.

— А?.. Это так... Маленькое пари... Шутка... Можно вас проводить? Нам, кажется, по пути?..

Мы вышли из типографии и зашагали по безлюдной улице.

— Пойдем налево, — сказал Перетыкин. — Там народу больше.

Мы свернули на шумный проспект. Навстречу нам шли два господина. Мой новый знакомый схватил меня под руку и почти прокричал на ухо:

— От Леонида Андреева писем давно не получали?!

— Я? Почему бы мне получать от него письма? Мы даже не знакомы.

Мы молча зашагали дальше. Навстречу нам показались две дамы.

— Отчего не видел вас во вторник у Лины Кавальери? Она ждала, ждала вас!..

Проходившие дамы, заинтересованные, замедлили шаги и даже повернули в нашу сторону головы. Одна что-то шепнула другой.

— Зачем вы это спрашиваете? — удивился я. — Никогда моя нога не была в ее доме. Может быть, она ждала кого-нибудь другого?..

— Может быть, может быть, — устало, равнодушно пробормотал Перетыкин, но, завидев впереди какого-то знакомого, оживился и громким голосом дружелюбно закричал:

— Заходите ко мне когда угодно, Пустынский! Для знаменитого писателя Пустынского у его приятеля Перетыкина всегда найдется место и прибор за столом!!.

Я стал понимать вздорную, суетную натуру Перетыкина. Перетыкин начинал действовать мне на нервы.

Я промолчал, но он не унимался. Когда мимо нас проходил какой-то генерал с седыми подусниками и красными отворотами пальто, мой новый знакомый приветственно махнул ему рукой и крикнул:

— Здравствуй, Володя! Как поживаешь? Совсем забыл меня, лукавый царедворец!..

Генерал изумленно посмотрел на нас и медленно скрылся за углом.

— Знакомый! — объяснил Перетыкин. — Зайдем ко мне. У меня есть к вам большая просьба, которую я могу сказать только дома.

— Хорошо. Пожалуй, зайдем. Только — ненадолго, — согласился я с большой неохотой.

II

Он жил в двух комнатах, обставленных нелепо и странно. Одна из них вся была увешана какими-то картинами и фотографическими портретами с автографами.

— Вот — мой музей, — сказал Перетыкин, подмигнув на стену. — Все лучшие люди страны дарили меня своим вниманием!..

Действительно, большинство портретов, с наиболее лестными автографами, принадлежало известным, популярным именам.

На портрете Чехова было в углу приписано:

«Человеку, который для меня дороже всех на свете — Ивану Перетыкину, на добрую обо мне, многим ему обязанному, память».

Лина Кавальери написала Перетыкину более легкомысленно:

«Моему Джиованни на память о том вакхическом вечере и ночи, о которых буду помнить всю жизнь. Браво, Ваня!»

Немного удивили меня теплые, задушевные автографы на портретах Гоголя и Белинского и привела в решительное недоумение авторская надпись на портрете, изображавшем автора ее в гробу, со сложенными на груди руками.

— Садитесь, — сказал Перетыкин.

Постарался он посадить меня так, чтобы мне в глаза бросилось блюдо с разнообразными визитными карточками, на которых замелькали знакомые имена: «Ф.И. Шаляпин, Лев Толстой, Леонид Андреев»...

Даже откуда-то снизу выглянула скромная карточка с таким текстом:

«Густав Флобер — французский литератор».

Я улыбнулся про себя, вспомнив о «графе Шувалове» и «светлейшем князе Голенищеве-Кутузове», и спросил:

— Какое же у вас ко мне есть дело?

Он взял с этажерки одну из моих книг и подсунул ее мне:

— Напишите что-нибудь. Такое, знаете: потрогательнее.

— Да зачем вам? Ведь мы с вами еле знакомы — что же я могу написать? Ну, написать вам: «На добрую память»?

Он задумчиво поджал губы.

— Суховато... Вы такое что-нибудь... потеплее.

Я пожал плечами, взял перо и написал на книге:

«Лучшему моему другу и вдохновителю, одному из первых людей, с гениальным проникновением открывших меня, — милому Ване Перетыкину. Пусть он вечно, вечно помнит своего Сашу!»

Он прочел надпись и удовлетворенно потрепал меня по плечу. Потом сел около меня. Я молчал, наблюдая за его ухищрениями, которые видел насквозь. Ухищрения эти состояли в том, что Перетыкин вытягивал левую руку с брил-

лиантовым кольцом на пальце, обмахивался ею, будто бы изнемогая от жары, клал ее на мое колено, но все это было напрасно.

Я упорно не замечал кольца.

Тогда он сказал, как будто бы думая о чем-то постороннем:

— Плохие времена мы переживаем... Вера в народе стала падать...

— Да... ужасное безобразие!

— Народ не ценит своих святынь... Церкви подвергаются разграблениям... Драгоценные иконы ломаются и расхищаются...

— Да... ужасное безобразие!

— Недавно, например, обокрали икону... Унесли несколько бриллиантов громадной стоимости и величины. Я читал описание: размер бриллиантов приблизительно такой, как у меня на пальце...

— Школы нужны, — перебил я его на совершенно неподходящем для него месте.

Он вздохнул и, подумав немного, кивнул головой.

— Это верно. Нужны школы, а говорят, что денег нет. Как нет денег? Вводите налоги. Можно обложить все, главным образом предметы роскоши. Например, золотые и бриллиантовые вещи. Например, вот это кольцо... Вы знаете, сколько я за него заплат...

— Нет, что там налоги! Главное — режим, — опять перебил я его.

Я насквозь видел все его штуки: он лихорадочно, болезненно стремился похвастаться своим бриллиантовым кольцом, а я все время отбрасывал его на другой путь. Но он был неутомим.

— Вы говорите — режим? Режим, конечно, сыграл свою роль. Одни эти еврейские погромы, когда разорялись самые богатые еврейские фирмы и торговли. Ха-ха! Вы знаете, после погромов было не в редкость встретить на руке босяка вот такое кольцо, а ведь это кольцо, батенька, стоит...

— Босяки здесь ни при чем. Они сами бы...

Он схватил меня за руки и скороговоркой докончил:

— ...Стоит две с половиной тысячи! Да-с! Небольшая вещица, а заплачено две с половиной тысячи!! Хе-ха!..

Пришлось подробно рассмотреть кольцо и убедиться в его стоимости.

Перетыкин вынул из кармана золотые часы и стал для чего-то заводить их.

Он упорно хотел, чтобы я заинтересовался этими часами, а я упорно не хотел интересоваться ими. Встал и сказал:

— Пойду. Кстати, каким это образом у вас на фотографическом портрете Пушкина его автограф?..

— Этот? Это я получил от него давно. Когда еще был мальчиком...

— Изумительно! — удивился я. — Да ведь Пушкин уже умер лет семьдесят тому назад.

Призадумавшись, он ответил:

— Да, действительно что-то странное. Впрочем, это, кажется, его сын подарил. Не помню. Давно было. Ну, ничего!

Я еще хотел спросить — как это покойник в гробу, со сложенными руками, мог дарить свои автографы на портретах, изображающих его в этой скорбной, печальной позе, но не спросил и ушел.

Перетыкин проводил меня до ворот и, увидев проходившую мимо даму с господином, крикнул мне вдогонку:

— Когда будете проезжать Бельгию — привет и поцелуй от меня Метерлинку! До свидания, Пустынский! Напишите что-нибудь замечательное!!

Прохожие оглянулись.

III

Недавно я встретил на улице погребальную процессию. Сзади катафалка шли человек двадцать родственников, а за ними, немного поодаль, брел Перетыкин. Он часто подносил к красным глазам платок, заливался обильными слезами, чем растрогал меня до глубины души. Очевидно, у этого человека, кроме смешных, нелепых слабостей, было большое сердце.

Я подошел к нему и деликатно взял его под руку.

— Успокойтесь! Вы кого-нибудь потеряли? Это ужасно, но — что ж делать!

Он печально покачал головой.

— Не утешайте меня! Я все равно не успокоюсь!! Эта потеря незаменима.

— Кто же это умер?

— Кто? Мой лучший друг! Я все ночи напролет просиживал у его изголовья, но — увы, ни дружба, ни медици-

на — ничего не могли поделать... Он угас на моих руках. Последние его слова были: «Ничего! Все-таки я кое-что сделал для родной литературы!»

— А! Он был литератор? Как же его звали?

Он укоризненно посмотрел на меня.

— Боже мой! И вы не знаете?! Вы не знаете, кого мы потеряли?! Кто умер? Достоевский умер! Наша гордость и близкая мне душа.

— Что за вздор! Достоевский умер лет двадцать тому назад! Я это знаю наверное!..

Он смущенно посмотрел на меня.

— Не... может... быть... Эй, как вас? Родственник! Как фамилия покойника?

— Достоевский! — ответил плачущий родственник.

— Ага! Вот видите!

— А кем он был при жизни? — спросил я.

— Он? Письмоводителем у мирового судьи! Совсем молодым человеком и помер.

Перетыкин вынул из кармана платок, тщательно утер глаза и равнодушно сказал мне:

— Пойдем куда-нибудь в ресторанчик? Дотащутся и без нас!..

Мимо нас прошли два офицера.

Перетыкин проревел им вслед:

— Пустынский, плутишка! Не забудьте же воспользоваться той темой для рассказа, что я вам дал.

Я рассмеялся. Дал ему слово воспользоваться и сделать это теперь же, не откладывая дела в долгий ящик.

КРУГИ ПО ВОДЕ
(1912)

Посвящаю Александре Яковлевне Садовской

ОТ АВТОРА

Я расскажу все как было.

— Как вы предполагаете назвать эту книгу? — спросил мой издатель.

— Я подумаю, — отвечал я. — Через три дня дам вам ответ.

Через три дня, встретившись со мной, издатель вторично задал тот же вопрос.

Я поднял глаза к небу и тихо сказал:

— Жаркое, пышное лето... Медленная, зеркальная река, обрамленная дремлющей зеленью... Я стою на берегу и один за другим бросаю в воду круглые камушки... С громким всплеском они падают, исчезают, но от них бегут круги... Сначала маленький круг — резкая, энергичная морщина на зеркальной глади... За маленьким — больший, тоже четкий и энергичный, а за ним все более и более широкие, но уже нежные, незаметные... какие-то умиротворенные и кроткие... И последний огромный круг, замирающий где-то за пределами моего зрения, совсем неуловимый, как улыбка на лице умирающего... Я бросаю второй, третий камушек. Такие же ожерелья появляются вокруг того места, где он утонул, — ширятся, расплываются и умирают. Вернее, не умирают, — они все идут, идут крошечными, микроскопическими волнами, но простой, грубый глаз их не увидит...

— Все это так, — перебил издатель, этот человек с типографской машиной вместо сердца, — но все-таки как же вы назовете книгу?

— Мои рассказы, — задумчиво сказал я, — те же круги по воде... Сравнение головы читателя с рекой, в которую бросаешь камни, немного смелое, но я прибегаю к этому сравнению, чтобы вы меня поняли... Мои рассказы так же должны западать в читательские головы и, сделав в читательской памяти резкий, энергичный круг, постепенно расплыться на всю читательскую жизнь нежными, еле уловимыми волнами.

— Пожалуй, это для читателя слишком сложно, — возразил издатель. — Он не сумеет всего этого проделать.

— Чего проделать? Ему ничего не надо и проделывать. Это сделается само собой...

— Значит, вы говорите, что берете книгу, бросаете ее читателю в голову, и он...

— Да нет же! — нетерпеливо сказал я. — Просто книга выходит обыкновенным способом, но я даю ей такое название, которое должно иметь некоторую логическую связь с ее содержанием.

— Я немного не понял... как название? «Широкая, пышная река летом, в которую вы...»

— Ах, Боже мой! Я назову книгу: «Круги по воде». При чем тут пышная река летом?

Понял ли меня этот человек, с фальцовочной машиной вместо души, презиравший всякое первое издание, еле раскланивавшийся с третьим и подобострастный, суетливый перед десятым? Я думаю, нет.

Тем не менее он сказал:

— Как хотите. Значит, круги по воде? Я, значит, сегодня же заказываю обложку художнику.

* * *

Конечно, кроме себя, никого винить мне не следует. Нужно было обстоятельно потолковать с художником, рисовавшим обложку, чего я, за недосугом, не сделал.

Увидев эту обложку уже в печати, я зашатался... У меня потемнело в глазах и из груди вырвался стон.

— Что это такое?! — закричал я, сдерживая готовые хлынуть слезы.

— Круги на воде, — самодовольно сказал художник. — Не думаете ли вы, что их маловато? Я на них не скупился.

— Это круги на воде! — застонал я. — Совсем другая мысль!.. А мне нужно было не «на», а «по»! Слушайте!

Я, обессиленный, опустился на стул и тихо начал:

— Жаркое, пышное лето... Медленная, зеркальная река... Я стою на берегу и один за другим бросаю в воду камушки... И от них бегут круги...

— Да... — неуверенно сказал художник. — Те круги иначе рисуются... Другой сорт... Впрочем, знаете что? Оставьте так.

— Так?! А моя мысль, моя прекрасная аллегория...

— Так тоже получается аллегория... Вы выпустили книгу. Для всякого человека, которого гнетет тоска, это тот спасательный круг, за который он должен ухватиться...

— Вы мне не льстите? — подозрительно спросил я.

— Что вы! Прекрасная книга! Прямо спасение утопающих.

— Ну вы думаете, прекрасная? — улыбнулся я сквозь слезы.

— Она-то? Поразительная книга!

Это меня немного успокоило.

Я счел необходимым предпослать читателям это краткое объяснение, боясь, чтобы они не заподозрили меня в отсутствии сообразительности.

Виноват художник.

Нет более прямолинейных и «не от мира сего людей», чем художники.

Недавно я попросил того же самого художника нарисовать обложку для «альманаха мелочей» под названием «Пауки в банке».

— Хорошо, понимаю! — сказал он, вдумавшись в заглавие. — Это будет очень забавно: изобразить помещение банка и за конторками сидят этакие пауки, водя лапами по книгам...

— Боже вас сохрани! Не б а н к, а б а н к а. Пауки в банке! Аллегория собрания ядовитых мелочей!

Нет более прямолинейных и стремительных людей, чем художники.

Попробуйте поручить одному из них нарисовать, не объяснив как следует, зайчиков на стене. Будьте уверены, что он аккуратно развесит на стене головой вниз десяток мертвых зайцев и будет утверждать потом, что тут есть тоже аллегория.

Автор

ДВУЛИЧНЫЙ МАЛЬЧИШКА

I

Авторы уголовных романов и их читатели не поняли бы странной двойственной натуры мальчишки Алешки — натуры, которая в свое время привела меня в восхищение и возмутила меня.

Авторы уголовных романов и их читатели прославились своей прямолинейностью, которая обязывала их не заниматься *смешанными* типами. Злодеи должны быть злодеями, добрые — добрыми, а если капелька качеств первых попадала на вторых или наоборот — все кушанье считалось испорченным... Злодей — должен быть злодеем без всяких уверток и ухищрений... Он мог раскаяться, но только в самом конце, и то при условии, что, в сущности, он и раньше был симпатичным человеком. Добрый тоже мог стать в конце романа злым, бессердечным, но тоже при условии, что автор опрокинет на него целую гору несчастий, людской несправедливости и тягчайших разочарований, которые озлобят его. Ни в одном из таких романов я не встречал жизненного простого типа, который сегодня поколотил жену, а завтра подаст гривенник нищему, утром прилежно возится у станка, штампуя фальшивые деньги, а вечером вступится за избиваемого еврея.

Человек — более сложный механизм, чем, например, испанский кинжал, вся жизнь которого сводится только к двум чередующимся поступкам: он или режет кому-нибудь горло, или не режет.

Попадись автору уголовных романов Алешка — он повертел, повертел бы его, понюхал, лизнул бы языком и равнодушно отбросил бы прочь.

— Черт знает что такое!.. Ни рыба ни мясо.

В жизни не так много типов, чтобы ими разбрасываться...

Я подбираю брошенного разборчивым романистом Алешку и присваиваю его себе. Об Алешке я сначала думал, как о прекрасном, тихом, благонравном мальчике, который воды не замутит. В этом убеждали меня все его домашние поступки, все комнатное поведение, за которым я мог следить не сходя с места.

Мы жили в самых маленьких, самых дешевых и самых скверных меблированных комнатах. Я — в одной комнате, Алешка с безногой матерью — в другой.

Тонкая перегородка разделяла нас.

Я так часто слышал мягкий, кроткий Алешкин голос:

— Мама! Хочешь, еще чаю налью? Отрезать еще кусочек колбасы?

— Спасибо, милый.

— Книжку тебе еще почитать?

— Не надо. Я устала...

— Опять ноги болят? — слышался тревожный голос доброго малютки. — Господи! Вот несчастье так несчастье!..

— Ну ничего. Лишь бы ты, крошка, был здоров.

— Ну-с, — важно говорил Алешка, — в таком случае ты спи, а я напишу еще кое-какие письма.

Было ему около десяти лет.

II

Однажды я встретился с ним в коридоре.

— Тебя Алешкой зовут? — спросил я вежливо, ради первого знакомства, дергая его за ухо.

— Алешкой. А что?

— Да ничего. Ну, здравствуй. У тебя мать больная?

— Да, брат, мать больная. С ногами у нее неладно. Не работают.

— Плохо ваше дело, Алешка. А деньги есть?

— В сущности, — сказал он, морща лоб, — денег нет. Тем и живем, что я заработаю.

— А чем ты зарабатываешь?

Посмотрев на меня снизу вверх (я был в три раза выше его), он с любопытством спросил:

— Тебе там наверху не страшно?

— Нет. А что?

— Голова не кружится?

Я засмеялся.

— Нет, брат. Все благополучно.

— Ну и слава Богу! До свиданья-с.

Он подпрыгнул, ударил себя пятками по спине и убежал в комнату матери.

Эти нелепые замашки в таком благонравном мальчике удивили меня. С матерью он был совсем другим. Я понял, что хитрый мальчишка надевает личину в том или другом случае, и решил при первой возможности разоблачить его.

Но он был дьявольски хитер. Я несколько раз ловил его в коридоре, подслушивал его разговоры с матерью — все было напрасно. При встречах со мной он был юмористически нахален, подмигивал мне, хохотал, а сидя с матерью, трогательно ухаживал за ней, читал ей книги и в конце вечера неизменно говорил с видом заправского молодого человека:

— Ну-с, а мне нужно написать кое-какие письма.

Я приставал к нему несколько раз с расспросами:

— Что это за письма?

Он был непроницаем.

Однажды я решился на жестокость.

— Не хочешь говорить мне, — равнодушно процедил я, — и не надо. Я и сам знаю, кому эти письма...

— Ну? Кому? — тревожно спросил он.

— Разным благодетелям. Ты каждый день с этими письмами пропадаешь на несколько часов... Наверное, таскаешься по благотворителям и клянчишь.

— Дурак ты, — сказал он угрюмо. — Если бы я просил милостыни, то и у тебя просил бы. А я заикнулся тебе хоть раз? Нет.

И добавил с напыщенно-гордым видом:

— Не беспокойся, брат... Я не позволю себе просить милостыни... Не таковский!

Должен признаться: я был крайне заинтересован таинственным Алешкой. Сказывались мои двадцать два года и 24 часа свободного времени в сутки.

Я решил выследить Алешку.

III

Был теплый летний полдень.

Из-за перегородки слышался монотонный голос Алешки, читавшего матери «Анну Каренину». Через некоторое время он прервал чтение и заботливо спросил:

— Устала?

— Немного.

— Ну, отдохни. А я пойду. Если захочется без меня кушать, смотри сюда: вот ветчина, холодные котлеты, молоко. Захочется читать — вот книга. Ну, прощай.

В последовательном порядке послышались звуки: поцелуя, хлопнувшей двери и Алешкиных шагов в коридоре.

Я схватил шляпу и тихонько последовал за Алешкой.

Через двадцать минут мы оба очутились в Летнем саду, наполненном в это время дня дряхлыми старичками, няньками с детьми и целой тучей девиц с вечными книжками в руках.

Алешка стал непринужденно прохаживаться по аллеям, бросая в то же время косые проницательные взгляды на сидевших с книжками девиц и дам и делая при этом такой вид, будто бы весь мир создан был для наслаждений и удовольствий.

Неожиданно он приостановился.

На скамейке, полускрытой зеленым кустом, сидела сухая девица и, опустив книгу на колени, мечтательно глядела в небо. Думы ее, вероятно, витали далеко, отрешившись от всего земного, рассеянный взгляд видел в пространстве е г о, прекрасного чудесного героя недочитанной книги, обаятельного, гордого красавца, а неспокойное сердце девичье крепко и больно колотилось в своей неприглядной, по наружному виду, клетке.

Алешка тихо приблизился к мечтательнице, стащил с головы фуражку и почтительно сообщил:

— А вам, барышня, письмецо есть...

— От кого? — вздрогнула девица и обернула к Алешке свое ставшее сразу пунцовым лицо.

— От «него», — прошептал Алешка, щуря глаза с самым загадочным видом.

— А... кто... он?.. — еще тише, чем Алешка, прошелестела девица.

— Не велено сказывать. Ах! — вскрикнул он неожиданно (будто прорвался) с самым простодушным глуповатым восторгом. — Если бы его видели; такой умница, такой красавец — прямо удивительно!

Девица дрожащими руками взяла письмо... на лице ее было написано истерическое любопытство. Грудь тяжело вздымалась, а маленькие бесцветные глаза сияли, как алмазы...

— Спасибо, мальчик. Ступай... Впрочем, постой. Вот тебе!

Девица порылась в ридикюле, вынула две серебряных монеты и сунула их в руки доброму вестнику.

Добрый вестник осыпал ее благодарностями, отсалютовал фуражкой и сейчас же деликатно исчез, не желая присутствовать при такой интимности, как чтение чужого письма.

Сидя на противоположной скамье, я внимательно следил за девицей. Бледная как смерть, она лихорадочно разорвала конверт, вынула из него какую-то хитроумно сложенную бумажку, развернула ее, впилась в нее глазами и сейчас же с легким криком уронила ее на пол... Бесцветные глаза девицы метали молнии, но она быстро спохватилась, напустила на себя равнодушный вид, поднялась, забрала свою книгу, сумочку и быстро-быстро стала удаляться.

Когда она скрылась с глаз, я вскочил, поднял брошенное письмо от «него» и прочел в этом таинственном письме только одно слово: «Дура!»

Второе лицо Алешки было разгадано.

IV

Алешка выходил из сада, распространив все свои письма и легкомысленно позвякивая серебром в растопыренном кармане.

У входа я поймал его, крепко схватил за руку и прошипел:

— Ну-с, Алешенька... Теперь мы знаем ваши штуки!..

— Знаешь? — сказал он цинично, нисколько не испугавшись. — Ну и на здоровье.

— Кто это тебя научил? — суровым тоном спросил я, еле удерживаясь от смеха.

— Сам, — улыбнулся он с очаровательной скромностью. — Надо же чем-нибудь семье помогать.

— Но ведь если ты когда-нибудь попадешься — знаешь, что с тобой сделают? Изрядно поколотят!

Он развел руками, будто соглашаясь с тем, что всякая профессия имеет шипы.

— До сих пор не колотили, — признался он. — Да вы не смотрите, что я маленький. О-о... Я хитрый как лисица... Вижу: где, как и что.

— Все-таки, — решительно заявил я, — твоя профессия не совсем честная...

— Ну да! Толкуйте.

— Да, конечно. Ведь ты же обманываешь девиц, сообщая им, что письмо — от красивого, умного молодого человека, в то время как оно написано тобой.

Мальчишка прищурился. Мальчишка этот был скользок, как угорь.

— А почему, скажите пожалуйста, я не могу быть умным молодым человеком? А?

— Да уж ты умный, — согласился я. — Уж такой умный, что беда. Только почему ты, умный молодой человек, пишешь такие резкие письма? Почему «дура», а не что-нибудь другое?

И он ответил мне тоном такого превосходства, что я сразу почувствовал к нему невольное уважение.

— А разве же они — не дуры?

Вечером я лежал на диване и слушал тоненький, нежный голосок:

— Мамочка, дать еще цыпленка?

— Спасибо, милый, я сыта.

— Так я тебе почитаю.

— Не надо. Ты, вероятно, устал, продавая эти противные газеты. Отдохни лучше.

— Спасибо, мамочка. Мне еще надо написать кое-какие письма!.. Охо-хо.

С тех пор прошло несколько лет... И до настоящего дня этот проклятый двуличный мальчишка не выходил у меня из головы.

Теперь он вышел.

РАЗДВОЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

I

Встретившись утром с Натальей Сергеевной, я услышал от нее следующее:

— Забыли меня? Нечего сказать — хороши! Вероятно, новый «предмет», как говорят, кажется, военные писаря, завелся?

— Я? Забыл вас? Тебя... Наташа?

— Тссс... Без фамильярностей. Что мы делаем сегодня вечером?

— Что угодно! Хотите, отправимся в театр?

— А что там?

— Новая пьеса «Цепи любви». Интереснейшая штучка! Сюжет новый и захватывающий: молодой граф живет счаст-

ливо с женой, но это счастье обманчиво... Представь себе... гм... те!.. — представьте, говорю я, что у этого графа есть на душе грех: любовница, которую он покинул с ребенком и которая в один прекрасный день приезжает в дом, случайно, как гувернантка. Ребенка она выдает за младшую сестру, граф, конечно, догадывается, в чем дело, но не может сказать, у жены какие-то странные предчувствия... Очень интересно! Масса драматических коллизий, захватывающий лиризм некоторых мест...

— Ну, поедем.

Я обещал заехать за Натальей Сергеевной к 8 часам; в тот же день около 5 часов вечера явился на обед к Марусиной.

Обедал.

— Как вы думаете, — спросила за жарки́м Марусина. — Хорошая эта пьеса «Цепи любви»?

— А что? — осторожно прищурился я.

— Я бы хотела сегодня посмотреть ее.

— Сегодня? Хотите, лучше завтра поедем?

— Нет, именно сегодня. Только вот не знаю — интересная ли это пьеса?

— Дрянь. Страшная чепуха... Сюжет старый, как мир, и захватанный всеми горе-драматургами... Какой-то идиотский граф (конечно! Без графа подобная галиматья не обойдется...) женился, и вот он якобы счастлив, а на самом деле у него есть старая любовница с ребенком, которая является в дом под видом гувернантки... Очень жизненно, не правда ли? Ну и так далее... Весь этот вздор пересыпан глупыми коллизиями, неуместным лиризмом и залит целым морем одуряющей скуки.

— Ну, а я все-таки хочу пойти.

— Автор, как мне говорили, прегорький пьяница. Вероятно, все эти дикие «Цепи» написаны в алкоголическом бреду.

— А я все-таки пошла бы.

— Что ж, пожалуйста. Кстати, вы не подвержены грудной жабе?

— Нет. А что?

— Это удивительное помещеньице в смысле сквозняков и грудной жабы. Как будто бы архитектор именно и строил все здание с расчетом исключительно на грудную жабу.

Мы помолчали.

— Фойе неуютное... Капельдинеры грубияны.

— Вы пойдете со мной?

— К сожалению, я уже обещал одному человечку быть там. Но тем не менее в театре прошу разрешения побыть немного около вас.

— Что это за человечек еще?

— Просто одна знакомая. Напросилась, ну, сами понимаете, неловко было отказать... Согласился...

— А-а... Вот как... Новая привязанность?

Я фальшиво расхохотался.

— Вечно вы надо мной подтруниваете... Нельзя быть такой злой... Новая привязанность... Ха-ха-ха! И это говорите вы!..

— Пустите мои руки, фальшивая душа!.. Так вы не оставите меня в театре одну? ....

....

II

Когда мы ехали в театр, Наталья Сергеевна была весела и болтлива; я молчал.

— Чего вы молчите?

— Разве я молчу?

— Да вы же не сказали ни одного слова.

— Нет, сказал... целых три: «разве я молчу»?.. А теперь даже еще больше.

— Спасибо. Вы безумно щедры. Если так будет продолжаться, я прогоню вас от себя и буду сидеть одна.

— О, если бы ты, милая, это сделала... — подумал я, сочувственно пожимая самому себе холодную руку.

Первое действие уже началось, когда мы приехали и вошли в ложу. Пьесу я не смотрел, сидел молчаливый, бросая редкие взгляды в партер и отыскивая в рядах высокую фигуру в золотистом платье с пышными белокурыми волосами.

...Я вздрогнул. Марусина сидела в третьем ряду и, отвернувшись от сцены, упорно разглядывала в бинокль меня и мою соседку.

Я украдкой поклонился.

— Кому это вы там еще кланяетесь? — сухо спросила Наталья Сергеевна.

— Одна знакомая.
— Какая там еще знакомая?
— Так, деловое знакомство. Кстати, хорошо, что она здесь. Мне нужно ей слова два по делу сказать...
— Начина-ается! Какое такое еще дело?
— Продажа мельницы. Я устраиваю тут одному помещику ее мельницу на Днепре.
— Вот как? С каких это пор вы комиссионерством занялись?
— Вам не дует?
— Нет. Я спрашиваю: с каких это пор вы комиссионерством занялись?
— Миленькая, — захихикал я. — Да вы, кажется, меня ревнуете?
Она презрительно пожала плечами и замолчала.
Когда кончился акт, я поднялся и сказал:
— Вы разрешите на минутку отлучиться? Я скажу только слова два-три и вернусь.
— Пожалуйста! Можете хоть совсем не возвращаться.
— Милая! Вы... сердитесь?
— Ничего я не сержусь... За что? Я серьезно говорю: если у вас есть такое срочное дело, которое нельзя отложить даже в театре, вы не стесняйтесь... Только едва ли вежливо оставлять женщину одну в незнакомом месте, где мужчины такие нахалы.
— Господи... но ведь вы же в ложе!
— А что ему стоит взять да перелезть из соседней ложи через барьер...
— Ну хорошо... Я останусь!
— Нет, идите, идите... Мне так неловко, что я затруднила вас, заставив сопутствовать мне...
— Фи... Стыдитесь...
С тяжелым чувством спустился я в партер. Марусина очень обрадовалась.
— Здравствуйте еще раз! Вы знаете, какая прелесть: около меня есть свободное место. Хотите посидеть со мной один акт?..
— Я был бы счастлив... Но там дама...
— Да? Я видела ее. Недурна, только мажется, кажется, неимоверно. Впрочем... простите... вам, может быть, неприятно?..

— Нет, ничего. Кх... кх... Ну, как поживаете?

— Спасибо. Если бы я знала, что вы не можете покинуть вашу даму даже на минутку, я бы ни за что сюда не приехала. А у меня как раз жажда — пить очень хочется — только что ж... не буду вас затруднять.

— Пойдем! — грубо проворчал я.

— Нет, что уж... Потерплю...

— По-ойдем!

Я встал, взял ее под руку и потащил в фойе, чувствуя на своей спине раскаленный взгляд одинокой Натальи Сергеевны...

III

— Ну, как мельница? — спросила меня Наталья Сергеевна, когда я с видом побитой собаки вполз в ложу.

— Какая вы злая! Если бы вы знали, что она говорила о вас, вы не были бы такой...

— Интересно: что она могла там сказать... — скривилась Наталья Сергеевна.

— Она нашла вас очаровательной! Будь я, говорит, мужчиной — непременно бы в нее влюбилась... Эти губы, этот цвет лица... Она уверена, что я влюблен в вас, и совершенно искренно поздравляла меня с хорошим вкусом.

— Ну да... нашли красавицу! Я думаю вы наполовину выдумали.

— Ей-Богу, нет. Чего мне выдумывать...

Я неожиданно замолк и глубоко задумался.

— А что если... их познакомить сегодня? Идея во всех отношениях хорошая... Можно перетащить Марусину в нашу ложу, и мне уже не придется в антрактах носиться как угорелому из ложи в партер и обратно... Кроме того, они, вероятно, разговорятся и перестанут терзать и мучить меня своими словечками и шпильками... Кроме того, мне, конечно, предстояло провожать Наталью Сергеевну домой, а Марусина просила свезти ее в ресторан, — теперь можно обеих свезти в ресторан... А после развезти по домам на автомобиле... И кроме того, — о, черт возьми! — почему бы им и в самом деле не подружиться? Бабы, в сущности, хорошие, сердечные, если отбросить в сторону неуместную ревность и разные женские штучки...

— Вы ей так понравились, — сказал я вслух, — что она мне даже надоела просьбами: познакомить вас.

— Да? — открыла широко глаза Наталья Сергеевна... Ну что ж — если она приличная женщина — отчего же? Пригласите ее в нашу ложу.

Скрывая радость, я встал и отправился вниз к Марусиной.

— Поздравляю вас, — сказал я. — Вы произвели на мою даму ошеломляющее впечатление... Она все допытывалась: кто эта красавица, с которой я выходил в фойе? Утверждает, что я влюблен в вас до безумия.

— Она мне тоже нравится. У нее в глазах есть что-то симпатичное.

— Конечно, конечно! Она ко мне все приставала, чтобы я познакомил ее с вами. Просто влюблена в вас.

— Да? Я с удовольствием познакомлюсь с ней.

— Прекрасно! Какая вы милая... Пойдемте в нашу ложу.

Она удивленно взглянула на меня.

— Как... в нашу ложу?.. Но я думала, что она спустится сюда.

— Зачем? Будем втроем сидеть в ложе.

— После — пожалуй. Но сейчас, если ей хочется познакомиться, — пусть она сюда и придет. Неудобно же мне тащиться в ложу к незнакомой женщине...

Я потоптался на месте и сказал:

— Ну ладно. Пойду приведу ее сюда.

IV

Я не думал, что дело так осложнится: Наталья Сергеевна наотрез отказалась спуститься в партер.

— Если ей так хочется познакомиться — пусть придет сюда.

— Да она стесняется! Говорит: ваша дама такая ослепительная, что мне даже страшно.

— Ну, а я к ней тоже не пойду!

— Обождите, — с наружной жизнерадостностью сказал я. — Одна минута — и все будет устроено. Пустяки!

Я побежал вниз.

— Она боится показаться вам навязчивой и стесняется прийти сюда. Отчего бы вам не зайти в нашу ложу?

— Глупости! С какой, стати?.. Посидите лучше со мной этот акт... если, конечно, я вам не безразлична...

Я взглянул на нашу ложу. Женская рука делала мне оттуда какие-то знаки.

Я напряженно засмеялся.

— Ну ладно... Тогда вот что: выходите в фойе, а я приведу туда свою даму... На нейтральной, так сказать, почве!

— Это другое дело! Ну, проводите меня.

Я привел ее в фойе, посадил на диван и хотел помчаться в ложу, но был остановлен.

— Позвольте... Как же вы меня оставляете одну, в фойе. Это неудобно.

— А... как же я приведу свою даму?

— Ну... можно послать за ней кого-нибудь...

— Помилуйте, это неудобно... Она светская женщина...

Марусина сухо сказала:

— Я тоже светская женщина. Впрочем, делайте как знаете. Все равно сегодняшний вечер уже испорчен...

Через минуту я уже был в ложе.

— Хотите прогуляться в фойе? — простодушно спросил я.

— Надо было предложить это раньше, — сумрачно проворчала Наталья Сергеевна. — Впрочем, пойдем...

Я привел ее в фойе, сделал полкруга, наткнулся, как будто нечаянно, на сидевшую на диване Марусину и воскликнул:

— Вот как кстати! Позвольте, господа, познакомить вас: Наталья Сергеевна Боровитина — Елена Ивановна Марусина.

Дамы подали друг другу руки, а я, усталый, в изнеможении, оперся о косяк двери и затих...

— Нравится вам пьеса? — спросила Марусина.

— Не особенно. А вам?

— Так себе. Длинноватая...

«Слава Богу, — подумал я. — Наладилась, завертелась мельница!»

Вслух попросил:

— Разрешите мне, пожалуйста, пойти в буфет, выкурить папиросу.

— А кто же... отведет меня на место?

— Не желаете ли в нашу ложу сесть? — любезно предложила Наталья Сергеевна.

— Молодец баба! — подумал я. — Умница. Недаром я тебя так люблю...

— Спасибо... Если вас не стеснит...

Я потихоньку убежал в курительную.

V

Шел последний акт...

— Куда бы нам, mesdames, отправиться после спектакля поужинать? — несмело предложил я.

— К Контану, — сказала Марусина.

— Если вы, дорогая Елена Ивановна, ничего не имеете — я бы предложила Донона. Там лучше кормят.

— О, мне все равно. Только у Контана прекрасный оркестр. Я предлагаю к Контану.

— К Контану так к Контану. Только я так привыкла к Донону... Отправимся лучше туда.

— Хорошо. Можно к Донону. Только Контан, по-моему, лучше. Если ехать — так к Контану.

В это время кончился спектакль.

— Я раздевалась внизу, — сказала Марусина. — Не проводите ли вы меня?

— А как же я? — спросила Наталья Сергеевна. — Впрочем, конечно, если вам удобнее проводить Елену Ивановну...

— Нет, что вы, — сказал я с нервной дрожью в голосе. — Мне все равно.

— Все равно? — тонко улыбнулась Марусина. — Тогда, конечно, принесите раньше платье Натальи Сергеевны. Не беспокойтесь... Я сама отыщу свое...

— Я не допущу этого! — горячо воскликнул я. — Я сейчас провожу вас вниз...

— Кажется, уже поздно, — мило улыбнулась Наталья Сергеевна. — В ресторан не стоит ехать. Не правда ли? Я поеду домой. Надеюсь, вы меня проводите, милый друг?.. Вы меня так часто сегодня покидали, что теперь, надеюсь, не покинете.

Я растянул лицо в беззаботную улыбку и весело сказал:

— Сейчас! Сейчас все это будет сделано. Не беспокойтесь! Одну минутку... Только одна минутка — и готово.

Я оставил их в ложе вдвоем. Выбежал... Отыскал свободного капельдинера, сунул ему в руку пять рублей и сказал:

— Пойди в ложу номер третий. Там две барыни. Скажи им, что я сейчас шел по коридору, а меня схватили два агента сыскной полиции и, несмотря на сопротивление,

куда-то потащили. Вырази надежду, что это недоразумение, которое дня через три разъяснится, что меня, вероятно, смешали с кем-то другим. Не забудь сказать, что я очень сопротивлялся, отбивался...

Отыскав свое пальто, я оделся и уехал.

Сидел весь вечер в скромном ресторанчике, попивая вино, — и никогда мне не было так хорошо, тихо, светло и радостно...

Вообще, я люблю одиночество.

ЧАД

План у меня был такой: зайти в близлежащий ресторан, наскоро позавтракать, после завтрака прогуляться с полчаса по улице, потом поехать домой и до обеда засесть за работу. Кроме того, за час до обеда принять ванну, вздремнуть немного, а вечером поехать к другу, который в этот день праздновал какой-то свой юбилей. От друга постараться вернуться пораньше, чтобы выспаться как следует и на другое утро со свежими силами засесть за работу.

Так я и начал: забежал в маленький ресторан и, не снимая пальто, подошел к буфетной стойке.

Сзади меня послышался голос:

— Освежиться? На скорую руку?

Оглянувшись, я увидел моего юбилейного друга, сидевшего в углу за столиком в компании с театральным рецензентом Буйносовым.

Все мы обрадовались чрезвычайно.

— Я тоже зашел на минутку, — сообщил юбилейный друг. — И вот столкнулся с этим буйносным человеком. Садись с нами. Сейчас хорошо по рюмке хватить.

— Можно не снимая пальто?..

— Пожалуйста!

Юбиляр налил три рюмки водки, но Буйносов схватил его за руку и решительно заявил:

— Мне не наливай. Мне еще рецензию на завтра писать нужно.

— Да выпей! Какая там еще рецензия...

— Нет, братцы, не могу. Мне вообще пить запретили. С почками неладно.

— Глупости, — сказал я, закусывая первую рюмку икрой. — Какие там еще почки?

— Молодец, Сережа! — похвалил меня юбилейный друг. — За что я тебя люблю: за то, что никогда ты от рюмки не откажешься.

Именно я и хотел отказаться от второй рюмки. Но друг с таким категорическим видом налил нам по второй, что я безропотно чокнулся и влил в себя вторую рюмку.

И сейчас же мне чрезвычайно захотелось, чтобы и Буйносов тоже выпил.

— Да выпей! — умоляюще протянул я. — Ну, что тебе стоит? Ведь это свинство: мы пьем, а ты не пьешь!

— Почему же свинство? У меня почки...

— А у нас нет почек? А у юбиляра нет почек? У всякого человека есть почки. Это уж, брат, свыше...

— Ну, я только одну...

— Не извиняйся! Можешь и две выпить.

Буйносов выпил первую, а мы по третьей.

Я обернулся направо и увидел свое лицо в зеркале. Внимательно всмотрелся и радостно подумал: «Какой я красивый!»

Волна большой радости залила мое сердце. Я почувствовал себя молодым, сильным, любимым друзьями и женщинами — и безудержная удаль и нежность к людям проснулась в душе моей.

Я ласково взглянул на юбиляра и сказал:

— Я хочу выпить за тебя. Чтобы ты дождался еще одного юбилея и чтобы мы были и тогда молоды так же, как теперь.

— Браво! Спасибо, милый. Выпьем. Спасибо, Буйнос! Пей — не хами.

— Я не хам... хамлю, — осторожно произнес странное слово Буйносов. — А только мне нельзя. Рецензию нужно писать со свежей головой.

— Вздор! После напишешь.

— Когда же после... Ведь ее в четверть часа не напишешь.

— Ты?! — с радостным изумлением воскликнул юбилейный друг. — Да ты в десять минут отхватаешь такую рецензию, что все охнут!

— Где там... — просиял сконфуженный Буйносов и, чтобы отплатить другу любезностью за любезность, выпил вторую рюмку.

— Ай да мы! Вот ты смотри: скромненький, скромненький, а ведь он потихонечку нас за пояс заткнет...

— А вы что же думали, — засмеялся Буйносов. — И заткну. Эх, пивали мы в прежнее время! Чертям тошно было! Э-э!.. Сережа, Сережа! А ты почему же свою не выпил?

— Я... сейчас, — смутился я, будто бы меня поймали на краже носового платка. — Дай ветчину прожевать.

— Не хами, Сережа, — сказал юбилейный друг. — Не задерживай чарки.

Я вспомнил о своей работе.

— Мне бы домой нужно... Дельце одно.

К моему удивлению, возмутился Буйносов:

— Какое там еще дельце? Вздор — дельце! А у меня дела нет?! А юбиляру на вечере хлопот мало? Посидим минутку. Черт с ним, с дельцем.

«А действительно, — подумал я, любуясь в зеркало на свои блестящие глаза. — Черт с ним, с дельцем!..»

Вслух сказал:

— Так я пальто сниму, что ли. А то жарко.

— Вот! Молодец! Хорошо, что не хамишь. Снимай пальто!

— ...И пива я бы кружку выпил...

— Вот! Так. Освежиться нужно.

Мы выпили по кружке пива и разнеженно посмотрели друг на друга.

— Сережа... милый... — сказал Буйносов. — Я так вас двух люблю, что черт с ней, с рецензией. Сережа! Стой! Я хочу выпить с тобой на «ты».

— Да ведь мы и так на «ты»! — засмеялся я.

— Э, черт. Действительно. Ну, давай на «вы» выпьем.

Затея показалась такой забавной, что мы решили привести ее в исполнение.

— Графинчик водки! — крикнул Буйносов.

— Водку? — удивился я. — После пива?

— Это освежает. Освежимся!

— Неужели водка освежить может? — удивился я.

— Еще как! Об этом даже где-то писали... Сгорание углерода и желтков... Не помню.

— Обедать будете? — спросил слуга.

— Как? Разве уже... обед?..

— Да-с. Семь часов.

Я вспомнил, что потерял уже свою работу, небольшой сон и ванну. Сердце мое сжалось, но сейчас же я успокоился, вспомнив, что и Буйносов пропустил срочную рецензию. Никогда я не чувствовал так остро справедливости пословицы: «На миру и смерть красна».

— Семь часов?! — всплеснул руками юбиляр. — Черт возьми! А мой юбилей?

Буйносов сказал:

— Ну куда тебе спешить? Времени еще вагон. Посидим! Черт с ней, с рецензией.

— Да, брат... — поддержал и я. — Ты посиди с нами. На юбилей еще успеешь.

— Мне распорядиться нужно...

— Распорядись! Скажи, чтобы дали нам сейчас обед и белого винца.

Юбиляр подмигнул:

— Вот! Идея... Освежает!

Лицо его неожиданно засияло ласковой улыбкой.

— Люблю молодцов. Люблю, когда не хамят.

Когда нам подали кофе и ликер, я бросил косой взгляд на Буйносова и сказал юбиляру:

— Слушай! Плюнь ты на сегодняшний юбилей. Ведь это пошлятина: соберутся идиоты, будут говорить тривиальности. Не надо! Посиди с нами. Жена твоя и одна управится.

— Да как же: юбилей, а юбиляра нет.

Буйносов задергался, заерзал на своем месте, засуетился:

— Это хорошо! Это-то и оригинально! Жизнь однообразна! Юбилеи однообразны! А это свежо, это молодо: юбилей идет своим чередом, а юбиляра нет. Где юбиляр? Да он променял общество тупиц на двух друзей... которые его искренне любят.

— Поцелуемся! — вскричал воодушевленно юбиляр. — Верно! Вот. Будем освежаться бенедиктином.

— Вот это яркий человек! Вот это порыв, — воодушевился Буйносов. — В тебе есть что-то такое... большое, оригинальное. Правда, Сережа?

— Да... У него так мило выходит, когда он говорит: «Не хами!»

— Не хамите! — с готовностью сказал юбиляр. — Сейчас бы кюрасо был к месту.

— Почему?

— Освежает.

Я уже понимал всю беспочвенность и иллюзорность этого слова, но в нем было столько уюта, столько оправдания каждой новой рюмке, каждой перемене напитка, что кюрасо был признан единственным могущим освежить нас напитком...

....

— Извините, господа, сейчас гасим свет... Ресторан закрывается.

— Вздор! — сказал бывший юбиляр. — Не хами!

— Извините-с. Я сейчас счет подам.

— Ну, дай нам бутылку вина.

— Не могу-с. Буфет закрыт.

Буйносов поднял голову и воскликнул:

— Ах, черт! А мне ведь сегодня вечером нужно было в театр на премьеру...

— Завтра пойдешь. Ну, господа... Куда же мы? Теперь бы нужно освежиться.

В мою затуманенную голову давно уже просачивалась мысль, что лучше всего — поехать домой и хоть отчасти выспаться.

Мы уже стояли на улице, осыпаемые липким снегом, и вопросительно поглядывали друг на друга.

Есть во всякой подвыпившей компании такой психологический момент, когда все смертельно надоедают друг другу и каждый жаждет уйти, убежать от пьяных друзей, приехать домой, принять ванну, очиститься от ресторанной пьяной грязи, от табачной копоти, переодеться и лечь в чистую, свежую постель, под толстое уютное одеяло... Но обыкновенно такой момент всеми упускается. Каждый думает, что его уход смертельно оскорбит, обездолит других, и поэтому все топчутся на месте, не зная, что еще устроить, какой еще предпринять шаг в глухую темную полночь.

Мы выжидательно обернули друг к другу усталые, истомленные попойкой лица.

— Пойдем ко мне, — неожиданно для себя предложил я. — У меня еще есть дома ликер и вино. Слугу можно заставить сварить кофе.

— Освежиться? — спросил юбиляр.

«Как попугай заладил, — с отвращением подумал я. — Хоть бы вы все сейчас провалились — ни капельки бы

не огорчился. Все вы виноваты... Не встреть я вас — все было бы хорошо, и я сейчас бы уже спал».

Единственное, что меня утешало, это — что Буйносов не написал рецензии, не попал на премьеру в театр, а юбиляр пропьянствовал свой юбилей.

— Ну, освежаться так освежаться, — со вздохом сказал юбиляр (ему, кажется, очень не хотелось идти ко мне), — к тебе так к тебе.

Мы повернули назад и побрели. Буйносов молча, безропотно шел за нами и тяжело сопел. Идти предстояло далеко, а извозчиков не было. Юбиляр шатался от усталости, но тем не менее в одном подходящем случае показал веселость своего нрава; именно разбудил дремавшего ночного сторожа, погрозил ему пальцем, сказал знаменитое: «Не хами!» — и с хохотом побежал за нами...

— Вот дурак, — шепнул я Буйносову. — Как так можно свой юбилей пропустить?

— Да уж... Не дал Господь умишка человеку.

«А тебе, — подумал я, — влетит завтра от редактора... Покажет он, как рецензии не писать. Будет тебе здорово за то, что я пропустил сегодняшнюю работу и испортил завтрашнее утречко» ....

....

Я долго возился в передней, пока зажег электричество и разбудил слугу. Буйносов опрокинул и разбил какую-то вазу, а юбиляр предупредил слугу, чтобы он вообще не хамил.

Было смертельно скучно и как-то особенно сонно... противно. Заварили кофе, но он пах мылом, а я, кроме того, залил пиджак ликером. Руки сделались липкими, но идти умыться было лень.

Юбиляр сейчас же заснул на новом плюшевом диване. Я надеялся, что Буйносов последует его примеру (это развязало бы, по крайней мере, мне руки), но Буйносов сидел запрокинув голову и молчаливо рассматривал потолок.

— Может, спать хочешь? — спросил я.

— Хочу, но удерживаюсь.

— Почему?

— Что же я за дурак: пил-пил, а теперь вдруг засну — хмель-то весь и выйдет. Лучше уж я посижу.

И он остался сидеть, неподвижный, как китайский идол, как сосуд, хранящий в себе драгоценную влагу, ни одна капля которой не должна быть потеряна.

— Ну, а я пойду спать, — сухо проворчал я.

Проснулись поздно.

Все смотрели друг на друга с еле скрываемым презрением, ненавистью, отвращением.

— Здорово вчера дрызнули, — сказал Буйносов, из которого уже, вероятно, улетучилась вся драгоценная влага.

— Сейчас бы хорошо освежиться!

Я сделал мину любезного хозяина, послал за закуской и вином. Уселись трое с помятыми лицами...

Ели лениво, неохотно, устало.

«Как они не понимают, что нужно сейчас же встать, уйти и не встречаться! Не встречаться, по крайней мере, дня три!!!»

По их лицам я видел, что они думают то же самое, но ничего нельзя было поделать: вино спаяло всех троих самым непостижимым, самым отвратительным образом...

САЗОНОВ

I

Рукавов собирался пить чай.

Он налил стакан, посмотрел его на свет и неодобрительно поджал губы.

— Чаишко-то, кажется, мутноватый... Ох уж эти меблированные комнаты! Ох уж эта холостая жизнь!

Дверь скрипнула. Рукавов оглянулся и увидел прижавшегося к притолоке и молча на него смотревшего Заклятьина.

— А, здравствуйте! — равнодушно сказал Рукавов. — Вот приятный визит. Входите... Ну, как дома? Все благополучно? Чаю хотите?

Заклятьин отделился от притолоки и сделал шаг вперед.

— Я пришел только сказать вам, Рукавов, — держась рукой за сердце, сказал Заклятьин, — что людей, подобных вам, нужно убивать без милосердия, как бешеных собак. И, клянусь, я убью вас!

Рукавов отставил налитый стакан. Брови его были нахмурены.

— Слушайте, Заклятьин... Я не знаю, на чем вы там помешались и каким вздором сейчас наполнена ваша голова... Но об одном прошу вас: обдумывайте, что говорите! Даже в пылу гнева. Есть такие слова, о которых потом жалеешь всю жизнь. Садитесь. Что случилось?

— Рукавов! Вы меня поражаете!

— Чем? Наоборот, вы меня поражаете. Хотите чаю?

— Рукавов! Берегитесь!

Рукавов улыбнулся.

— Хорошо. Только скажите: от чего. Тогда, может быть, я и буду беречься.

Заклятьин скривил лицо и, взявшись руками за спинку стула, внятно отчеканил:

— Я узнал, что вы находитесь в связи с моей женой, Надеждой Петровной.

— Есть ложь смешная, есть ужасная, есть глупая. То, что вы, Заклятьин, говорите, — ложь третьей категории.

Рукавов снова взялся за свой стакан и, размешивая сахар, бросил холодный взгляд на бледное, искаженное злостью лицо Заклятьина.

— Это не ложь! Когда я уезжал в Москву, вас видели однажды выходящим от моей жены в восемь часов утра.

— И это все? — сурово спросил Рукавов. — Стыдитесь! Извольте, я скажу вам: да, в восемь часов утра выходил от вас, но вошел я к вам в восемь без четверти. Просто забыл накануне вечером свою палку и зашел за ней. Уверен, что Надежда Петровна спала в это время сном праведницы.

— Знаете ли вы, — злобно прошипел Заклятьин, — что я нашел у нее в столе записку от вас, правда, прямых указаний не дающую, но вы там называете мою жену на ты!

Рукавов пожал плечами:

— Какой же в этом ужас? Просто как-то в шаловливом настроении я назвал ее «ты» и теперь постоянно дразню ее этим. Мне было забавно, как она сердится.

— Рукавов! — потупившись, тихо сказал Заклятьин. — Сегодня жена сама сказала мне, что вы ее любовник.

Рукавов поднял одну бровь.

— Вы... можете поклясться в этом?

— Даю вам мое честное слово.

— Ох, эти женщины, — усмехнулся Рукавов, качая головой. — Никогда не знаешь, как с ними держаться... Впрочем, вы не подумайте, что я отрицал давеча все только потому, что боялся вас. А просто не в моих правилах разглагольствовать о своих победах.

— Еще бы, — угрюмо сказал Заклятьин. — Это так понятно! И тем не менее еще раз повторяю: берегитесь! Я убью вас.

Рукавов пожевал губами.

— Можно вам задать вопрос, но только совершенно серьезно? И вы отвечайте так же.

— Да.

— За что вы хотите меня убить?

— Вы разбили мою жизнь. Все мое счастье было в этой женщине — вы отняли ее!

Рукавов погрузился в задумчивость.

— Вот что, Заклятьин... Я вам сейчас возражу, но не потому, что желаю сохранить свою жизнь... Я понимаю — слишком глупо для меня было бы плакать и восклицать, прячась за стол: ах, не убивайте меня, ах, пощадите меня!.. В конце концов, жизнь — не такое уж важное кушанье. И на помощь я звать не буду... и из комнаты не выйду. Можете убить меня во всякую минуту. И тем не менее еще раз спрашиваю: чем я виноват?

— Вы обманули меня. Вы отняли у меня жену.

Голос Заклятьина звучал торжественно и громко.

— Я жену вашу не отнимал. Она сошлась со мной по своей воле.

— Если бы не вы — мы были бы с ней по-прежнему счастливы.

— А какая у вас гарантия — что не явился бы другой?

— Рукавов! Вы ее оскорбляете!

— Чем? Что вы, помилуйте... И в мыслях не имел. Только смотрите: мы оба рискуем стать в смешное положение. Говоря о другом любовнике, я хочу подчеркнуть, что я — человек не блещущий никакими талантами и красотой, что я — самый заурядный человек. Не начнете же вы сейчас опровергать меня, доказывая, что я человек особенный, ошеломляющий, человек такого сорта, перед которым женщина устоять не может! Человеку, которого хотят убить, не говорят комплиментов!..

— Хорошо! — поморщась, перебил его муж. — Допустим, что вы самый ординарный человек. Что же из этого следует?

— А то, что ординарных людей тысячи. Не будете же вы всех их убивать.

— Не буду. Но они ведь и не любовники жены.

— Если один ординарный человек — любовник, то почему и другой не мог быть любовником? Лотерея!

— В которой муж всегда проигрывает, — громко усмехнулся Заклятьин.

— Утешьтесь! Если я женюсь — я тоже проиграю.

— А вдруг не проиграете? Ведь это цинизм — так думать! Неужели не может быть семьи без измены?

Рукавов встал, протянул вперед руку и взволнованно и быстро заговорил:

— Нет! Прочной любви нет. Верности нет. Опровергайте меня примерами! Скажите мне: «Жена Петрова всю жизнь была верна мужу! Жена Сидорова так и умерла, храня супружескую верность!» Сотни таких случаев есть... тысячи! Верно! Но они моих слов не опровергают. Добавьте даже, что за женами Петрова и Сидорова волочились безуспешно десятки поклонников, что красавец Иванов предлагал этим верным женам все свое состояние, умница Карпов доказывал нелепость верности, вельможа Григорьев тщетно ослеплял этих жен своим могуществом и великолепием... Заклятьин! Слушайте меня, я вам скажу: это все пустяки... А Сазонова-то ведь и не было!

— Какого... Сазонова? — машинально спросил Заклятьин.

— Сазонова! Это я сейчас его выдумал, но Сазонов существует, и живет он, негодяй, в каждом городе: в Харькове, Одессе, Киеве, Новочеркасске!..

— Какой Сазонов?

— Вот какой: в Москве живут муж и жена Васильевы. Сорок лет прожили они душа в душу, свято блюдя супружескую верность, любя друг друга. И вот, несмотря на это, Заклятьин, вы не имеете права сказать: «Ах, это была идеально верная жена — мадам Васильева! За ней ухаживали десятки красавцев, а она все-таки осталась верна своему мужу...» — «Почему она осталась верна? — спрошу я вас. — Не потому ли, что сердце ее абсолютно не было способно на измену?» Нет! Нет, Заклятьин! Просто — потому что Сазонов сидел в это время в Новочеркасске. Стоило ему

только приехать в Москву, стоило случайно встретиться с семьей Васильевых — и все счастье мужа полетело бы к черту, развеялось бы, как одуванчик от ветерка. Так можно ли серьезно толковать о верности лучшей из женщин, если она, верность эта, зависит только от приезда Сазонова из Новочеркасска?

— Но в таком случае, — нахмурился Заклятьин, — мы возвращаемся к тому, с чего я начал: Сазоновых этих нужно убивать, как бешеных собак!

— Берегитесь! Вас тоже должны будут убить.

— Меня? За что?

— Потому что вы тоже — Сазонов для какой-нибудь женщины, живущей в Курске или Обояни. Может быть, вы никогда и не встретитесь с ней — тем лучше для ее мужа! Но вы — Сазонов.

II

Заклятьин оперся локтями о стол, положил голову на руки и застонал:

— Где же выход? Где выход?!

— Успокойтесь, — участливо сказал Рукавов, гладя его по плечу. — Хотите чаю?

— Боже мой! Как вы можете говорить так хладнокровно?..

— Да ведь чай-то пить все равно нужно, — улыбнулся Рукавов. — Он был мутноватый, но теперь отстоялся. Я вам налью, а?

— Ах ты, Господи... Ну, давайте!!

— Вам два куска сахару? Три?

— Три.

— Крепкий любите?

— Рукавов! Где же выход?

— У вас же был выход, — тихо усмехнулся Рукавов. — Когда вы пришли давеча, помните. Хотели убить меня, как бешеную собаку.

— Нет, — серьезно сказал Заклятьин. — Я вас убивать не буду. Она больше виновата, чем вы.

— И она не виновата... Слабые, хрупкие, глупые, безвольные женщины! Мне их иногда до слез жалко... Привяжется сердцем такая к одному человеку, уж на подвиг готова, на самозаклание. И своего, задушевного — ничего нет. Все

от него идет, — все ее мысли, стремления, все от Сазонова. Все с его барского плеча. Охо-хо!..

Заклятьин выпил свой чай, прошелся раза два по комнате и, круто повернувшись к дивану, упал ничком на него.

— Рукавов, — проскрежетал он. — Я страдаю. Научите, что мне делать!

Рукавов подсел к нему, одной рукой обнял его плечи, а другой — стал ласково, как ребенка, гладить по коротко остриженной голове.

— Бедный вы мой... Ну, успокойтесь. Делать вам ничего не нужно. Жену я у вас заберу, потому что, если бы даже она и осталась у вас, то какая же это будет жизнь? Одно мученье. Вы будете мучить ее ревностью, она вас — ненавидеть... Что хорошего? Постарайтесь развлечься, встречайтесь с другими женщинами, увлекайтесь ими. Вы человек неглупый, интересный... Гораздо интереснее меня — клянусь вам, что говорю это совершенно серьезно... Всего-то моего и преимущества перед нами, что я — Сазонов, которого угораздило приехать из Новочеркасска. Лежите смирненько, милый. Ну вот. Встретите вы еще хорошую, душевную женщину, которая приголубит вас по-настоящему...

Плечи Заклятьина судорожно передернулись.

— Я Надю никогда не забуду.

— Ничего-о, миленький... забудете, — мягко, простодушно протянул Рукавов. — Это сейчас, когда чувствуется вся острота обиды и разочарования, кажется, что горе такое уж большое, такое безысходное... А там обойдется, дальше-то. Ну, конечно, если уж вам под сердце тоска и злость подкатит до того, что будет нестерпимо, ну — убейте меня. Только что ж... Если хорошенько вдуматься — ведь это не поможет, не имеет никакого смысла... Злости против меня у вас нет, а раз нет злости — не нужно и преступление...

Сумерки обволакивали комнату.

В тихом воздухе долго звучали тихие слова:

— Не плачьте, миленький. Вы большой, взрослый мужчина — нехорошо. Это только женщина может убиваться до смерти, стенать, теряя любимого человека, — потому что у женщины ничего другого, кроме жизни сердца, не имеется. А мы, мужчины, — творцы красоты жизни, творцы ее смысла — должны считать свои сердечные раны такими же царапинами, как и те, которыми награждает нас судьба

в других случаях. Удержите ваше сердце от терзаний — мужчина должен уметь сделать это. Попробуйте пить даже первое время, попробуйте наскандалить как-нибудь поудивительнее, чтобы это перебросило вас в другую колею. И не смотрите на весь мир так, как будто он — неловкий слуга, не сумевший услужить вам и поэтому достойный презрения и проклятий. Используйте его получше и умирайте попозже. Через год вы забудете все ваше несчастье наполовину, через пять лет — совсем, а к старости и имени-то вашей бывшей жены не вспомните... Так стоит ли из-за этого терзаться? Вы хотели убить меня... Не беспокойтесь, умру и так, своею смертью, и она умрет, и вы... Все умрем... И даже могилки наши одинокие исчезнут с лица земли — новая жизнь пронесется над ними, — и ни одна душа не будет знать о трех людях, о трех незначительных букашках, которые когда-то волновались, любили и страдали...

Рукавов говорил странные, сбивчивые, мало выражавшие его мысли слова, но тон их был мягок, ласков и любовен; печальные слова плыли по комнате и смешивались с печальными сумерками.

Заклятьин полежал еще немного с закрытыми глазами, потом вздохнул, встал с дивана, обнял Рукавова, поцеловал его и, нашарив к темноте шляпу, ушел.

КУРИЛЬЩИКИ ОПИУМА

I

В комнате происходил разговор.

— У нас с тобой нет ни копейки денег, есть нечего и за квартиру не заплачено за два месяца.

Я сказал:

— Да.

— Мы вчера не ужинали, сегодня не пили утреннего чая и впереди нам не предстоит ничего хорошего.

Я подтвердил и это.

Андерс погладил себя по небритой щеке и сказал:

— А между тем есть способ жить припеваючи. Только противно.

— Убийство?

— Нет.

— Работа?

— Не совсем. Впрочем, это противно, как ежедневное занятие... А один день для курьеза попробуем... А?

— Попробуем. Что нужно делать?

— Пустяки. То же, что и я. Одевайся, пойдем на воздух.

— Хозяин остановит.

— Пусть!

Когда мы вышли из комнаты и зашагали по коридору, я старался прошмыгнуть незаметно, не делая шуму, а Андерс, наоборот, бесстрашно ступал ногами, как лошадь.

В конце длиннейшего коридора нас нагнала юркая горничная.

— Господин Андерс, хозяин Григорий Григорьич очень просят вас зайти сейчас к ним.

— Свершилось! — прошептал я, прислонясь к стене.

— А-а... Очень кстати. С удовольствием. Пойдем, дружище.

Отвратительный старикашка, владелец меблированных комнат, помешанный на чистоте и тишине, встретил нас холодно:

— Извините, господа. По делу. Вероятно, в душе думаете: «Зачем мы понадобились этой старой скотине?»

Андерс укоризненно покачал головой и хладнокровно сказал:

— Мы все равно собирались сегодня зайти к вам.

В глазах старика сверкнула радость.

— Ну? Правда? В самом деле?

— Да... хотели вас искренно и горячо поблагодарить. Вы знаете, мне приходилось живать во многих меблированных комнатах, иногда очень дорогих и роскошных — но такой тишины, такой чистоты и порядка, я буду говорить откровенно: нигде не видел! Я каждый день спрашиваю его (Андерс указал на меня) — откуда Григорий Григорьич берет время вести такое громадное сложное предприятие?..

— Он меня, действительно, спрашивал, — подтвердил я. — А я ему, помнится, отвечал: «Не постигаю. Тут какое-то колдовство!»

— Да, — сказал старик с самодовольным хохотом. — Трудно соблюдать чистоту, тишину и порядок.

— Но вы их соблюдаете идеально!! — горячо воскричал Андерс. — Откуда такой такт, такое чутье!.. Помню, у вас

в прошлом году жил один пьяница и один самоубийца. Что ж они, спрашивается, посмели нарушить тишину и порядок? Нет! Пьяница, когда его привозили друзья, не издавал ни одного звука, потому что был смертельно пьян, и, брошенный на постель, сейчас же бесшумно засыпал... А самоубийца — помните? — взял себе, потихоньку повесился и висел терпеливо, без криков и воплей, пока о нем не вспомнили на другой день.

— А ревнивые супруги! — подхватил я. — Помнишь их, Андерс? Когда она застала мужа с горничной — что было? Где крики? Где ссора и скандал? Ни звука? Просто взяла она горничную и с мягкой улыбкой выбросила в открытое окно. Правда, та сломала себе ногу, но...

— ...Но ведь это было на улице, — ревниво подхватил старикашка. — То, что на улице, к моему меблированному дому не относится...

— Конечно!! При чем вы тут? Мало ли кому придет охота ломать на улице ноги — касается это вас? Нет!

— Да... много вам нужно силы воли и твердости, чтобы вести так дело! Эта складочка у вас между бровями, характеризующая твердость и непреклонную волю...

— Вы, вероятно, в молодости были очень красивы?

— Да и теперь еще... — подмигнул Андерс. — Ой-ой!.. Если был бы я женат, подальше прятал бы от вас свою же... Ой, заболтались с вами! Извиняюсь, что отнял время. Пойдем, товарищ. Еще раз, дорогой Григорий Григорьич, приносим от имени всех квартирантов самые искренние, горячие... Пойдем!..

Повеселевший старик проводил нас, приветственно размахивая дряхлыми руками. В коридоре нам опять встретилась горничная.

— Надя! — остановил ее Андерс. — Я хочу спросить у вас одну вещь. Скажите, что это за офицер был у вас вчера в гостях... Я видел — он выходил от вас...

Надя весело засмеялась.

— Это мой жених. Только он не офицер, а писарь... военный писарь... в штабе служит.

— Шутите! Совсем, как офицер! И какой красавец... умное такое лицо... Вот что, Надичка... Дайте-ка нам на рубль мелочи. Извозчики, знаете... То да другое.

— Есть ли? — озабоченно сказала Надя, шаря в кармане. — Есть. Вот! А вы заметили, какие у него щеки? Розовые-розовые...

— Чудесные щеки! Прямо нечто изумительное. Пойдем.

Когда мы выходили из дому, я остановился около сидевшего у дверей за газетой швейцара и сказал:

— А вы все политикой занимаетесь? Как приятно видеть умного, интеллиг...

— Пойдем, — сказал Андерс. — Тут не надо... Не стоит...

— Не стоит, так не стоит.

Я круто повернулся и покорно зашагал за Андерсом.

II

Прямо на нас шел худой, изношенный жизнью человек с согнутой спиной, впалой грудью и такой походкой, что каждая нога, поставленная на землю, долго колебалась в колене и ходила во все стороны, пока не успокаивалась и не давала место другой, неуверенной в себе, ноге. Тащился он наподобие кузнечика с переломанными ногами.

— А! — вскричал Андерс. — Коля Магнатов! Познакомьтесь... Где вчера были, Коля?

— На борьбе был, — отвечал полуразрушенный Коля. — Как обыкновенно. Ах, если бы вы видели, Андерс, как Хабибула боролся со шведом Аренстремом. Хабибула тяжеловес, гиревик, а тот, стройный, изящный...

— А вы сами, Коля, боретесь? — серьезно спросил Андерс.

— Я? Где мне? Я ведь не особенно сильный.

— Ну да... не особенно! Такие-то, как вы, сухие, нервные, жилистые и обладают нечеловеческой силой... как ваш гриф? А ну, сожмите мою руку.

Изможденный Коля взял Андерсову руку, натужился, выпучил глаза и прохрипел:

— Ну что?

— Ой!! Пустите!.. — с болезненным стоном вскричал Андерс. — Вот дьявол... как железо!.. Вот свяжись с таким чертом... Он те покажет! Вся рука затекла.

Андерс стал приплясывать от боли, размахивая рукой, а я дотронулся до впалой груди Коли и спросил:

— Вы гимнастикой занимаетесь с детства?

— Знайте же! — торжествующе захихикал Коля. — Что я гимнастикой не занимался никогда...

— Но это не может быть! — изумился я. — Наверное, когда-нибудь занимались физическим трудом?..

— Никогда!

— Не может быть. Вспомните!

— Однажды действительно лет семь тому назад я для забавы копал грядки на огороде.

— Вот оно! — вскричал Андерс. — Ишь хитрец! То — грядки, а то — смотришь еще что-нибудь... Вот они скромники! Интересно бы посмотреть вашу мускулатуру поближе...

— А что, господа, — сказал Коля. — Вы еще не завтракали?

— Нет.

— В таком случае я приглашаю вас, Андерс, и вашего симпатичного товарища позавтракать. Тут есть недурной ресторан близко... Возьмем кабинет, я разденусь... Гм... Кое-какие мускулишки у меня-то есть...

— Мы сейчас без денег, — заявил я прямолинейно.

— О, какие пустяки. Я вчера только получил из имения... Дурные деньги. Право, пойдем...

В кабинете Коля сразу распорядился относительно вин, закуски и завтрака, а потом закрыл дверь и обнажил свой торс до пояса.

— Так я и думал, — сказал Андерс. — Сложение сухое, но страшно мускулистое и гибкое. Мало тренирован, но при хорошей тренировке получится такой дядя...

Он указал мне на какой-то прыщик у сгиба Колиной руки и сказал:

— Бицепс. Здоровый, черт!

III

Из ресторана мы выбрались около восьми часов вечера.

— Голова кружится... — пожаловался Андерс. — Поедем в театр. Это идея! Извозчик!!

Мы сели и поехали. Оба были задумчивы. Извозчик плелся ленивым, скверным шагом.

— Смотри, какая прекрасная лошадь, — сказал Андерс. — Такая лошадь может мчаться как вихрь. Это извозчик еще не разошелся, а сейчас он разойдется и покажет нам, какая-такая быстрая езда бывает. Прямо — лихач!

Действительно, извозчик, прислушавшись, поднялся на козлах, завопил что-то бешеным голосом, перетянул кнутом лошаденку — и мы понеслись.

Через десять минут, сидя в уборной премьера Аксарова, Андерс горячо говорил ему:

— Я испытал два потрясения в жизни: когда умерла моя мать и когда я видел вас в «Отелло». Ах, что это было!! Она даже и не пикнула.

— Ваша матушка? — спросил Аксаров.

— Нет, Дездемона. Когда вы ее душили... Это было потрясающее зрелище.

— А в «Ревизоре» Хлестаков... — вскричал я, захлебываясь.

— Виноват... Но я «Ревизора» ведь не играю. Не мое амплуа.

— Я и говорю: Хлестакова! Если бы вы сыграли Хлестакова... Пусть это не ваше амплуа, пусть — но в горниле настоящего таланта, когда роль засверкает, как бриллиант, когда вы сделаете из нее то, чего не делал...

— Замолчи, — сказал Андерс. — Я предвкушаю сегодняшнее наслаждение...

— Посмотрите, посмотрите, — ласково сказал актер. — Вы, надеюсь, билетов еще не покупали?

— Мы... сейчас купим...

— Не надо! С какой стати... Мы это вам устроим. Митрофан! Снеси эту записку в кассу. Два в третьем ряду... Живо!..

В антракте, прогуливаясь в фойе, мы увидели купеческого сына Натугина, с которым были знакомы оба.

— А... коммерсант! — вскричал Андерс. — О вашем последнем вечере говорит весь город. Мы страшно смеялись, когда узнали о вашем трюке с цыганом из хора; ведь это нужно придумать: завернул цыгана в портьеру, приложил сургучные печати и отправил к матери на квартиру. Воображаю ее удивление остроумно остроумно да пока в России есть еще такие живые люди такое искреннее широкое веселье Россия не погибла дайте нам пятьдесят рублей на днях отдадим!

Хотя во всей андерсовской фразе не было ни одного знака препинания, но веселый купеческий сын сам был безграмотен, как вывеска, и поэтому последние слова принял, как нечто должное.

Покорно вынул деньги, протянул их Андерсу и сказал, подмигивая:

— Так, ловко это вышло... с портьерой?

* * *

Усталые, после обильного ужина возвращались мы ночью домой. Автомобиль мягко, бережно нес нас на своих пружинных подушках, и запах его бензина смешивался с дымом сигар, которые лениво дымили в наших зубах.

— Ты умный человек, Андерс, — сказал я. — У тебя есть чутье, такт и сообразительность...

— Ну, полно там... Ты только скромничаешь, но в тебе, именно в тебе есть та драгоценная ясность и чистота мысли, до которой мне далеко... Я уж не говорю о твоей внешности: никогда мне не случалось встречать более обаятельного, притягивающего лица, красивого какой-то странной красот...

Спохватившись, он махнул рукой, поморщился и едва не плюнул:

— Фи, какая это гадость!

ЯЗЫК

I

Иногда так приятно поглядеть на людские страсти, поступки и стремления со стороны, не будучи совершенно заинтересованным в происходящем. Созерцающий человек кажется самому себе выше других, ибо он имеет право, не волнуясь, с доброй, немного иронической улыбкой, следить за всем происходящим, и, если он мудр, такое созерцание должно доставить ему громадное наслаждение.

Не напоминает ли он тогда сам себе доброго, прекрасного Бога, который так же беспристрастно следит за смешной суетней и курьезным столпотворением в человеческом муравейнике?

Я сидел на бульваре за буфетным столиком и, беззаботно поглядывая по сторонам, потягивал из стакана какую-то мудреную, прохладительную, мною самим изобретенную жидкость.

За соседним столиком сидела в одиночестве со стаканом чаю красивая молодая дама, по виду — иностранка. Одета

она была скромно, но элегантно, и ее пышная, зрелая красота в этот томный весенний вечер вызвала со стороны бульварных фланеров не один поворот головы и жадный взгляд.

Но моя соседка рассеянно глядела по сторонам, прихлебывала чай и ни на кого не обращала особенного внимания.

Вдруг я заметил молодого человека в прекрасной панаме. Он два раза прошел мимо моего столика, чуть не задев его и в то же время бросая красноречивые взгляды на сидевшую даму.

Молодой человек был тоже красив, имел нежные, юношеские губы, прекрасно очерченные, как на греческих статуях, и темные крохотные усики. Кроме того, у него были горячие, томные глаза и прекрасный рост, что давало ему много преимуществ перед другими гуляющими — золотушными чиновниками, вульгарными юнкерами и какими-то кривоногими телеграфистами.

Меня восхитила смелость этого молодца. Он, пройдя два раза мимо меня, неожиданно повернул назад, очутился лицом к лицу с пышной красавицей и, опустившись на какой-то отбившийся от пустого столика стул, в одном шаге от моей соседки, спросил ее:

— Вероятно, вам сидеть так — тоска смертельная? А?

Есть разные типы ухаживателей. Некоторые, воспылав к женщине страстью, года три терзаются, не будучи представленными этой женщине, потом наконец находят общего знакомого, который, улучив минутку, знакомит их с предметом страсти, и тогда завязывается длинная, утомительная канитель: вздохи, пожатия — такие незаметные, что от них в случае чего можно отпереться, полунамеки и одинокие рыдания по ночам при свете задумчивой луны.

А есть и другой тип ухаживателя.

Увидев впервые на улице женщину, которая ему нравится, этот расторопный человек подлетит к ней, поспешно приподнимет шляпу и сразу перешагнет семь верст.

— Сударыня! — скажет он одним духом. — Куда изволите спешить? Жизнь коротка; нужно ею пользоваться и ловить подходящие сладкие моменты. Тут есть один очень укромный уголочек под вывеской «Византия», где нас не сыщет никакая собака, — пойдемте!

Удивительнее всего, что женщина часто так поражается этим предложением, что неожиданно для себя принимает

его. Потом, конечно, плачет, мучается и терзается дня три, если не больше.

II

Молодой господин, за которым я наблюдал, напоминал больше второй тип, чем первый.

— Ну признайтесь — ведь лучше было бы со мной убить несколько часочков, чем тосковать одной? Э?

Дама подняла на него серые, немного изумленные глаза и ответила с порозовевшим от смущения лицом на чистом немецком языке:

— Простите, я немка и говорю только на немецком языке.

— Ах, вы по-русски не говорите, — огорченно заметил молодой человек, не знавший, очевидно, ни одного языка, кроме собственного — русского.

— Я недавно приехала в этот город, — печально сказала дама, — и почти никто не понимает меня.

— Я не с какой-нибудь гнусной целью, — возразил молодой человек, силясь понять странные, незнакомые слова. — Я просто прогуливаюсь. Компренэ? Променад!

— Да, да, — вздохнула дама. — Несколько месяцев тому назад я похоронила мужа и теперь совершенно одинока.

— Да уж, знаете... — сочувственно кивнул головой молодой господин. — Есть такие мужчины, от которых не скоро отстанешь.

— Что? — машинально переспросила немка.

— Да я не о себе говорю. Я такой скромник, что просто удивительно. А вот другие — прямо ужас.

— Так тяжело, когда нет в городе ни одной знакомой души, — сказала немка, и ее прекрасные серые глаза затуманились. — Если бы у меня здесь была подруга, я пришла бы к ней и проплакала всю ночь: так мне тяжело и грустно.

— Ничего, — успокоил ее молодой человек, — выучитесь. Один мой знакомый тоже так! Ни в зуб толкнуть. А потом — ничего.

— А если бы вы знали, как трудно мне устраивать дела покойного мужа... Он перед смертью служил тут в одной местной технической конторе.

Молодой господин внимательно выслушал собеседницу и, указав пальцем на ее стакан, сказал:

— Может быть, чего-нибудь другого выпьете? Позвольте вам предложить.

Дама взглянула на стакан.

— Да, чай пью. Ничего, он не остынет. Бывало, мой муж — всегда любил холодный чай.

Она подняла свое красивое лицо, на которое падала тень модной шляпы, и долго смотрела на луну.

Вероятно, она думала: «Вот эта милая, красивая луна везде одна — и здесь, и в Вене — и она мне такая же родная... А люди разные, и никто тут не может меня развеселить».

— Вы очень красивы! — прошептал молодой господин, с восхищением глядя на нее. — Когда я смотрю на вас, у меня бьется сердце. Если бы было можно, я засыпал бы все ваше нежное тело поцелуями.

— Почему... — спросила дама, — почему я к вам чувствую такое доверие? Мне кажется, вы не позволите сказать вольного комплимента, вы сдержанны и скромны с женщиной... Мне это нравится. Впрочем, вы, вероятно, втайне слишком высокого мнения о своей наружности? А?

Печальные глаза ее сделались кокетливыми и засветились такой теплотой, что ее собеседник тихо взял ее руку в свою и тихо погладил.

— Какая чудесная рука!

Рука действительно была на редкость красивая — нежная, полная кисть с ямочками на тыльной части и выхоленными, блестевшими при лунном свете ноготками.

— Дома забыла, — улыбнулась дама. — А обыкновенно я всегда хожу в перчатках...

— Вы мне безумно нравитесь! — вскричал молодой господин. — А я... Послушайте, скажите: я, я! Я вам хоть немножко, хоть чуточку нравлюсь?

Даму удивила эта неожиданная горячность, так не вязавшаяся с предыдущим мирным разговором о перчатках.

Она недоумевающе взглянула на собеседника, с горячностью колотившего себя в грудь, и спросила, силясь понять:

— Вы? Что такое? Что — вы? Вы не носите перчаток? Ах, Господи... В чем дело? Может быть, я вас чем-нибудь обидела?.. Как жаль, что мы не понимаем друг друга!..

Она в искреннем порыве положила свою руку на руку молодого человека и стала ее гладить.

— А, — расцвел он. — Значит, я вам тоже нравлюсь? Значит, вы немножко любите меня... Ах вы, моя милая!

Несмотря на то что он сказал это по-русски, дама ответила по-немецки:

— Вы мне очень нравитесь. У меня есть к вам какое-то странное доверие. Конечно, если бы вы понимали меня, я бы этого не сказала! Но вы мне нравитесь, мой пылкий незнакомец!

И она поглядела на него так ласково, что даже у меня, молча наблюдавшего эту сцену, забилось сердце...

Молодой господин схватил ее руку и стал целовать ее, не отрываясь.

Дама вздрогнула и деликатно высвободила руку.

— Что вы, что вы, мой милый мальчик, — улыбнулась она, укоризненно грозя ему, — ведь на нас же все смотрят.

— Что? Что вы говорите? Муж? Вероятно, о муже? Но подумайте — ведь вы же сейчас одна? Ведь ваш муж преступник, если такое сокровище, как вы, заставляет быть в одиночестве. Стоит ли думать и вспоминать о таком человеке?

И опять — удивительно — она почти поняла его, хотя говорили они на разных языках.

— Зачем? — сказала она с неожиданной грустью. — Зачем он умер, оставив меня одинокой, всем чужой тут? Не трогайте мою руку, милый ребенок. Вы знаете, я, вероятно, старше вас... Ну, сколько вам лет? Сколько, а?

Молодому господину, вероятно, было года двадцать два, а ей двадцать четыре. Но он не смог ответить ей на этот вопрос, хотя и видел, что она обращается к нему с каким-то вопросом.

— Что? — мучительно переспрашивал он. — Что?

— Сколько лет? Ну? Вам! Я спрашиваю: вам?

Она показала пальцем на его грудь и показала пальцами, что хочет узнать цифру его лет.

— У меня? — спросил молодой господин. — Часы? Есть. Еще очень рано. Я вам покажу.

Он вынул плоские золотые часы и протянул их даме.

Та наклонилась над циферблатом и с улыбкой показала две цифры.

— Вот! Десять и одиннадцать. Вам уже есть двадцать один год, а? Вам, вам! Ах, какой вы непонятливый.

Она рассмеялась, будто жемчуг рассыпался по тарелке.

— А, — сказал, кивая головой, юноша. — Понимаю. Домой? Нужно быть дома между десятью и одиннадцатью? Да, да! Но еще очень рано.

— Так? — захлопала в ладоши дама. — Значит, я угадала? 21 год. Вы, мой милый ребенок...

«Милый ребенок» придвинулся ближе к ней и, положив незаметно, в тени спинки стула свою руку на ее талию, сказал:

— Поедем ко мне!

— Что вы! Сумасшедший! Увидят, — ахнула дама. — Примите руку.

— Я не могу! — горячо сказал юноша. — Я с ума сойду, если мы сегодня расстанемся. Если тебе нужно домой в одиннадцать часов, поедем ко мне! У нас еще два часа... Ведь я тебе тоже нравлюсь?

Рука его продолжала лежать на ее талии. Рука эта, очевидно, жгла тело молодой женщины. Трепет пробежал по ее плечам, и она, схватив свободную руку юноши, прошептала слабеющим голосом:

— Ради Бога! Не надо... Я даже не знаю, что вы говорите.

И вот страсть молодого человека сделала чудо. Он напряг все силы своего ума и вспомнил:

— Аллон нах гауз! Ко мне! Хорошо?

Он указал пальцем на себя.

— Домой? — шаловливо засмеялась дама. — К вам? Милое дитя! Да о чем же мы там будем разговаривать? Впрочем... нужно идти... становится сыро...

Молодой господин постучал лакея, бросил ему рубль и, взяв красавицу под руку, повел ее, ловко лавируя между столиками под восхищенными взглядами сидевших дам и мужчин.

И две стройные, сильные фигуры шли по аллее к выходу, освещенные, облитые одним и тем же светом луны, сковавшим их в единую серебряную группу.

И имя этой скульптурной серебряной группе было: «Желание».

Я проследил с божественным хладнокровием за ними, до тех пор пока они не скрылись в зеленой лунной пыли.

И я, как Бог, знал последующее, хотя не мог его видеть: недолгую борьбу красавицы с предприимчивым юношей, ее несогласие идти к нему, потом ее согласие, потом жаркие тесные объятия, тихие благодарные поцелуи и свет луны на крохотных, беспорядочно брошенных туфельках, на висящей на спинке стула кофточке и шляпке, на которую бесцеремонно взгромоздился мужской жилет, не думавший о таком легкомыслии там, на бульваре, когда он облекал грудь своего хозяина. . . . .

. . . .

Могу сказать — в этот вечер на бульваре я видел яркое подтверждение старой истины: есть в природе такой язык, который выше любого иностранного.

ЦЕПНАЯ СОБАКА

I

Когда Зырянинов вошел в кабинет, полное добродушное лицо редактора журнала «Северное сияние» засияло радостью.

— Я в восторге, что вижу вас, — приветливо сказал он. — Одну минутку! Я только сейчас вот отпущу посетителя.

Посетителем был хилый молодец со скорбным видом и такими длинными волосами, что опущенная голова его напоминала плакучую иву. Он говорил:

— Почему же вы находите, что моя повесть не подходит? Неужели она слаба?

— Я нахожу? — воскликнул редактор. — Бог с вами! Я нахожу ее прелестной. Мы по этому поводу часа полтора спорили со вторым редактором «Сияния» Лиходеевым. Но он уперся как бык — и вот видите: приходится возвращать вам эту вещь. Верьте мне, я как будто с кровью отрываю ее от сердца. Ведь между нами-то говоря, это лучшее, что вы написали!

— Спасибо... Вы меня хоть немного утешили. Виноват... Один вопрос: почему вы должны подчиняться мнению этого Лиходеева, а он вашему — нет?

— Иногда и он подчиняется. Лишний голос всегда принадлежит тому из нас, кто почему-либо против принятия

произведения. Этим мы достигаем лучшего отбора материала в журнале.

— А что, если бы я... сходил к этому... Лиходееву. Поговорил бы... А?

— Пожалуйста! Это самое лучшее. Может быть, вы смягчите его сердце.

Хилый писатель тряхнул своей «плакучей ивой», поблагодарил редактора и исчез.

Редактор обратился к Зырянинову:

— Вы зашли за ответом?

— Да.

— Аванс? Пятьсот рублей?

— Да! Я же говорил.

— Гм... Я думаю, это можно устроить. Вот только не знаю, как Лиходеев. В этом деле нужно и его согласие.

— А вы думаете — он не согласится? — испуганно спросил Зырянинов.

Редактор улыбнулся.

— Ну, что вы... Это было бы слишком. Он не такой уж зверь, каким кажется. Правда, иногда бывает тяжеленек, душу всю своими капризами вымотает, но... в общем, дело с ним делать можно.

— Фамилия у него зловещая.

— Да уж... И характерец тоже не из первосортных. Иногда и меня до белого каления доводит. А вообще — пустяки! Сходите — ваше дело чистенькое. Если он даст согласие, идите прямо в кассу и получайте монеты. До свидания! Когда будете уходить — загляните.

Зырянинов вышел из кабинета редактора и, проходя через контору, обратился к экспедитору:

— Как зовут господина Лиходеева?

Экспедитор усмехнулся.

— За глаза? Малютой Скуратовым. Скотиной! А в глаза — Филиппом Ипатычем.

— А что он, скажите... действительно злой?

— Он? Мерзавец первой руки. Злобный скряга, палач, человек с камнем в груди вместо сердца! Его за глаза так и называют: «Малюта Скуратов»! Редактор Бильбокеев добрая душа, но тряпка, и всецело в руках этого проклятого старика. Бильбокеев, хотя наружно и храбрится, но втайне боится его как огня.

— Я не понимаю, — спросил Зырянинов, — для чего в одном журнале два редактора?

— Издательская глупость. Завел издатель эту моду, да и сам не рад. Малюта, кажется, и его в руки захватил. А у вас есть дело к этому мерзавцу?

— Да... аванс. Бильбокеев согласился, а теперь остановка за Лиходеевым.

— Не даст. Это уж не первый случай. А Бильбокеев обещал? Бедняга... И жалко его, и досадно, и смешно.

— Гм... — сказал Зырянинов. — Вы говорите: Филипп Ипатыч? Ну, посмотрим-с...

II

Кабинет Лиходеева был маленький, полутемный, запыленный и грязный — настоящее жилище паука, раз навсегда соткавшего себе уютную паутину.

Наружность Лиходеева представляла яркий контраст с его характером: это был маленький розовый старичок, с ясным взглядом голубых глаз и мягкими ласковыми жестами. Только иногда ласковые глаза прикрывались тяжелыми веками и голос делался жестким, неприятным.

Когда вошел Зырянинов, он, кроме Лиходеева, застал у этого зловещего старика еще одного человека — судя по разговору, начинающего поэта.

— Что мне Бильбокеев! — говорил, стуча маленьким кулаком по столу, Лиходеев. — Я сам себе Бильбокеев! Стихи ваши слабы — вот и все.

— Да почему же?

— Очень просто. Это какая-то рубленая капуста, а не стихи.

— Ну например, например... Укажите хоть одно место?

— Не помню я там ваших стихов. Еще указывай...

— У меня есть и другой экземпляр. Вот он! Будьте добры взглянуть.

Лиходеев нехотя взял бумажку и повертел ее в руках.

— Ну, вот это:

К ее ногам я нес свои мечты,
Безумье грез, росинки слез вечерних...
Я ей шептал: «Прими, поверь в них...»

. . . .

— Что это такое?

— Виноват... Что же вам не нравится?

— Грубо. «К ее ногам!» Почему не к «ножкам», не к «стопам»?

— У меня так вылилось...

— Плохо, что вылилось... Потом: «росинки слез вечерних». Зачем это? Кому это нужно? Что, вы хотите мир этим перевернуть? Стыдитесь! Да я бы на вашем месте утопился; со стыда сгорел бы. Взрослый мужчина! Прощайте, молодой человек! Хе-хе! Это вам не Бильбокеев! Притворяйте дверь, у меня ревматизм. Вам что угодно?

— Здравствуйте, Филипп Ипатыч. Я — Зырянинов. У меня принята вещь... Я хотел аванс. Бильбокеев направил к вам.

Лиходеев посмотрел на него добрыми глазами, покачал головой и поджал губы.

— Напечатана?

— Еще нет, но...

— Так как же вы хотите получить деньги под то, что еще не напечатано?

— Мне очень нужны деньги.

— Э, батенька... Кому они не нужны.

— Бильбокеев мне обещал.

Старик вздернул плечами.

— Удивляюсь я этому Бильбокееву! Это ребенок какой-то. «Обещал, обещал»! Обещать легко. Как это так: «Дайте мне аванс». Почему? «Деньги нужны»! Да мне-то, например, деньги не нужны, что ли?! Однако я не прошу. Сегодня вы аванс взяли, завтра жену у меня взяли...

— Извините! — резко перебил Зырянинов. — Это не одно и то же.

— Э, дорогой мой... Что там говорить. Теперь пошло всеобщее развращение.

Зырянинов сухо спросил:

— Так, значит, вы в авансе отказываете?

— Господи! Ведь я же доказал вам, как дважды два, что аванса мы не можем дать. Обращаюсь к вашей рассудительности.

«Старик-то, кроме того, что зол — еще и глуп», — подумал Зырянинов, а вслух сказал ледяным тоном:

— Прощайте. Нам с вами, кажется, разговаривать больше не о чем.

И отправился к Бильбокееву.

III

— Ну что? — спросил Бильбокеев, пожимая руку Зырянинову. — Удачно?

— Это мерзавец какой-то! — злобно проскрежетал Зырянинов.

Бильбокеев вскочил и всплеснул руками:

— Неужто отказал?

— Да!

— О, черт возьми... Я всего ожидал от этого маньяка, но отказать в такой простой вещи...

— И вы знаете: он не только скуп, но и глуп до противного. Он при мне так раскритиковал стихотворение одного поэта...

— А что же он вам сказал?

— Сегодня, говорит, деньги возьмете, а завтра чужую жену...

— Вот кретин-то. Да вы бы ему сказали, что вам очень нужны...

— Говорил. «А мне, говорит, не нужны?»

Редактор переплел пальцы и со страдальческой миной сжал их так, что они хрустнули.

— Боже! Какой осел... О, когда мы только от него избавимся? Это будет счастливейший день моей жизни.

— Ваше положение, — сочувственно сказал Зырянинов, — тоже не из важных. Я это понимаю...

— Ах, как это все неприятно... Мне так хочется вам это устроить... Я понимаю — когда деньги нужны...

— А знаете что? Напишите ему записку, что вы категорически настаиваете на выдаче мне аванса. А я ее снесу ему.

— С удовольствием. Я буду рад, если дело выгорит. И паука, может быть, зазрит совесть.

Бильбокеев стал писать записку.

— Ха-ха! Пишу ему: «Дорогой мой Филипп Ипатыч», а хочется написать: «Проклятое, тупое дерево, мерзавец Филька!..» Ну вот-с. Записка готова. Я все-таки думаю, что он согласится. Скажите ему на словах, что я прошу сделать мне в личное одолжение.

— Я не знаю, как и благодарить вас! — в волнении воскликнул Зырянинов...

IV

Лиходеев распекал какого-то потрепанного человека.

— Зачем исторический роман? Кому это нужно? Что? Бильбокеев? А что мне ваш Бильбокеев! Бильбокеев мне не указ. Исторический роман из эпохи Самозванца... Ха-ха! Да вы что, были там? Видели эту эпоху? Нет? Так нечего вам и говорить. До свиданья. Притворяйте дверь. А! Вы опять пришли? Что вам угодно?

— Вот записка от Бильбокеева. Он еще просил передать, что согласие ваше будет личным ему одолжением.

— Ребенок! — сказал старик. — Сущий ребенок.

Одним глазом он скользнул по записке и, разорвав ее, бросил в корзину.

— Извините. Ничего не могу.

— Во-первых, — сказал Зырянинов, — я очень сожалею, что просьба моя удовлетворена вами быть не может, а во-вторых, ты ни более ни менее, как старый идиот, мерзавец, и когда черти заберут тебя в ад — на земле будет дышаться легче, солнце засияет ярче и птицы запоют громче!..

Лиходеев протянул к нему дрожащие руки и жалобно сказал:

— За что же вы... старика... обижаете?

— А за то, — в чрезмерном волнении вскричал Зырянинов, — что этот старик отказывает мне в деньгах, на которые можно было бы вернуть жизнь моей жене. У нее начало чахотки, и если повезти ее на юг, то спасти бы можно. А старику на это наплевать.

Лиходеев опустился на стул и схватился руками за голову...

Так он просидел минуты две. Потом поднял голову и, глядя на Зырянинова скорбными глазами, прошептал:

— Хорошо... Скажите в кассе... что я разрешаю. Там, вероятно, выдадут.

V

В третий раз вошел Зырянинов в кабинет Бильбокеева.

— Отказал?

— Наоборот, согласился. Я уже и денежки получил.

— Быть не может! Это так не похоже на нашего Малюту Скуратова.

— Представьте, разжалобился. Я его, впрочем, ругнул порядочно.

— Сердечно рад за вас! Поздравляю... Вы прямо маг и чародей. Чудесно, чудесно. Ухóдите? Ну, прощайте. Желаю вам повеселиться!

Оставшись один, Бильбокеев прошелся несколько раз по кабинету и позвонил.

— Скажите Филиппу Ипатычу, — обратился он к служителю, — что я очень извиняюсь за беспокойство и прошу, если он сейчас не занят, пожаловать ко мне по важному делу. Не забудьте извиниться за беспокойство.

Через минуту вошел Лиходеев. Он подошел к столу и стал неподвижный, с опущенной головой.

— Слушайте, Фиалкин! — сердито полушепотом начал Бильбокеев. — Это что еще за новости? Какое вы имеете право давать какие-то глупейшие разрешения на авансы?! Я не для того плачу вам сорок рублей ежемесячно, чтобы вы выкидывали подобные глупости. Во всяком благоустроенном дворе есть цепная собака, но если она начинает ласкаться к прохожим, вместо того чтобы рвать им штаны, — ее выбрасывают ко всем чертям! Зарубите себе это на носу.

ПЛОВЕЦ НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ

I

Дело было зимой в Петербурге, в трескучие морозы, когда термометр показывал 22° — вот почему никто не мог поймать и уличить во лжи этого проклятого мошенника Новаковича.

Мы оказались в совершенно беспомощном положении, а Настасья Николаевна не придумала ничего лучшего, как прийти в восторг от подвигов Новаковича.

Мы четверо составляли свиту Настасьи Николаевны — женщины, которая была более умна, чем проницательна, и более красива, чем умна. Из нас четверых — трое были скромные, простодушные, честные люди, а четвертый — Новакович.

Перед камином в гостиной Настасьи Николаевны разостлали пушистый ковер, поставили на двух томах энци-

клопедического словаря бутылку бенедиктина и рюмки, легли на животы все, не исключая Настасьи Николаевны, и, примостившись поудобнее, стали говорить о том, что кому приходило в голову.

— Интересно: какой вкус имеет человеческое мясо? — щурясь на огонь, промямлил молодой Шмидт.

— Не пробовал, — ответил Новакович, как будто бы спрашивали об этом именно его, — лгать не буду: что не пробовал — то не пробовал...

— А вот, — сказала Настасья Николаевна, — вас здесь четверо мужчин: были ли у кого-нибудь из вас в течение вашей жизни обагрены руки человеческой кровью?

— Не могу похвастаться, — отвечал опять назойливый Новакович. — Чего не было — того не было.

— У меня были обагрены, — признался молчаливый Работорговцев, обращая к нам расширившиеся от ужасных воспоминаний глаза. — Однажды я наклонился зашнуровывать ботинок, а кровь так и хлынула из носу на руки. Я, видите ли, полнокровный.

— Вы, видите ли, не полнокровный, а глупый, — возразила Настасья Николаевна. — Ну, хорошо... если вы не совершали преступления, то, может быть, на вашей совести, господа, есть какие-нибудь подвиги?

Подвиги оказались у Новаковича.

— Есть подвиги! — заявил он. — Два. Однажды я, раздеваясь в купальне, услышал крики. Оказалось, что кто-то тонет... Я, как был в ботинках, в белье, бросился в воду и вытащил несчастного.

— А второй подвиг? — спросил Шмидт.

— Да это и есть второй. Первый — когда я бросился одетый в воду, а второй — когда я вытащил утопающего.

— А кто, господа, из вас самый лучший пловец? — спросила Настасья Николаевна.

— Я! — сказал Новакович.

— Ну это уж слишком! — возмутился я. — Откуда вы знаете, как плаваем мы: Шмидт, Работорговцев и я?! Может быть, мы трое плаваем как рыбы!

— Хорошо, — язвительно засмеялся Новакович. — Сколько вы можете проплыть без отдыха?

— Полверсты, — подумав, отвечал Шмидт.

— А я версту, — заявил я.

— И я, — заявил Работорговцев.

— Версту?! — засмеялся Новакович. — Это у них называется «как рыбы»!.. Ха-ха! Знаете ли вы, милые мои, что я проплывал по шести верст!

Если бы в то время было лето, я схватил бы Новаковича за шиворот, потащил бы к морю и, швырнув его в воду, заставил бы проплыть на моих глазах эти шесть верст.

Но он, чувствуя себя хозяином положения, перевернулся на спину, засвистал и потом небрежно продолжал:

— Да... А как я ныряю! Боже ты мой!.. Однажды, купаясь в реке, я нырнул на глазах публики и исчез. Искали меня до самого вечера. А я преспокойно вынырнул на другом берегу, потихоньку оделся и ушел.

— Во что же вы оделись, если ваша одежда была на другом берегу?

Новакович посмотрел на меня, скосив свои холодные глаза.

— У меня была заготовлена другая. На втором берегу...

Мы трое скрипели зубами, грызли края рюмок с бенедиктином, но ничего не могли с ним поделать.

А он рассказывал Настасье Николаевне:

— Прыгать в воду нужно умеючи. Если прыгать с большой высоты неумело — можно разбиться о воду... я прыгал однажды с самой верхушки мачты корабля... Сажень десять... Море внизу кажется маленьким-маленьким.

— Как же вы могли, — спросил методичный Шмидт, — прыгать с мачты прямо в море, если на вашем пути встречается борт корабля? Он должен далеко выдаваться за линию полета.

— Да, — согласился Новакович, целуя руку Настасьи Николаевны. — Он и выдавался.

— Ну?! Так как же...

— Да так, — усмехнулся Новакович. — Я прыгал во время волнения, когда была качка. Я выжидал наклона корабля в мою сторону и прыгал. Промедли я несколько секунд — мое тело безжизненной массой ударилось бы о борт корабля...

— Вы, значит, очень ловки? — любуясь им сквозь опущенные веки, спросила Настасья Николаевна.

Новакович, охорашиваясь, сложил руки на груди, вытянул ноги и хладнокровно кивнул головой.

— Да, я очень ловкий.

— Да уж ловкий, нечего и говорить, — проворчал Шмидт.

— Ловкий парень! — усмехнулся Работорговцев.

— Я ловкий! — засмеялся Новакович.

— Ловкий, — подумал я. — Ловкий, чтоб ты пропал.

— Ловкий, — подтвердил еще раз Новакович. — Не пропаду. Я, можно сказать, вырос на море.

— Как же вы говорили раньше, что ваша родина Москва? — спросил я, подмигнув Шмидту. — Как же так?

— Да, Москва!.. Что ж из этого? — удивился Новакович.

— Как же так: то — Москва, то — вырос на море?

— Ну да — что ж из этого?

— Какое же в Москве море?

— В Москве моря нет. Но что ж из этого следует?

Его наглый, какой-то хладнокровно-стальной тон смутил меня.

— Как же... вы... росли?.. — пробормотал я.

— Так и рос. Не оставаться же мне ради вашего удовольствия всю жизнь маленьким ребенком.

Настасья Николаевна засмеялась.

Лучше бы она меня ударила.

II

22 градуса мороза, Петербург, пылающий камин, пушистый ковер и бенедиктин на энциклопедическом словаре — все это осталось далеко позади.

Было жаркое, летнее утро, был севастопольский бульвар, тихое море и нагретая солнцем скамейка, на которой я еле мог усидеть.

Сзади меня послышался скрип песка под чьими-то ногами и мелодичный свист. Я оглянулся и бросился вдогонку за промелькнувшим человеком.

— Новакович! — крикнул я. — Эй, Новакович! Стойте!

Приветствовал он меня равнодушно, без особенной радости.

— Очень рад видеть вас, Новакович, — сказал я, зловеще улыбаясь. — Посостязаемся! Надеюсь, вы помните, что говорили зимой на пушистом ковре? Хе-хе! Это редкое зрелище — видеть, как человек переплывает расстояние в шесть верст.

— А разве я говорил шесть? — осведомился, чертя палкой по песку свое имя, Новакович.

— Шесть.

— Да, но в речной воде. Речная легче морской.

— Хорошо, — согласился я. — Пусть. Положим на морскую воду половинное расстояние: три версты. Идет?

Он о чем-то думал.

— Пожалуй. Когда?

— Завтра.

Он мог удрать из Севастополя сегодня же вечером. Поэтому я решил не спускать с него глаз и увязался за ним обедать. После обеда мы ужинали, а потом, поздно вечером, я под каким-то предлогом напросился к нему ночевать.

Было ясное, жаркое утро. Держа Новаковича под руку, я вел его в купальню, а он вперемешку со свистом рассказывал:

— Теперь нет хороших пловцов... Помню, лет семь тому назад я плавал в Одессе с одним английским матросом... Вилли Сандерсом. Отплыли мы так, что берегов не видно. Что делать? Куда возвращаться?.. Компаса нет... «Плывем, — говорит Сандерс, — сюда». «Как — сюда? А вдруг берег останется сзади, и мы поплывем в открытое море»... Положеньице! Поплыли на авось...

— Ну? — мрачно спросил я.

— В десяти верстах пароход нас подобрал. Что смеху было!

— Вот и купальня, — сказал я. — Ну-с, разденемся.

Мне казалось, что я припер Новаковича к стене. Выхода ему не было... В его плаванье я верил так же, как в философский камень.

К моему удивлению, он бодро разделся, натянул купальный костюм и вышел на лестницу.

— Вот что... — обратился он ко мне. — Я поплыву, и если через два часа не вернусь — значит, что-нибудь меня задержало. Тогда вы не ждите — можете идти домой. Завтра увидимся.

— Ладно, ладно... Лезьте в воду.

— Сейчас полезу. Как вы думаете — холодная вода?

— 20 градусов.

— Ага... 20. Сейчас... сейчас полезу.

Он опустил одну ногу в воду и вдруг, вздрогнув, обернулся ко мне. На лице его была написана гадливость и отвращение, будто бы он наступил на лягушку.

— Что с вами? — удивился я.

Он взял меня за руку, отвел в сторону и шепнул, брезгливо выпятив губы:

— Я не могу лезть в воду.

— Почему?!

— Тот вон толстый человек, который за канат держится, сейчас плюнул в воду.

— Эка важность! Не в ванну же он плюнул, а в море. Море велико.

Не слушая меня, он стянул купальный костюм и с дрожью отвращения стал одеваться...

— Какая гадость! И как это позволяют плеваться?.. Фи! Только вспомню об этом — с души воротит! А вы... — обратился он ко мне, брезгливо всматриваясь в мое лицо, — неужели вы бы купались в такой заплеванной воде?

— Дело не в этом, — угрюмо возразил я. — Завтра встанем пораньше и придем, когда никого не будет. Ладно?

— Вот это — другое дело. Сделайте одолжение!

III

Когда мы пришли на другое утро — в купальне не было ни души. Только в соседней женской купальне слышался чей-то разговор, взвизгивания и плеск воды.

Новакович опять быстро, с готовностью, переоделся в купальный костюм, вышел на лестницу, потом сейчас же вернулся и, смущенно смеясь, подошел ко мне.

— Ну? Что еще? — нервно спросил я.

— Там... женщины, — сконфуженно прошептал он.

— Да! Женщины. А вы что, — злобно прошипел я, — стесняетесь их?!

Он застенчиво провел пальцем по шву купального костюма.

— Они... смотрят... Я почти... голый. Как же так?

— Подумаешь, Иосиф Прекрасный! — разозлился я. — Лезьте в воду! Плывите!

Он тихо смеялся, подкатывая глаза, будто бы его щекотали.

— Ах, что вы, что вы!.. На виду у женщин... С голыми ногами... Ах! Мне, право, так неловко...

— Хорошо! — закричал я. — Хорошо! Мы возьмем лодку, отплывем в открытое море, и вы там поплаваете, черт возьми. Вам ведь все равно?!

— И прекрасно! — оживился он. — Лучше этого и придумать нельзя... Хоть сейчас.

— Ладно, — усмехнулся я. — Сейчас — так сейчас.

Через двадцать минут мы в четыре весла неслись из бухты на большом, просторном ялике.

— Ну вот, здесь хорошо, — сказал я, искоса поглядывая на него. — Ни души не видно, и всюду открытое море. Глубина здесь аршин сорок–пятьдесят.

— Средняя глубина, — кивнул головой Новакович. — На такой глубине я в молодости доставал со дна ракушки.

Он разделся, взял купальный костюм, завернутый в газетную бумагу, и стал его разворачивать. Скользя глазами по газете, он вдруг наклонился, впился в нее взглядом и тихо выругался.

— О, черт возьми! Вот не везет — так не везет!

— Что?!! — крикнул я, сжимая кулаки.

— Оказывается, в открытом море нельзя купаться. Вот постановление градоначальника, напечатанное в газете: «Во избежание несчастных случаев, запрещается купальщикам выезжать в открытое море»...

— Вздор! — сказал я. — Нас здесь никто не увидит, а яличнику я дам за молчание пять рублей! Лезьте в воду.

Новакович обиженно пожал плечами.

— Как! Вы хотите, чтобы я нарушил приказ начальства, того начальства, которое поставлено над нами самим Богом, которое заботится о нас и которое знает лучше: что хорошо, что плохо?! Никогда я себе этого не позволю... Э, нет... Плохо же вы знаете Новаковича!

Я действительно плохо знал Новаковича.

Когда мы возвращались, я устало, апатично смотрел на далекий горизонт, а Новакович оживленно рассказывал:

— Помню, в Красном море был со мной случай: нырнул я, вижу — акула... Я как крикну на нее...

ГОРНИЧНАЯ ИЗ БОЛЬШОГО ДОМА

I

Два верхних этажа громадного дома были заняты меблированными отдельными комнатами, населенными разгульным, беспутным народом: репортерами, студентами, начинающими поэтами и просто разными порочными молодыми людьми.

В минуты просветления после нашей чадной жизни мы собирались в угловой комнате рыжего Васюканова и, тихо беседуя, недоумевали:

— Чем живет наш хозяин?

Денег за комнаты не платил никто, кроме технолога Ильяшенко. Да и то, поступая так в пьяном виде, Ильяшенко потом глубоко и сильно раскаивался. Вытрезвившись, он рвал на себе волосы, а однажды даже пошел отнимать у хозяина деньги, заплаченные в одну из таких минут разгула и расточительности.

Хозяин денег не возвратил.

Жильцов было так много, что хозяин в лицо их не помнил, хотя были такие, например, как я, которые жили по два года.

Однажды, поднимаясь по лестнице, я столкнулся лицом к лицу с хозяином.

Он посмотрел на меня и, заискивающе подтолкнув меня плечом, нерешительно спросил:

— Слушайте... А как же насчет деньжат? А?

Я широко раскрыл глаза.

— Деньжат? Каких деньжат?

— За квартиру...

— За квартиру? За какую квартиру?

В моем тоне было столько неподдельного изумления, что хозяин, сбитый с толку, сконфузился.

— Разве вы не мой квартирант?

— Я? Что вы?! У меня свой дом на Дворянской и именье в Крыму... А сейчас я иду к своим друзьям. Так, знаете... навестить.

Он погладил ладонью руки перила лестницы.

— Вот оно что! Так, так... В таком случае, молодой человек, не могли бы вы повлиять на ваших друзей в смысле деньжат, а? Они что-то, между нами говоря, сильно затянули уплату.

Я принужденно рассмеялся.

— Как же вы меня просите об этом, когда даже не знаете, к кому я иду?!

— О, это все равно... Мне все должны. Вы не беспокойтесь: ошибки никакой не произойдет.

— Хорошо, — пообещал я. — Будьте покойны. Все будет сделано.

— То есть... что — все?

— Все решительно! Без всякого исключения! Все в буквальном смысле этого слова! Прощайте. Привет супруге!

Он, волоча ноги, пошел вниз, а я, как стрекоза, взлетел наверх и кликнул сейчас же клич среди всего беспардонного народа:

— Господа! — сказал я. — Положение становится невыносимым! Хозяин уже осмеливается затрагивать скромных честных жильцов на лестницах! Очевидно, дела его совсем швах.

Сострадательный настройщик предложил:

— Устроим ему подписку!

В тот же вечер в пользу хозяина была устроена подписка, давшая 4 рубля 2 копейки наличными деньгами и 7 рублей 30 копеек в виде пустой стеклянной посуды типа бутылки.

II

Ко мне зашел Васюканов и со стоном покатился на кровать.

— Ужасный случай!

— Да?

— Да! Глупый хозяин нанял новую горничную.

— Не обязал ли он тебя платить ей жалованье?

— Она некрасивая! Понимаешь, такая некрасивая, что я чуть не упал в обморок. У нас шесть горничных — есть хорошенькие, средние и некрасивые, но это — Бог мой! Что я с ней буду делать!

— Предложи ей вместо любви дружбу.

— Это не то. Моя специальность требует не дружеских, а интимных отношений с женщинами, посвятившими себя услугам человечеству и уборке комнат.

— Неужели она такая некрасивая?

— А вот посмотри сам.

Опечаленный специалист по горничным нажал кнопку звонка и мрачно опустился на диван.

Вошла новая горничная.

Была она маленького роста, с длиннейшими красными руками, широкоскулая, с микроскопическим нацелившимся в потолок носом, веснушчатая, серолицая, увенчанная жидким пучком волос бледно-желтого цвета.

— Вот она, — сказал жестокий с женщинами сердцеед Васюканов. — Рекомендую! Звезда Востока. Лакомый кусочек для любителей изящного и элегантного!

Горничная смутилась, опустила голову и из-под нахмуренных бровей метнула сердитый взгляд на Васюканова.

— Замолчи! — вскричал я. — Здравствуйте, голубушка. Как вас зовут?

— Валей!

— Ва... лей?!

— Ну да. Валентина. Что же тут удивительного?

— Гм... — сказал Васюканов. — Никогда я не встречал большей гармонии между именем и внешними данными! Вот, милая Валентина, — мой друг не прочь за вами приволокнуться. Вы, несомненно, ребенок в его вкусе.

Валентина пожала плечами и, прищурив глаза так, что они бесследно пропали, тихо сказала:

— Этого мало, что они хотят. Нужно, чтобы и мне они понравились.

Посмотрела презрительно на Васюканова и вышла.

С этих пор наш этаж невыносимо задирал нос перед другими этажами: на нашем этаже была самая безобразная горничная в околотке.

Только мы, только наша свора могла изобрести такую безумно нелепую причину самохвальства и гордости.

III

Напротив двери моей комнаты в коридоре помещался телефон.

Васюканов сидел у меня и рассказывал, какой он умный и как все удается ему в жизни.

— Я теперь живу безбедно и сыто, а почему? Потому что башка работает.

— С каких же пор ты стал жить безбедно?

— С прошлой недели. В прошлую среду я явился к соседу Оськину, к этой старой желтой крысе. И выпросил взаймы рубль. «Да вы не отдадите?» — догадался почему-то Оськин. «Я? Что вы! Я, признаться, славлюсь своей честностью. Завтра же отдам». Взял у него. Прожил. На другой день пошел к швейцару Гавриле и говорю: «Милый! Выручи двумя рублями. Завтра отдам!» Сначала он усомнился, а потом дал. Рубль я сейчас же пошел отдал Оськину, а рубль прожил. Через день прихожу к Оськину: «Одолжите, пожалуйста, три рубля». — «Да вы не отда-

дите!» — «Я? Рубль же отдал, как обещал, и три отдам». Зловещий старик дал. Пошел я к Гавриле, вернул ему два рубля, а на рубль жил и веселился сообразно со склонностями. Затем снова явился к Гавриле: «Дай, милый, четыре рубля». «Вам, — говорит, — можно, вы аккуратные!» Дал. Три рубля снес я Оськину, а рубль истратил на пищу, питье и одежду. Потом прихожу к Оськину через день, прошу: «Дайте пять рублей!» — беру! Четыре рубля Гавриле, а рубль...

— Довольно! — сказал я. — Система ясна. В ней есть только один недостаток. Сколько и кому ты сейчас должен?

— Гавриле. Девять.

— На пятнадцатом рубле предприятие лопнет, предупреждаю тебя. — Постарайся, по крайней мере, чтобы пострадал Оськин.

Васюканов пообещал:

— Он пострадает.

За дверьми раздался голос, настолько скрипучий, что его без колебания можно было приписать предмету нашей своеобразной гордости: Валентине.

— Кто у телефона? — спрашивала она. — Что? Это вы, Михаил Львович? Здравствуйте. Что? Что вы делаете? Как? Все в свои газеты пишете? Вы, смотрите, на меня не напишите!.. Все утро? Думали обо мне? Охота вам. Я такая неинтересная!.. Ха-ха! Что? Нет, не приду. Вы не умеете скромно держать себя. Когда зовете, так вы и такой и сякой, и скромненький, и тихий, а придешь — сейчас с объяснениями... Что? Кататься? Нет, не поеду. Холодно! Да и зачем на извозчиков тратиться... Что? Обманываете! Все вы сначала о любви толкуете, а мы, дуры, верим...

Мы сидели с Васюкановым смущенные, растерянные.

— Ч... черт знает что!! — сказал он, смотря на меня во все глаза. — У этого огородного пугала есть любовник?!

— Очевидно! — пробормотал я и рассмеялся. — Интересно бы его видеть.

— Наверно, какой-нибудь беглый из приюта для слепорожденных... Или опустившийся ночлежник, живущий за ее счет...

— Нет, милый, это не то. Он пишет в газетах и тратит свои деньги, чтобы катать ее на извозчиках.

Васюканов ударил кулаком по столу.

— Черт знает что! Теперь всю ночь я не буду спать!.. Это кошмар какой-то!

Я открыл дверь и выглянул.

Она стояла еще у телефона и говорила:

— Ну, прощайте. Завтра я позвоню. Что? Тысячу поцелуев? Не много ли будет? Ха-ха!

Увидев меня, она смутилась, охнула, закрыла лицо руками и убежала.

IV

Прошло два дня.

У меня сидели гости: Васюканов, Ильяшенко и два молодых агента по сбору объявлений — все наши соседи, жившие по этому же коридору.

Разговаривали. Неожиданно нашу беседу перебил звонок и голос в передней:

— Алло! Я у телефона. Да. Валентина. Здравствуйте, господин Жорж. Что? Видеться со мной? А что скажет Михаил Львович, если узнает? Да... Большая разница. Он любит по-настоящему, а вы только говорите... Что? Этого мало! На словах вы все любите! Куда? В драматический? Спасибо, в другой раз. Сегодня может позвонить Миша. Как? Интересная пьеса? Гм... Ну ладно. Только с условием: после театра чтобы без ужинов. Прямо домой. Что? Ха-ха! Знаем мы эти ужины. А? Знаем мы вас, мужчин... Хорошо, только оденусь и приеду. А? Да.

Валентина повесила трубку и стремглав понеслась в свою комнату, вероятно, одеваться.

Васюканов развел руками.

— Очевидно, в этом городе есть какая-нибудь особенная секта людей, которым нравится Валентина?! Какой-нибудь орден подвижников. Раньше бичевали тело, а теперь любезничают с этим кошмаром, с этой гримасой человечества! Хо-хо-хо!

Ильяшенко, задумчиво глядя через наши головы, сказал:

— Вы судите поверхностно. Предположите, что в этом уроде есть что-то такое, есть такая какая-то сила и обаяние, которые лишают иных людей рассудка... Может быть, в сущности, она интереснейшая женщина!

— Но как же такую можно поцеловать? — вскричал хриплым голосом беспокойный, порывистый Васюканов. — Как?

— Попробуйте, — усмехнулся сборщик объявлений.

Васюканов хлопнул ладонями.

— Попробую!!

Вошла Валентина, одетая в синее бархатное платье. Наряженная, в шляпе, она казалась еще безобразнее. Мне показалось даже, что было что-то гармоничное в ее безобразии.

Все мы смотрели на нее чрезвычайно внимательно.

— Вам, господа, ничего не понадобится? — независимо спросила она. — Я ухожу. Может, в лавку сходить нужно?

— В театр едете? — спросил Васюканов и — как это ни странно — в голосе его прозвучала нотка ревности.

Агент подошел к ней ближе и, обняв рукой ее талию, спросил:

— Неужели, вы без корсета?

Она засмеялась.

— Тсс... Нельзя руки распускать, господа. Я девушка.

— Девушка? — прищурился Васюканов. — Кланяйтесь от меня, девушка, Жоржу.

Она всплеснула руками, смутилась и у нее вырвалось:

— Ах! Откуда вы знаете?

Все засмеялись, и она, сконфуженная, убежала, переваливаясь на ходу.

V

Однажды я, проходя вечером по коридору, видел, как Васюканов поцеловал Валентину; при этом он держал ее за руку и спрашивал:

— Что это за Жорж? Что это за Михаил Львович и Костя? Почему ты с ними разговариваешь? Они тебе нравятся? Да? Да?

Она тихо усмехалась.

— Пустите. Не жмите руку. Какие вы все странные... Вчера и господин Ильяшенко меня все спрашивал: кто такие, да почему с ними разговариваю, да люблю ли?

Увидев меня, Васюканов выпустил ее руку и, принужденно усмехаясь, сказал:

— Странное существо! Не правда ли?

Я промолчал.

Вечером ко мне зашел Ильяшенко, один из агентов и Васюканов.

И опять мы слышали разговор:

— Кто это? Дядя Вася? Здравствуйте! Спасибо за подарок... Что? Напрасно тратитесь... Вы уже старый, а я девушка честная и того, что вы думаете, — не будет... Что? Замуж? Ох-хо! О нет, нет. Давно видели Жоржа? Кланяйтесь ему...

Брови Васюканова были нахмурены. Ильяшенко кусал губы, а агент только повторял:

— Черт подирай! О, черт подирай!

Кажется, все они думали о Валентине больше, чем нужно. Разговор после этого шел вяло. Прощаясь с ними, я сказал:

— Заходите ко мне завтра в это время. Я что-то покажу вам.

Они пришли.

— Тссс, — сказал я. — Молчите!

Я вынул из кармана нож, вышел в коридор и, взобравшись на подоконник, перерезал вверху телефонный провод.

— Зачем это? — удивился Васюканов, когда мы вернулись в комнату. — Ведь хозяину придется платить за исправление.

— Я сам заплачу, — сухо сказал я.

В коридоре послышались знакомые шаги, остановившиеся около телефона, и сейчас же послышался голос:

— Центральная? Дайте номер 43–65. Что? Спасибо. Кто у телефона? Это Жоржик? Здравствуйте. Ну как вам спалось после вчерашнего? Что? Ха-ха! Не знала я, что вы такой нахал... Ха-ха-ха-ха! Мне кажется, вы не можете видеть женщину, чтоб не... ну, вы знаете что... Что? Любите? Ох, сколько раз я уже слышала от вас, мужчин, это! Всем, наверное, вы говорите одно и то же. Что? Хорошо. Сегодня я приеду к вам... Только, чтобы без объятий! Слышите?..

НЕУДАЧНАЯ АНТРЕПРИЗА

I

— Пусти! О, ччер... рт!..

— Нет-с, я вас не пущу...

— Какое тебе дело! Касается это тебя? Пусти-и!!

— Отойдите от перил — тогда пущу...

— Обниму тебя покрепче, да вместе и прыгнем — будешь тогда знать!

— Ну нет... Я на это не согласен. Послушайте... Вы непременно решили топиться?

— Нет, так просто — поплавать. Ха-ха! Все равно мягкосердечный ты человечек... Отойдешь — я тут же и сигану.

— Ладно в таком случае. А не согласились бы вы утонуть вместо сегодняшнего дня — завтра?

— Спасибо, милый. Значит, выходит — три дня голодал — голодай и четвертый?

— Послушайте... Хотите, мы обломаем прекрасное дельце? У вас есть родственники? Жена?.. Есть?

— Гм... Мало ей от меня радости.

— Так вот... раз вы уже решили утонуть — отчего вам не принести жене и детям какую-нибудь пользу. Отдайте себя в мое распоряжение до завтра, а там топитесь хоть десять раз. Но жена ваша получит тысчонку рублей...

Спаситель был полный, краснощекий мужчина с проворными ухватками и резким смешком. Худой, давно небритый самоубийца, одетый в заношенный серый пиджак, болтавшийся на нем, как на вешалке, посмотрел исподлобья на спасителя, погладил рукой перила моста и ворчливо спросил:

— А что вы со мной сделаете?

— А вот, — захлебываясь какой-то внутренней волной, вскричал весело дородный незнакомец, — а вот что я с вами сделаю... Смотрите: кладу сначала в вашу руку золотой десятирублевик, а затем — веду вас в ближайший ресторанчик и кормлю вас сколько влезет. За обедом потолкуем. Недурно-с? Ась? Недурновато-с?

— А не будете там размазывать мне разные слова и уговаривать не топиться? Если зовете для этого — так и знайте: вскочу, убегу и опять в воду. Так уж я решил!

Его худой кулак упрямо и грозно опустился на железные перила.

— Вот чудак! Вовсе не буду я уговаривать вас не топиться. Просто прошу повременить денек. А если вы три дня не ели — подумайте: разве плохо съесть сейчас добрый кусок хорошей розовой ветчины, яичницу, пару котлет с жареным картофелем, какую-нибудь этакую осетрину и запить все бутылкой холодного пива или вина.

Худой человек потер ладонью небритую щеку.
— Да... вы умеете говорить. Пойдем.

II

— Вот вам! Ешьте. Ветчина, рыба, икра. Кушайте. А я буду говорить. Вы можете меня слушать?
— Мг...
— Прекрасно. Я рассуждаю так: всякое дело, если за него умело взяться, — может принести заинтересованному лицу немалую пользу. А в данном случае нас, заинтересованных, даже трое: вы, жена ваша и я. Чем заинтересованы вы? Вы умрете со спокойной совестью, что жена ваша надолго обеспечена, что жизнь ваша не пропала даром, что вы, умирая, принесли любимому существу пользу. Чем заинтересована ваша жена? Она получает тысячу чистоганчиком — мало тысячу — две тысячи! Совершенно не ударив палец о палец! Теперь вы, конечно, спросите, какую пользу получаю я? Я должен взять на этом тысяч тридцать, тридцать пять!! Каково? Вы спросите: почему же так много? Да ведь — Господи же! Ведь я же антрепренер. Мой риск, мои деньги!! Это уж правило — что при хорошем деле антрепренер получает больше всей своей труппы. Конечно, труппа или в данном случае — вы — могли бы сказать: «А ну тебя к черту! Зачем мы будем отдавать тебе то, что можем сами взять». Тут-то я вам и крикну: «Дудки-с! Дудочки! А капитал? А оборотные средства? Где они у вас?» А без них вы ничего не сделаете.
— Ага, — догадался самоубийца, энергично прожевывая ветчину. — Значит, вы хотите меня застраховать?
Плотный господин даже завизжал от радости.
— Конечно же! Конечно! Рассуждайте так: раз вы решили умереть — вы от этого ничего не теряете. Жена ваша выигрывает — и все довольны! Ну, скажите мне, скажите: можно что-нибудь мне возразить? Ну, возражайте же, возражайте!
— Гм... возразить-то, пожалуй, нечего, — промямлил задумчиво самоубийца. — Дело ясное! Как говорится — не подкопаешься. А если я скажу, чтобы вы выдали моей жене половину заработка... то есть, тысяч пятнадцать? Что вы запоете?

— Если вы это скажете? А я запою — ищите себе другого! А я не согласен!! Нет расчета! Я слишком для этого коммерсант!

Коммерсант помолчал и потом, побарабанив по скатерти пальцами, обиженно продолжал:

— Да, право. Даже обидно... То еле его от воды оттащил, а то он начинает торговаться, как тряпичник. Скажите, что изменилось в вашей жизни за этот час? Только что раньше жена ваша умерла бы с голоду, а теперь она заработает пару тысчонок.

— А знаете, — сказал самоубийца, поглядывая на собеседника из-за громадной кости отбивной котлеты, которую он обсасывал, — если бы жена моя знала о нашем условии, она бы отказалась от денег.

— Почему? Господи! Почему?

— Потому что она меня любит. Если бы ей предложили на выбор меня, каков я есть — нищий, выгнанный с завода за забастовку, попавший под надзор полиции — или кучу золота — будьте покойны — ха-ха! — она выбрала бы меня.

— Но раз вы уже утонете, — рассудительно возразил антрепренер, — ей уж выбора не будет.

— Если она узнала бы, что я утонул — это убило бы ее, — разнеженно прошептал самоубийца, одним взмахом салфетки утирая жирные губы и крупную слезу в уголке глаза.

— Однако раньше вы об этом не думали? — съязвил антрепренер.

— Раньше у меня было только одно чувство — голод. Тогда уж ни о чем не думаешь. А раз человек сыт — он добрее и не прочь подумать о своих ближних.

Полное лицо спасителя налилось кровью.

— О, черрт? — испуганно вскричал он. — Не раздумали ли вы топиться?

Худой опустил голову и задумался.

— Нет, пожалуй... Дело такое, что раздумать нельзя. В сущности, что изменилось с тех пор, как вы меня оттащили от перил моста? Только то, что я сыт и в кармане лежит золотой?

— Конечно, конечно, — подхватил антрепренер. — Только и всего. А завтра вы опять будете голодны, а если начнете есть, то через неделю от золотого ничего и не останется.

— Ну, нет, — глубоко задумавшись, покачал головой самоубийца. — На этот золотой можно сделать лучше: поехать в другой город и поступить на завод.

— Глупости! Глупости!!! Кто вас там примет? Везде полные штаты даже с избытком.

— Это ничего... Если хороший мастер — его всегда возьмут. А я, по механическому делу — о-о, какой дока!

— Все равно, если под надзором полиции — через месяц опять вылетите и опять голодать будете. Уж поверьте-с.

— Почему же? Буду жить скромненько... Для семьи... Полиция меня и не будет трогать. Накоплю деньжонок... Вы знаете, такой мастер, как я, может до ста рублей вырабатывать? Ей-Богу. Можно половину проживать, половину откладывать. Да жене если купить машинку, она шить будет — смотри, тоже две красненьких набежит. А там сынишка у меня поднимется — славненький пятилеток — к тому времени и в гимназию его отдать будет не трудно. Пусть и он не хуже других. А там университет... Не справимся сами — уроками поможет.

— Как же... дожидайтесь! Знаем мы эти студенческие уроки... На сапоги не хватит!

— Отчего же... Он у меня парнишка крепкий. Выбьется. А там, смотри — доктором будет или податным инспектором...

— Нет-с! Не будет! Не будет он податным инспектором!! Это, батенька, не так легко!

— Почему?

— Почему? Отдавай мне мои десять рублей — вот почему! Ишь ты, какой! То топиться, а то в инспекторовы отцы лезет. Подавай денежки!

Худой человек почесал щеку, подумал немного и, сунув руку в карман, вынул золотой.

— Нате... получайте, пожалуй. Обойдусь как-нибудь и без них.

— Обойдешься?! Интересно это мне знать: как обойдешься?

— Ну как-нибудь... Можно в автомобильный гараж поденно поступить — моторы чинить... Я в этом маракую. Перебиться немного, скопить на дорогу, а там опять на оседлое место, на завод. Да... пожалуй, так и придется сделать...

— Швейная машинка!! — заревел спаситель, стуча кулаками по столу. — Податной инспектор?! Кукиш с маслом!!

Если так — иди опять топись! Черт с тобой... И страховать тебя не буду — пусть жена твоя с голоду подохнет!

— Зачем же ей подыхать с голоду, — благодушно улыбнулся самоубийца. — Даст Бог, выкрутимся.

— Выкрутишься... Вот свяжись с дураком...

Антрепренер посмотрел с омерзением на мечтательное лицо худого человека и сказал с целью как-нибудь побольше уязвить его:

— Ты небось и тогда ломался, когда у перил стоял... Все равно не прыгнул бы.

— Нет, прыгнул, — возразил самоубийца. — Вот вам крест, прыгнул бы.

— У-у, р-рожа! — зарычал с ненавистью антрепренер. — Так теперь-то чего не хочешь?!!

— Да, может, обойдусь. Выхожусь...

— Говорю тебе, не выходишься! Топился бы лучше уж, гадина омерзительная.

— Чего ж ругаться... Не виноват же я, что планишки некоторые теперь появились.

— Пла-анишки! А почему на мосту планишков никаких не было?

— Почему, да почему... Откуда же мне знать, почему?

Один недоумевал сдержанно, лениво. Другой — злобно, бешено сверляя противника разгоряченными тридцатью тысячами, налитыми кровью глазами.

— Почему? Ну почему?

И никто из них даже не поглядел на скромно лежавшие на тарелках остатки жареной рыбы, ветчины и огрызок отбивной котлеты с картофелем.

КАК МЕНЯ ОБВОРОВЫВАЛИ

I

Однажды я ехал в поезде, имея в кармане две тысячи рублей наличными. В купе вагона нас было двое: я и еще один господин — самого продувного вида.

Еще когда не зажигали огней, я уже решил, что этот господин не прочь обокрасть меня, а когда наступил вечер — я готов был дать голову на отсечение, что мой сосед

не кто иной, как самый зловредный, опытный, хитрый вор без всяких твердых принципов и устоев.

«Хорошо-с, — думал я, свесившись с верхней койки, на которой мне предстояло провести ночь, и разглядывая подозрительного соседа. — Мы с тобой, братец, еще потягаемся!.. Ты хитер, да и я ведь человек не последнего сорта! Посмотрим...»

Голова моя усиленно заработала.

«Если я засну, — размышлял я, — то он сейчас же обшарит мои карманы, найдет в боковом кармане деньги и удерет... Значит, нужно или совсем не спать, или заснуть, спрятав предварительно деньги в надежное место. Не отдать ли их обер-кондуктору?.. Но кто может мне поручиться, что тот завтра утром не отопрется от всего, заявив, что никаких денег он и не видывал? Или сделать так: пойти в уборную и сунуть деньги до утра в умывальник или за электрический фонарь... Конечно, они могут сохраниться до утра. А вдруг кто-нибудь найдет их и заберет себе?..»

По зрелому размышлению я признал все эти планы рискованными и негодными.

«Не спрятать ли деньги в чемодан, привязав потом его веревкой к ноге? Вор схватит чемодан, веревка дернет меня за ногу, я проснусь, наброшусь на вора и отколочу его...»

Это было бы очень недурно, если бы вор дал предварительную клятву не перерезывать ножом веревку, привязанную к ноге.

Но такую клятву, я был уверен, трудно у него вырвать, да и поклявшись, он мог бы нарушить данную клятву, потому что эти люди имеют о совести и религии самое смутное представление...

«А не предложить ли мне ему просто сто рублей, с условием, чтобы он соскочил на первой же станции? Неудобно. Спросит — почему? Раскричится...»

Я долго и тщетно ломал голову и в конце концов остановился на одной мысли, которая показалась мне наиболее подходящей.

«У меня много карманов в платье, — подумал я. — Если разложить деньги поровну по всем карманам — вор вытащит деньги из одного кармана и удерет, не подозревая, что в каждом другом кармане лежит такая же сумма... Лучше потерять мне сто или полтораста рублей, чем две тысячи — это ясно. Лучше уменьшить риск в пятнадцать раз, чем рисковать всем!»

Я погрузился в расчеты.

«В пиджаке у меня пять карманов, да в жилете четыре... Нет, тоже пять — один внутренний. Итого десять. В брюках — два по бокам да один сзади, на пуговице... Если при этом надеть пальто, в котором пять карманов, — получится восемнадцать. Предположим, я размещаю в каждый карман по сотне рублей... Останется две сотни лишних. Куда же их сунуть? В ботинки разве? Самое лучшее место! Наиболее рискованными карманами являются наружные в пальто. Они так явно мозолят глаза, что даже честному человеку трудно удержаться, чтобы не заглянуть в них. Нельзя ли сделать так: из карманов пальто перевести одну сотню в брючный карман, а другую — во внутренний жилетный (самое безопасное место). Или насовать в пальто по десяти рублей на карман — пусть берет, простофиля. Но тогда у меня останется лишних двести пятьдесят. Можно в пиджак. Какой пиджак? Что за вздор... Это я хотел сказать — чемодан? Где чемодан?.. Вот он! Странно только — почему он шевелится?»

Действительно, мой чемодан зашевелился, верхняя крышка отскочила и изнутри выползло нечто вроде змеи красивого изумрудного цвета. Меня страшно удивила особенность женщин притворяться: я сразу разгадал хитрость! Это была не змея, а рукав зеленой кофточки жены. Я увидел жену во весь рост. Она потрепала меня по плечу, опустилась на качалку и лениво сказала:

— Вот скучища-то! Хоть бы в театр куда-нибудь. Еще не поздно? Который час?

Я протянул руку к своим часам и, содрогнувшись, очнулся.

Никакой жены не было. Она исчезла, и даже не одна, а с моим подозрительным соседом.

Я огляделся. Купе было совершенно пусто.

Я схватился за карман. Он был пуст.

В отчаянии я схватился за голову. В ней тоже после крепкого тяжелого сна ощущалась пустота.

Так обокрали меня первый раз в жизни.

II

Вторая кража была на значительно меньшую сумму. Просто когда я жил на кавказском курорте и вышел однажды прогуляться по горам, откуда-то из-за утеса выскочили

кавказские разбойники и украли меня. Повторяю — эта кража была для воров менее прибыльна, чем первая, в вагоне, потому что со мной не было ни копейки денег, а сам по себе я стоил немногого.

Разбойники схватили меня, связали, посадили на лошадь и заявили самым убедительным тоном:

— Если вздумаешь бежать — мы тебя убьем.

— Да для чего я вам понадобился? — с любопытством спросил я. — Вот еще, нашли тоже сокровище!

Моя скромность не произвела на них хорошего впечатления. Начальник толкнул меня в спину и сказал:

— Мы за тебя получим хороший выкуп.

Я был изумлен.

— За ме-ня? Неужели я кому-нибудь нужен?

— Твои родственники выкупят тебя.

Абреки показались мне решительными дураками.

— Родственники? Только им и дела, что выкупать меня. Как же! Есть у меня один дядя, да и тот повесится прежде, чем заплатит за меня три рубля.

— Мы за тебя получим десять тысяч!

Впервые узнал я свою настоящую рыночную стоимость, и размер ее немало меня порадовал. Лично я был о себе более скромного мнения.

— Не буду с вами торговаться, — сказал я, качая головой, — потому что это меня унизит. Но если была бы малейшая возможность зашибить на мне деньгу, я первый сказал бы вам: «Просите двадцать тысяч. Мы оба по-братски заработаем на этом деле». Однако я не говорю этого. Почему? Совершенно безнадежное предприятие — за меня никто не даст ни копейки!

— У тебя есть друзья! — угрюмо сказал начальник.

Я горько засмеялся.

— Друзья! Я у них пó уши в долгу! Я перехватывал деньги, где только мог... Когда ваш посланный явится к ним за выкупом, они поймают его, свяжут и потребуют уплаты всех моих долгов. Скажу вам откровенно: никогда вы не делали более глупой и менее удачной кражи, чем кража меня. Ваш торговый дом может лопнуть на мне, как мыльный пузырь. Я величина в покупательском смысле не только положительная, не только нулевая, но даже отрицательная! Прогоните меня как можно скорее.

— Пиши письмо! — закричал сердито начальник. — Проси выкупа, или мы тебя зарежем, как собаку.

— Кому? — вспылил и я. — Кому я буду писать? Ротшильду? Испанскому королю? Говорю же вам: ни одна душа в мире не даст за меня ни копейки. Что я такое? Писаный красавец, гений, за которого всякий отвалит какой угодно куш?! Украли... тоже! Не могли найти ничего лучшего... Где у вас глаза-то были?

Тон у меня был такой убедительный, что все сконфузились.

— В таком случае мы тебя зарежем, — предложил начальник.

— Тоже предприятие! Из одной глупости в другую. Такие вы умные интеллигентные разбойники, а рассуждаете, как... черт знает кто. Ну, вы меня зарежете — какая вам от этого польза? А если отпустите — я вернусь в город и буду расхваливать вас на всех перекрестках. Распишу, какие вы смелые, мужественные, благородные... Популярность ваша возрастет, и бедное население окружит вас ореолом героев. Богачи будут вдвойне бояться вас и беспрекословно выкупать друг друга. Кроме того, вернувшись в город, я постараюсь сам разбогатеть, обрасти, как говорится, шерстью, и если когда-нибудь снова попадусь вам — за меня любой банк заплатит вам сколько пожелаете. Отпустите меня, а? Черт со мной, в самом деле!

— Черт с ним, в самом деле, — сказал, пожимая плечами, начальник. — Развяжите его. Пусть убирается на все четыре стороны.

Опьяненные моим дешевым красноречием, невежественные сыны гор развязали мне руки, и я пустился бежать по крутым утесам и камням с такой быстротой, что, если бы случилось мне споткнуться и упасть в пропасть, — от моего десятитысячного тела остались бы жалкие обломки, рублей на двадцать — двадцать пять по наивысшей оценке.

III

До сих пор я считаю самым гнусным делом третью кражу. Отчасти потому что она была двойная, а отчасти в ней был замешан один из моих лучших друзей.

Друга этого звали Фролов.

В дни нашей ранней молодости мы были неразлучны, но потом, когда в нашем городе появилась красавица вдова

Марфа Леонидовна, — наши отношения испортились. Ухаживали мы за ней оба, оба бывали у нее, но однажды Фролов в мое отсутствие совершенно необъяснимым образом взял надо мной перевес, и с тех пор красавица была для меня совсем потеряна. Я был так огорчен, взбешен и расстроен, что не являлся к ним (они поселились вместе) целый год, а потом однажды явился, чтобы высказать счастливым любовникам свое настоящее мнение об их отношении ко мне.

Когда я приехал к ним, Фролова не было, и приняла меня Марфа Леонидовна.

Я уселся в кресло, угрюмо оглядел ее пышную великолепную фигуру и спросил сдавленным голосом:

— Счастливы?

Она улыбнулась:

— О, конечно.

— Послушайте, — сказал я, придвигаясь к ней в порыве неизъяснимого вдохновения. — Я через пять минут уйду и никогда больше, слышите ли, никогда не покажусь вам на глаза. И только об одном умоляю — объясните мне, как другу: за что вы его полюбили? Чем он покорил вас?

Она смотрела в окно, мечтательно улыбаясь и постукивая носком туфельки о ковер. Потом после некоторого колебания сказала:

— Вам это может показаться странным, но Володю я полюбила за одно стихотворение. Такое стихотворение мог написать только талантливый, безумно любящий человек. И когда он прочел его мне и посвятил — я дала ему первый поцелуй.

Я всплеснул руками.

— Володька написал хорошие стихи?! Полноте! Он способен рифмовать «село» и «колесо», «медведь» и «плетень» — я очень хорошо его знаю. Наверное, бездарные глупейшие стишонки написал он вам?

— Ошибаетесь, — нахмурилась она. — Стихи бесподобные. Так мог написать только большой поэт. Правда, такие стихи могла подсказать исключительно любовь ко мне — больше он стихов не писал.

— А как они... начинаются? Не помните?

Она обратила глаза кверху и тихо начала:

В ночь разлуки с тобою приснился мне сон.
Страшен был, непонятен был он...

Для него нет в уме объясненья —
Мне пригрезились волны забвенья
Мутной Леты, и он — этот дряхлый Харон —
Вел ладью свою против теченья...
Я в ладье той сидел
И печально гляде...

Я вскочил с кресла и с громким криком схватил прекрасную вдову за руку.

— Слушайте! — вскричал я. — Да ведь это мое стихотворение!! Я его тогда же, помню, написал и показывал Фролову. Фролов пришел от него в неистовый восторг, просил даже переписать его...

Красавица побледнела, как бумага. Грудь ее вздымалась, подобно морской волне.

— Возможно ли это?

— Клянусь вам — это мои стихи.

Руки ее бессильно упали на колени.

— Что же... теперь делать?

Я заглянул ей в лицо и сказал:

— Первый ваш поцелуй принадлежал вору; отдайте второй — собственнику!

— Но ведь я целый год любила его за это стихотворение!

— В таком случае, — озабоченно сказал я, обнимая ее талию, — нам нужно как можно скорее наверстать этот украденный год!!

И эта честная женщина пожалела обворованного простака, и тихо улыбнулась ему, и поспешила согласиться с ним...

Я И МОЙ ДЯДЯ

Один знакомый спросил меня:

— Скажите, Двуутробников, у вас есть здесь в Петербурге какие-нибудь родственники?

— Нет, — сказал я. — Никаких.

— Может быть, однофамильцы?

— Нет. Моя фамилия очень редкая. Пожалуй, единственная.

— А я вчера, проходя по Николаевской улице, видел на парадных дверях карточку: «Илья Капитонович Двуутробников».

— Капитонович?.. Гм... И мой отец тоже был «Капитонович».

— У вас был дядя?

— Был... давно-давно. Да куда-то потом исчез.

— Так поздравляю вас! Это, наверно, и есть ваш дядя. А дядя, живущий на хорошей улице и имеющий на дверях медную карточку, — это чудесный материал для будущего наследства!

Глаза мои заблистали.

— Я хочу к дяде! — вскричал я.

— ...Да и не только наследство... богатые дяди любят даже при жизни делать племянникам кое-какие подарочки.

— Я хочу к дяде! — закричал я, обуреваемый новым, неизведанным мною, чувством. — Я сегодня же хочу видеть милого дядю.

— Не забудьте же, — сказал знакомый, прощаясь со мной, — что это я сообщил вам о дяде. Если возьмете у него малую толику — поделитесь со мной.

— К дя-яде!! — ревел я, приплясывая.

Я написал такое письмо:

«Милый дядюшка! Это пишет вам ваш дорогой племянник Марк Двуутробников, живший доселе в одиночестве без родственного участия, попечения и ласки. О, как тяжело, незабвенный дядюшка... Зайду к вам сегодня вечерком. В чаянии быть вам полезным

Ваш Марк».

Вечером я звонил к дядюшке.

Дверь открыл мне какой-то старик в рваном пестром халате, подпоясанный веревкой с громадным толстым узлом на животе.

— Кого вам? — подозрительно спросил он.

— А что, братец... — спросил я, — дядюшка мой Илья Капитоныч принимает?

Старик, шлепая стоптанными калошами, отошел в угол пустой комнаты, опустился на подоконник и сморщил лицо.

— Принимает?! Где мне принимать. Я и лекарство-то перестал принимать, потому что в доме ни шиша нет, а мошенники-аптекаря в долг не отпускают.

— Это, значит, вы и есть мой дядя? — строго спросил я.

— Я! А то кто же. Спасибо, что вспомнил племянничек. Авось хоть он поддержит чем-нибудь бедного больного, разоренного дядьку. Знаешь, братец, не приди ты — я уже не знаю, чтобы мне и делать, форменный ты, брат, якорь спасения.

Идя к дядюшке, я втайне считал его якорем спасения. Теперь два якоря спасения стояли друг против друга и смущенно переглядывались...

Якорь спасения, который помоложе, вздохнул и подумал:

— Не влопался ли я в скверную историю? Не сядет ли этот оборванный дядюшка мне на шею? Не придется ли мне его содержать? Не проиграл ли я на этом деле?

А старший якорь спасения переминался с ноги на ногу, тер переносье, с надеждой заглядывал мне в глаза.

— Какой же ты молоденький!.. Какой раскрасавчик? Как пышно одет? Небось тысяч шесть в год зарабатываешь?..

Старая развалина имела хороший нюх: я действительно зарабатывал в год шесть тысяч.

— Дядюшка! — воскликнул я, утирая кулаком слезу. — Дядюшка! Знаете ли вы, что это платье — единственное, что у меня есть. Вы живете по сравнению со мной богачом!.. А я... даже собственного угла не имею... Живешь просто из милости у приятелей: сегодня у одного, завтра у другого.

Заложив руки назад, я поспешно перевернул бриллиантовое кольцо камнем внутрь и потом, помахивая сжатым кулаком, энергично продолжал:

— Дядюшка! Знаете ли вы, что мне по три дня не приходилось есть горячей пищи?! Чай, колбаса, французская булка — таково было мое неприхотливое меню.

Глаза дяди засверкали:

— Как?! У тебя есть чай, колбаса и булки и ты... жалуешься?! О милый... Если бы ты угостил меня подобным обедом — я, кажется, насытился бы на месяц. О, Боже! Свежая вареная колбаса... чуть-чуть с чесночком. Французская булка похрустывает на зубах... Чай ароматно и приветливо испускает теплый пар... Ложечка тихо позвякивает в стакане, размешивая сахар.

Я чувствовал, что гибну, что кто-то схватил меня за горло и хочет ограбить.

— Дядюшка! — отчаянно воскликнул я. — У меня даже нет ложечки! Я размешиваю чай ручкой зубной щетки!

— О?! — недоверчиво прищурился дядя. — У тебя есть даже зубная щетка? Решительно ты прожигаешь жизнь! Зубная щетка... Когда ты, милый, придешь ко мне еще раз, захвати ее с собою... Давно не видел я зубной щетки... Хоть перед смертью поглядеть...

Я с отвращением посмотрел на этого мизерного человечка и угрюмо спросил:

— Значит, вам тоже неважно живется?

— Мне? Если ты, милый, не позаботишься обо мне — я скоро умру от голодухи и лишений... Раньше у меня была одна знакомая кухарка с верхней площадки, которая снабжала меня объедками и огрызками с барского стола за то, что я читал ей Евангелие. Но теперь Евангелие дочитано — и я лишился кухаркиной поддержки.

— Чем же вы питаетесь? — спросил я, нервно прохаживаясь по пустой неприветливой комнате.

Шаркая калошами, он подошел ко мне ближе и шепнул:

— Животными.

— Какими?

— Преимущественно крысами. У нас тут много развелось этих грызунов. Я ставлю ловушку и потом жарю пойманных крыс. Они по вкусу чуть-чуть напоминают молодую баранину и только немного отдают свечным салом. Если ты, дорогой мой, заглянешь ко мне еще раз, я угощу тебя горяченьким...

— Спасибо, дядюшка, — с горечью возразил я. — Но едва ли мне придется еще раз воспользоваться вашим гостеприимством.

— А что? — с беспокойством спросил дядя.

— Дело в том, что это платье, в сущности, не мое, дядюшка. Я давеча прихвастнул. Это платье взято на прокат у приятеля... Я вернусь к нему сейчас, возвращу платье — и положение мое делается в прямом смысле безвыходное.

У нищего старика, в сущности, была добрая душа... На лице его выразилось живейшее сочувствие.

— Эге! Дела твои действительно плохи... Нельзя ли этому помочь? Я вчера утащил, признаться, у швейцара коврик, который был разостлан на площадке... Нельзя ли тебе соорудить из него своими средствами теплый костюмчик. Только уж ты тогда, являясь ко мне, молнией проносись мимо швейцара. А то — узнает свое добро — беды не оберешься. Хе-хе!..

Я сделал кислое лицо.

— Тоже... придумали! Кто же шьет из цветных ковров платье?! Да и кто шить-то будет?

— Ничего, брат. Можно, как-нибудь... Иглы, правда, у меня нет, но зато есть припрятанная про запас парочка-другая рыбьих костей. А то, хочешь, я тебе свой пальмерстончик уступлю. Ходи в пальмерстончике.

Я оглядел отвратительные лохмотья, облекавшие его тощее тело, и решительно сказал:

— Нет! Не надо. Я не хочу лишать вас последнего. Не судьба нам, значит, встречаться. Прощайте, бедный, дорогой дядюшка.

— Куда же ты? Посиди еще.

— Да на чем тут, черт возьми, сидеть, — досадливо вскричал я. — Когда даже стульев нет.

— А ты... на подоконнике... — робко предложил дядя. — Или я тебе газетку на полу постелю, посидим еще, поболтаем о том о сем.

— Благодарю вас!! — бешено вскричал я. — От вас пышет гостеприимством! Усядемся мы на рваных газетах, займемся шитьем пальмерстончика из старых рыбьих костей и краденых «коверчиков», а потом, подкрепив силы парой жареных крыс, разойдемся веселые и довольные друг другом. Нет-с, дядюшка! Я к такой жизни не привык-с!

— Конечно, — с обидой в голосе прошептал дядя. — Где нам! Вы привыкли на стульях сидеть, чаи с колбасами распивать, зубными щеточками жизнь свою украшать... Где нам...

Я почувствовал, что обидел старика.

— Ну чего там, дядя, бросьте. Не стоит. Только вот что: объясните мне одну дьявольскую загадку.

Дядя побледнел и съежился.

— Что такое?

— Почему у вас медная дощечка прибита? Почему квартира ваша на втором этаже? Что у вас в следующих комнатах?

— О милый! Это целая история... Квартира эта принадлежит моему другу, торговцу стеклом и фаянсовой посудой. Однажды дела его испортились... ему грозила продажа с аукциона товаров, полное разорение... Тогда он ночью свез самый ценный товар в эту квартиру, сложил до поправления дел, а мне разрешил из милости жить в первых двух комнатах. В остальные я и не захожу.

— Гм... Ну, прощайте, дядя... Свидимся ли, Бог весть.

— Куда же ты?

— Я думаю, мне пора! Кстати, который теперь может быть час?

Машинальным движением старик засунул руку за пазуху своей отвратительной хламиды, вынул массивные золотые часы и сказал:

— Шесть.

— Дядюшка! У вас золотые часы!!

С юношеской неосторожностью я всплеснул руками — и бриллиант сверкнул на моем пальце.

Хитрый старик заметил это и, сунув за пазуху часы, с усмешкой сказал:

— Убей меня, если я поверю, что это тысячное кольцо одолжил тебе тот же приятель!

Я потыкал пальцем в грудь старика и многозначительно сказал:

— Часы. Золотые.

— Золотые? Ха-ха, — визгливым, фальшивым смешком раскатился дядя. — Нового золота, брат! Шесть с полтиной — в лучшие времена были куплены. Их теперь и за рубль не продашь.

— Э, черррт!.. — вне себя зарычал я. — Вы все еще ломаетесь?.. Так докажу же я вам, что юность порывистее, откровеннее и честнее старости! Вот... и вот! И вот! И вот!!

Я снял кольцо, вынул золотой портсигар, часы, бумажник, в котором было около сотни рублей, тонкий батистовый платок — и все это лихорадочно расшвырял по подоконнику.

— Вот вам колбаса! Вот булки! Вот вам моя нищета и злосчастье! Перехитрил ты меня, старая лисица! А дома еще есть фрак, два сюртука, бриллиантовая булавка и запонки.

Мы обернулись друг к другу и долго пронзительно смотрели один на другого.

— Ага... — сказал, лукаво хихикнув, старикашка. — Вот это другое дело.

Он развязал веревку на животе, стянул свой халатик и с отвращением отбросил его в угол.

— Долго пришлось мне рыться на чердаке, пока подвернулась под руку эта подходящая дрянь.

Под халатом у него был черный суконный жилет и элегантный бархатный пиджак.

— Адольф! — заорал он во все горло. — Вели Ильюшке подавать обед!! Ты не откажешься, надеюсь, пообедать со мной?

— Крысами? — насмешливо прищурился я.

— Но ведь и не колбасой, — возразил дядя. — У меня повар не из последних.

Он взял меня под руку, потащил в столовую, но на пути остановился и с силой хлопнул меня по плечу.

— А ведь получишь ты после меня наследство, каналья! Чувствую я это.

— А то как же, — хладнокровно улыбнулся я. — Конечно получу. Ведь я ваш настоящий, неподдельный племянник.

— Выдержки у тебя не хватает... — упрекнул он.

— Я ж еще молодой!

Дядька визгливо захохотал.

МОЛНИЯ

I. Приезд незнакомца

Если сказать правду, то рудничный поселок «Исаевский» считался первым среди других поселков — по числу и разнообразию развлечений.

Жаловаться было нечего: каждая неделя приносила что-нибудь новое. То конторщик Паланкинов запьет и в пьяном виде получит выговор от директора, то штейгерова корова сбесится, то свиньи съедят сынишку кухарки чертежника... А однажды рудничный врач, в пьяном виде, отрезал рабочему совсем не ту ногу, которую следовало. Этой ногой досужие, скучающие конторщики кормились целую неделю, потому что хотя здоровая нога и была зарыта в больничном саду, но родственники безногого пронюхали об этом, вырыли ногу и явились к доктору просить на чай. Доктор раскричался, заявил, что понимает в медицине не хуже любого человека, и только после долгих споров, когда родственники стали энергично наступать на него с ногой в руках, — он сдался

и уплатил десять рублей, не считая докторского осеннего пальто, подаренного безногому рабочему за беспокойство.

Немало развлекала рудничную молодежь и история с неизвестным прохожим, который, шатаясь в зимнюю ночь около поселка, влез погреться на коксовую печь старой системы и прогорел. Объясняли так: когда он ложился, печь была еле-еле теплая, а потом огонь разгорелся, пробился сквозь угольную кору и прожег бок спящему.

Видом своим изжаренный прохожий напоминал громадного поросенка, кожа на нем полопалась, волосы обгорели, и, так как он из-за каких-то формальностей целую неделю ждал погребения — конторщики, стосковавшиеся по свежему, новому человеку, гурьбой шли в сарай, поднимали простыню и рассматривали покойника.

Но все это были мелочи по сравнению с тем событием, которое оставило самый яркий след в жизни поселка... Событие это было — кинематограф и стереоскопы.

Однажды в осеннее утро, похожее как две капли воды на другие утра, в контору приехал худой черный человек с цыганским лицом и белыми зубами, сверкнул этими зубами, сверкнул белками глаз и потребовал, чтобы его проводили к главному инженеру...

Сначала все предположили, что это — лесной поставщик, и не обратили на него никакого внимания, но это оказался не поставщик!

Инженер после краткой беседы с приезжим вышел в контору и сказал:

— Вот, господа, monsieur Кибабчич предлагает у нас устроить временный кинематограф. Я думаю дать ему разрешение, конечно, только в том случае, если это не будет неблагоприятно отражаться на общем ходе занятий вверенного мне поселкового персонала!..

Инженер повернулся и ушел, а контора загудела, оживилась, и Кибабчич сразу оказался в кругу двадцати молодых людей с испитыми от работы, пьянства и скуки лицами.

Все впились в него глазами и стояли молча с полминуты.

Самый развязный из конторщиков Масалакин протянул ему руку и сказал:

— Позвольте познакомиться.

Кибабчич очаровал всех своим ловким, непринужденным ответом. Он сказал:

— Очень рад.

— Позвольте познакомиться, — протянул руку табельщик Уважаев.

И конторщик Петухин протянул тоже руку и сказал:

— Позвольте познакомиться.

И всем говорил Кибабчич, этот чудесный, загадочный человек из другого неведомого края:

— Очень рад. Очень рад.

— Ну, — сказал старик Лиховидов, — посмотрим, посмотрим ваш кинематограф.

— Не оставьте меня вашим благосклонным вниманием, — расшаркался Кибабчич.

— Мы будем ходить каждый день! — в порыве беспредельной радости вскричал Петухин.

Над поселком «Исаевским» загоралась новая заря.

II. Премьера

В большом помещении, носившем название «ожидальня», потому что зимой в нем сотни рабочих ожидали расчета, кипела работа. Плотники натягивали на раму полотно, устраивали скамьи для публики и загородку для рабочих.

Конторщики то и дело выскакивали из конторы и прибегали смотреть, как идет работа и успеют ли закончить все к вечеру воскресенья, когда была назначена премьера.

Уже в субботу с утра в конторе никто не занимался. Все бродили от одного стола к другому и с напускным видом равнодушия вели беседы.

— Симпатичный он человек, этот Кибабчич. Такой простой. Вчера даже обедал у штейгера Анисимова.

— Ну?.. Все-таки, что ни говорите, затеять такое дело нужна большая сметка! Ведь это как театр!

— А его сестра на мандолине играть будет, — сказал пронырливый Масалакин.

— Что ты! Артистка?

— Значит, артистка, если играет на мандолине!

— И ты с ней знаком?

— Ну, не знаком еще. Но могу познакомиться... через Анисимова.

Все пожали плечами, но на лицах читалась самая некрасивая, незамаскированная зависть.

Наступило воскресенье.

Хотя начало сеанса было назначено на восемь часов, но рабочие пришли в четыре, конторщики — в шесть с половиной, а бухгалтер и штейгер, как истые аристократы, пресыщенные жизнью и удовольствиями, — в семь часов.

Масалакин, этот несокрушимый смелый лев, успел-таки познакомиться с сестрой Кибабчича и с семи часов вечера уже стоял около ее стула, рассматривая мандолину с искусственным спокойствием человека, умеющего владеть собой.

Масалакин был одет шикарнее всех. На нем был смокинг, темно-красный закрытый жилет и изящные скороходы, сквозь верхние прорезы которых виднелись чистые белые чулки. На пальце сверкал огромный бриллиант, выменянный у Петухина на собрание сочинений Жюля Верна, а в галстуке торчала такая громадная булавка, что Масалакин время от времени одним размашистым движением подбородка сверху вниз втыкал ее глубоко по самую шляпку в галстук.

Дамы смотрели на него с обожанием, конторщики завидовали, а он бросал на всех рассеянные, снисходительные взгляды и вел со своей соседкой разговор вполголоса.

И думал он: «Почему не все люди одинаковы? Почему я красив, блестящ и умею поговорить, а другие конторщики — жалкие, невидные, ничем не выделяющиеся... Почему одних Господь отличает, а других сваливает в одну кучу?..»

Премьера удалась на славу. Картины весело мелькали на экране, m-lle Кибабчич играла вальс «Сон жизни», а Масалакин изредка наклонялся к ней с целью показать, что между ними уже установились дружеские отношения, и спрашивал:

— А из «Евгения Онегина» Чайковского что-нибудь играете? Или марш «Вахт-парад»?

Во время перерыва дочь больничной сиделки Аглая Федоровна подозвала блестящего Масалакина и сказала:

— Фу, какой вы нарядный! Слушайте, вы знакомы с самим антрепренером... как его?

— Кибабчич, — уронил небрежно Масалакин. — Как же, Кибабчич!

— Познакомьте меня с ним.

Масалакин ринулся в будку, вытащил оттуда Кибабчича и, дружески взяв его под руку, потащил в третий ряд.

— Да иди сюда, Костя! Да иди сюда, я тебя с одной барышней познакомлю. Не бойся!

Все ахнули, услышав, что Масалакин уже на «ты» с гордым, богатым директором кинематографа. Конторщики завидовали...

И когда этот человек все успевал?

III. На другой день

Утром в конторе опять завидовали блестящему Масалакину, расспрашивали его о домашней жизни директора кинематографа и, подмигивая, говорили:

— А вы прямо ухажером сделались этой, что на мандолине играла. Смотрите, влюбитесь.

Масалакин радостно смеялся.

— Уж и влюблюсь! Просто я люблю театральный мир и артистов. В них есть что-то благородное!

— Она действительно его сестра?

— Да-а. Она окончила курсы игры на мандолине, бывала в Петербурге. Даже несколько раз.

Во время обеденного перерыва Масалакин предложил товарищам:

— Хотите, пойдем в кинематограф?

— Да там же сейчас ничего нет.

— Все равно. Я покажу вам полотно, ленты. Картинки маленькие-маленькие.

И он, как свой человек, повел конторщиков в «ожидальню».

Там царила полутьма. Кибабчич возился в будке, а сестра его меняла на мандолине струну.

— Позвольте познакомить вас, — сказал Масалакин.

— Очень приятно, — сказала барышня.

— Очень приятно. Очень приятно. Очень приятно, — застенчиво сказали три конторщика.

Кибабчич вылез из будки и стал показывать полотно и ленты.

— Неужели за полотном ничего нет? — удивился Уважаев.

— Ничего. Простая стена.

— Поразительно. А я думал... А это что такое?

— Стереоскопы. Сейчас я зажгу лампочку. Если в это отверстие бросить пятак и вертеть ручку, то вы увидите раздевающуюся парижанку, купание в Биаррице и мечеть в Каире. Очень интересно!

Раздевающаяся парижанка понравилась больше всего. Петухин истратил на нее три пятака, Уважаев — четыре, а какой-то маленький, вновь поступивший конторщик с бледным лицом — сорок копеек.

Масалакин в это время что-то шептал барышне тихим, разнеженным голосом.

IV. Еще несколько дней

Каждый вечер зажигались лампы, впускалась по билетам публика и Кибабчич показывал свои картины. Несмотря на то что их было только восемь и программа ни разу не менялась, публика с охотой десятки раз просматривала и «Выделку горшков в Ост-Индии», и «Барыня сердится» (очень комическая), и «Путешествие по Замбези» (видовая)...

Наоборот, было так приятно узнавать старых знакомых: барыню, бьющую посуду на голове мужа, негров, вытаскивающих гиппопотама, и неловкого штукатура, обливающего краской прохожих.

— Сейчас будет «Жертва азарта»! — предсказывал Петухин, развалившись во втором ряду.

— Нет, это через картину, — возражала сиделкина дочь Аглая. — А сейчас «Барыня сердится», очень комическая. Я хорошо помню, Константин Сергеевич! — кричала она, оборачиваясь к будке. — Ведь сейчас «Барыня сердится», очень комическая?

— Да, да, Аглая Федоровна. Впрочем, какую вы хотите, ту и пущу!

— Ах, какой вы кавалер!

Аглая краснела. Все завидовали.

Днем в «ожидальне» всегда торчал кто-нибудь из конторщиков. Заходил Петухин и, здороваясь с Кибабчичем, говорил:

— Скучно что-то. Посмотреть разве «Парижанку»?

— Пожалуйста, — радушно говорил Кибабчич, — картина интересная.

Петухин бросал пятак, смотрел «Парижанку», потом «Купание в Биаррице», а потом, чтобы отстранить от себя подозрения в склонности к эротике, жертвовал пятак на скучную «Мечеть в Каире».

Приходил и Уважаев.

— Смотрел уже «Парижанку»?

— Смотрел. И «Мечеть» смотрел. И «Купанье».

— Хочешь еще посмотрим? Куда ни шел пятачок? Посмотрим?

— Ну, давай.

Друзья становились у стекол и вертели ручку, любуясь знакомой, до последней черточки и складки белья, парижанкой.

— Вечером будете? — спрашивал Кибабчич.

— Конечно, будем. «Барыня сердится» будете показывать?

— Все буду. Приходите.

Кибабчич был светлым лучом Исаевского поселка, несмотря на то что конторщики совершенно разорились на стереоскопы и билеты.

Кибабчича приглашали с сестрой на обеды, на именины, катали на рудничных лошадях... Аглая вышила ему голубую сорочку, а Масалакин подарил m-lle Кибабчич громадную коробку конфет от Шелепова — таких сухих, что их перед едой нужно было обливать теплой водой.

V. Тьма

И вот в один осенний день все это неожиданно кончилось... Кибабчич объявил, что завтра состоится последний спектакль и на другое утро они с сестрой перевозят свой театр на новое место.

Погас светлый луч...

Больше всех были в отчаянии Масалакин и Аглая... Она пришла вечером к Кибабчичу, вызвала его и имела с ним долгий разговор. А Масалакин сказал своей артистке, что едва ли переживет удар... Она ответила, что им нужно расстаться, а Масалакин заявил, что все артистки равнодушны и жестоки!.. И намекнул, что если он когда-нибудь умрет, то немалая доля вины в этом придется на долю кое-кого.

По окончании спектакля директору кинематографа и его сестре был устроен ужин, на котором Петухин говорил длин-

ную, отрывистую речь, смысл которой заключался в том, что он благодарит дирекцию за доставленное эстетическое удовольствие и что деньги, в сущности, дрянь. Все сидели печальные, как на похоронах... А утром блестящая труппа покинула Исаевский поселок... Уехали: брат, сестра, «Парижанка», «Барыня сердится», штукатур, гиппопотам, «Мечеть» и Аглая, которая бросила отчий кров для захватывающе интересной жизни с обаятельным авантюристом Кибабчичем.

И стало мертво, темно и пусто...

Даже неудачное покушение Масалакина на самоубийство при помощи баночки хлористого натра, украденного в рудничной аптеке, и то не расшевелило заснувших.

СВОЙ КРЕСТ...

Noblesse oblige[1]

Однажды канцлер докладывал королю о текущих делах.

— ...Кроме аудиенции, которую, ваше величество, вам предстоит дать завтра итальянскому послу, сегодня вам будут представляться: турецкий посланник, поверенный в делах Мексики и...

Король поднял свое бледное, угрюмое лицо и неожиданно произнес странные, неслыханные слова:

— А... знаете что? Ну их всех к черту!

— Ваше королевское величество! Осмелюсь напомнить, что с итальянским посланником предстоит беседа о новом торговом договоре...

— А... знаете что?.. Ну их всех к черту. Отвяжитесь от меня с вашими договорами! — крикнул король. — Не желаю! Довольно. Никаких приемов, официальных обедов и полуофициальных завтраков. Спасибо! Сыт по горло.

Канцлер почтительно склонился.

— Слушаю-с. В таком случае, может быть, вы не откажетесь принять в пятницу немецкого посла?

Король всплеснул руками.

— Это удивительно! Скажите, неужели мы говорим с вами на разных языках? Неужели вы меня не поняли?

[1] Положение обязывает (*фр.*).

— Слушаю-с. Какие будут теперь приказания вашего королевского величества?

— Никаких. В том-то и штука, что никаких. Надоело мне все это до смертушки! Ухожу я от вас. Уйду в лес, найду какую-нибудь заброшенную хижину и буду жить в ней, питаясь плодами да рыбой, пойманной в ближайшей речке. Ах, если бы ты знал, — сказал задушевным тоном король, переходя на «ты», — как я давно об этом мечтаю.

— Слушаю-с. Прикажете приготовить автомобиль и выработать маршрут?

— Этого только недоставало!! Смешной ты человек, братец... Единственно, что я прикажу, — чтобы мне по дороге никто не мешал, не кричал «ура!» и не приставал с расспросами и услугами. Дай повсюду распоряжение, чтобы считали меня по дороге простым крестьянином. Да приготовь котомку и палку.

— Будет исполнено. Котомка и палка будут, к сожалению, готовы только к вечеру.

— Господи! Почему так долго?

— Котомку я предлагаю сделать из лионского бархата с вышивкой жемчугом, шелками и аграмантом. Палку изготовим вам из розового дуба с золотым набалдашником, украшенным десяточком-другим бриллиантиков...

— Знаешь что? Ты мне надоел. Если ты это сделаешь, я выброшу твою бархатную котомку и золотую палку в окно, а сам убегу безо всего.

Ранним утром вышел из дворца король, одетый в крестьянское платье, и пошел на восток.

Пройдя несколько верст, свернул в сторону и зашагал по девственным пустым полям. Только один раз встретился ему работавший в поле человек.

Человек этот, увидев короля, раскрыл рот и выпучил глаза так, что они чуть не высыпались из орбит.

— Чего ты смотришь? — нахмурился король. — Разве ты знаешь, кто я?

— Так точно. Знаю.

— Ну кто?

— Кто вы? Простой мужик, ваше королевское величество.

— Тьфу!

Раздосадованный, зашагал король дальше. И вот, углубившись в лес, нашел король то, что искал. Среди высоких стройных деревьев притаилась маленькая заброшенная хижина дровосека, все убранство которой заключалось в маленьком кабинетном рояле, кровати с пружинным матрасом и полдюжине простых венских стульев. Даже ковров не было в этом убежище нищеты и заброшенности!

Король, как ребенок, захлопал в ладоши и нашел, что лучшего помещения ему и не потребуется.

Голод стал мучить его.

«В речке должна быть рыба, — подумал король. — Хорошо бы поймать ее. Но чем?»

Он задумчиво опустил глаза и вскрикнул от радости: на траве лежала брошенная кем-то удочка. Король схватил ее и помчался к речке. У берега лежал красивый, выдолбленный посредине камень, на котором сидеть оказалось очень удобно. Король забросил в густые камыши удочку и, когда через минуту дернул удилище, на конце лесы держалась большая серебристая рыба. К удивлению короля, она оказалась совершенно очищенной от чешуи и даже выпотрошенной. Это заставило короля призадуматься. Он еще раз забросил удочку и опять через минуту вынул рыбу, которая была битком набита перцем и лавровым листом, а во рту держала большой очищенный лимон.

«Странная порода», — подумал король и пошел в свою хижину.

В печке весело пылал огонь.

— Откуда это? Гм... Может быть, я нечаянно давеча бросил на стружки спичку — стружки и загорелись? Непонятно...

Король сварил рыбу, съел вкусную, жирную уху и вышел прогуляться. Жажда томила его. По дороге ухо короля уловило журчанье ключа, пробивавшегося в скале. Жаждущий путник без труда нашел ключ, прильнул к нему — и, изумленный, отпрянул прочь. Вода была сладкая, пахла апельсином, а сбоку на скале висела медная дощечка с надписью: «Газирована. Приготовлена на кипяченой воде».

Глаза короля потускнели и лицо омрачилось. Он тихо отошел от лимонадного ключа и побрел дальше среди роскошных фруктовых деревьев, отягченных большими аппетитными плодами.

Рука его машинально потянулась к белому сочному яблоку. Но яблоко было высоко. Король стал на цыпочки... Со своей стороны яблоко тоже принагнулось, вздрогнуло и, отделившись от ветки, упало в королевские руки. Близорукий король не заметил, что от ветки шла вниз проволока, терявшаяся в кустах, но близорукий король заметил, что яблоко было искусно очищено от кожицы и даже сердцевина с семенем была выдолблена.

Король швырнул яблоко в кусты и побрел дальше. По дороге он нервно теребил тонкий батистовый платок, который какими-то судьбами очутился в кармане его грубой крестьянской куртки. Потом возвел глаза, свои печальные, потускневшие глаза, к небу — и выронил из рук платок.

В тот же момент из густых кустов высунулась чья-то рука, схватила платок и почтительно протянула его королю.

— Негодяй! — заревел король, хватая эту руку. — Так-то вы устраиваете вашему королю одиночество и жизнь в пустыне!!

Он вытащил за руку растерянного слугу, закричал на него, затопал ногами, покатился в истерическом припадке наземь и стал рыдать и вопить, стуча кулаками по траве.

— Как?! Я хочу быть один, я хочу уйти от вас, и я не могу этого сделать?! Я, король, не могу сделать того, что доступно ничтожнейшему из моих подданных? Всю жизнь, значит, на меня наложены эти проклятые цепи ненужной мне придворной заботливости и дурацкого комфорта — и никуда я, никуда не спрячусь от них?! И, значит, как бы я ни старался — я до самой смерти не сброшу этих бархатных, усеянных жемчугом пут, этих золотых палок с бриллиантовыми набалдашниками... О, если так — довольно! Лучше смерть...

Вокруг рыдавшего короля уже стояла почтительная, молчаливая толпа придворных и робко поглядывала на своего повелителя.

— Лучше смерть! — ревел обезумевший король. — Лучше в реку! Прощайте, мои погубители. Ни с места! Не смейте следовать за мной.

И помчался бедный король к реке.

Но как ни спешил король — придворные были резвее его...

Король добежал до реки и остановился, удивленный: на берегу он увидел маленькую пристань и несколько сту-

пенек, ведущих к воде. Пристань была украшена зелеными гирляндами, цветами и транспарантами, а ступеньки, ведущие к воде, — обиты красным дорогим сукном.

— Это что? — строго спросил король.

Выдвинулся вперед церемониймейстер.

— Это-с? Место для самоубийства, ваше королевское величество. Мы в отчаянии, что не успели нагреть воду и довести ее до температуры вашей ежедневной утренней ванны — но времени было так мало...

Король опустился на траву (впрочем, не на траву: под него сейчас же подкатили свернутый в трубку персидский ковер) и долго и тихо плакал. Все, окружив короля, молча ждали... Потом король встал, утер слезы и обвел всех страдальческими глазами.

— Ну... черт с вами! Забирайте меня.

И повели короля во дворец.

ДУРАКИ, КОТОРЫХ Я ЗНАЛ

I. Удивительный конкурс

Громов сосредоточенно взглянул на меня и сказал:

— В этом отношении люди напоминают устриц.

— В каком отношении и почему устриц? — спросили мы: я и толстый Клинков.

— В отношении глупости. Настоящая, драгоценная, кристальная глупость так же редка в человеке, как жемчужина в устрице.

— Не рискованно ли сравнивать глупость с жемчужиной? — спросил рассудительный Клинков.

— Не рискованно!! Вы знаете, я уже второй год культивирую около себя дурака. Что это за прелесть! Сущая жемчужина. Нужен был тщательный половой подбор, несколько поколений глупых людей, чтобы произвести на свет такое сокровище. Зовут его Петенька.

— У меня тоже есть свой дурак, — похвастался Клинков. — Он, вероятно, лучше твоего. Это самый веселый восторженный дурак в свете. Я познакомился с ним в одном доме шесть месяцев тому назад и с тех пор полюбил его, как сына. Он восхищается всем, что я говорю, и от самых

серьезных слов хохочет, как сумасшедший. Этот человек считает меня самым тонким остряком. Когда я однажды при нем рассказал о землетрясении в Мессине, он перегнулся пополам от хохота. «Ах, ты ж, Господи! — восклицал он, задыхаясь. — Только этот плутишка Клинков может так рассказывать курьезные вещи с серьезным лицом».

— Позвольте! — хлопнул себя ладонью по лбу молчавший до того Подходцев. — Да ведь и у меня есть дурак. Правда, он хитер, как дикарь, и скрывает свою глупость, как скупой рыцарь — золото. Но иногда она — эта глупость — блеснет нечаянно сквозь какую-нибудь прореху и озарит тогда своим сиянием весь мир! Он служит в таможне и зовут его Эрастом.

— Красивое имечко, — завистливо проворчал Клинков. — Моего зовут просто Феодосий.

— А у меня... Нет своего дурака, — печально вздохнул я. — Боже ты мой! У всех других есть дураки, все живут люди как люди, — а я совершенно одинок. Громов, подари мне своего дурака.

— Ни за что на свете. Вот еще!

— Ну на что он тебе? Ты другого найдешь.

— Нет, нет, — сухо сказал Громов. — Не будем говорить об этом.

— Клинков! — обратился я к толстому другу. — Продай мне своего веселого дурака. Я тебе отвалил бы не маленькие деньги.

— Попроси у Подходцева.

— Зарежьте вы меня прежде, чем я отдам вам его! — закричал Подходцев. — Если я лишусь его, я не перенесу этого. Я умру от горя.

— Самый лучший дурак — мой, — хвастливо засмеялся Громов. — Мой славный кристальный Петенька.

— Ну нет, — возразил, пыхтя, Клинков. — Твой сдаст перед моим.

Подходцев самоуверенно засмеялся.

— Оба они, вероятно, ничто перед моим Эрастом. Я уверен, что ваши дураки и не дураки вовсе. Так просто, самозванцы. А мой — стоит только посмотреть на его лицо — и всякий скажет: «Да, это он!»

Все трое счастливцев закричали, заволновались, заспорили.

— Чего проще, господа, — пожал я плечами. — Устройте конкурс своих дураков. Чей дурак лучше — тот возьмет первый приз.

— Прекрасно! — воскликнул Подходцев.

Все благодарили меня, а Клинков даже поцеловал.

Конкурс решено было устроить в моей квартире. Так как я не имел своего дурака («обездурачен» — как определил мое положение Подходцев), меня и выбрали в качестве жюри.

В тот же день я получил от Подходцева, Клинкова и Громова адреса Эраста, Феодосия и Петеньки, поехал к ним и, после недолгой беседы, получил от каждого определенное обещание посетить меня. Чтобы все три дурака могли заранее освоиться друг с другом, я утром в день конкурса собрал их в маленьком ресторанчике, где мы позавтракали и обменялись мнениями по разным вопросам жизни.

Все трое действительно оказались на редкость дураками — всё здоровый, отборный, неимоверно глупый народ.

От часовой беседы с ними голова моя так распухла, что при возвращении домой шапку пришлось нести в руках.

II. Конкуренты

К десяти часам вечера прихали все. Каждый приехал со своим дураком, подобно охотникам, которые являются к сборному пункту с собственной собакой на веревке...

Сразу же все прибывшие разбились на две группы: умные тихо шушукались в углу кабинета, а дураков я усадил за чайный стол и принялся энергично угощать чаем с коньяком.

Ко мне подкрался на цыпочках Подходцев с миной озабоченного родственника мертвеца, которого собираются отпевать, и шепнул:

— Ну что ж... Можно начинать?

— Да. Я распоряжусь, чтобы дали закуску и вино.

Я ободрительно подмигнул насторожившимся дуракам и вышел из комнаты.

Подали ужин. Я посадил всех вразбивку: дурака между двумя умными и умного между двумя дураками. Мне же, как арбитру, пришлось сесть вне этого порядка.

Была минута напряженного молчания.

— Однако и жарко же здесь! — вздохнул Подходцев.

Подходцевский дурак Эраст укоризненно поглядел на своего хозяина и возразил:

— В доме повешенного не говорят о веревке.

— Почему, милый?

— Потому что потому.

— Нет, Эрастик, — захныкал Подходцев. — Вот ты сделал мне замечание, ты обидел меня, а за что? Где у тебя веревка и где повешенный? Если веревка — воздух, а повешенный — хозяин, то ты обидел и хозяина. Если же веревки — все присутствующие, ты обидел и присутствующих. Что ты, родной, думал сказать этой фразой?

— Не хотели ли вы сказать, что из нас можно веревки вить? — спросил обиженно Громов.

— Или что мы вешаемся всем на шею? — возвысил голос Клинков.

Дурак Клинкова, веселый Феодосий, услышав слова своего патрона, всплеснул руками и громко захохотал.

— Ну и Клинков! Ну и удружил же! Молодец, Клиночек. Очень зло сказано.

— Ваш спор, господа, отклонился в сторону, — заметил Петенька. — Я принужден указать на то...

— Тише, ребята! — зычно рявкнул Громов. — Мой Петя говорит.

— ...На то, что сравнение разогретого воздуха с веревкой грешит неправильностью. Веревка, как известно, имеет два измерения.

— Одно, — тихо сказал Эраст.

— Почему, Эрастик? — прищурился Подходцев.

— Одна веревка, одно и измерение.

— Дайте Петечке договорить, — ревниво перебил его Громов. — Говори, Петечка.

— ...Итак, я говорю: воздух есть нечто невесомое, нечто такое, нечто...

— Искомое! — подсказал Громов.

— Почему искомое?

— Потому что мы его ищем. Все люди ищут воздуха, потому что иначе они бы задохлись.

Эраст пожал плечами и сухо возразил:

— Однако же я никогда не ищу воздуха и — как видите — не задыхаюсь.

— Очень зло сказано! — усмехнулся, кивая головой, Феодосий.

— Мы опять отклонились от темы, — поморщился громовский дурак. — Сравнение воздуха с веревкой неправильно в самом корне.

— В корне чего? — переспросил методичный сухой таможенный Эраст.

— Э?

— Я говорю — в корне чего: воздуха или веревки?

— Веревки и воздуха.

— Очень зло сказано, — значительно сказал Феодосий.

— Значит, по-вашему, веревка и воздух имеют корни? — придирчиво подхватился Эраст. — Да? Может, веревка имеет и листья, да?

— Я не понимаю, — робко сказал громовский дурак Петенька, — чего он на меня кричит?

— Отчасти Петя прав, — вступился Клинков. — Если веревка не имеет листьев — она имеет ствол.

— Кто из вас, господа, был когда-нибудь влюблен? — спросил неожиданно Подходцев.

Его дурак Эраст прищурился:

— Это вы почему спросили?

— Так просто, Эрастик.

— Нет, позвольте... нельзя так спрашивать... Ведь всякий вопрос должен же иметь под собой какую-нибудь почву?

— Господа! У нас получается сад! — вскричал Клинков.

— Почему сад? — презрительно спросил непоколебимый дурак Эраст.

— У нас есть почва, есть стволы, есть листья и есть корни...

— Зло сказано!! — восторженно взвизгнул Феодосий. — Тонко сострено!

Но сейчас же под тяжелым взглядом таможенного Эраста съежился Феодосий и сконфуженно зашептал что-то Петеньке.

— Мы сейчас говорили одно, а Подходцев о какой-то любви спрашивает. Был разговор о вещественности воздуха, атмосферы...

— Воздух и атмосфера не одно и то же, — встрепенулся Петенька.

— А какая же разница?

— Атмосфера одна, а воздуху много, — подсказал Громов.

— Да? Вы так думаете? — заскулил, вертя головой, ядовитый подходцевский дурак Эраст. — Вы так полагаете? Таково ваше мнение?

— Так его, Эраст, так! — зааплодировал Подходцев. — Хватай его за ноги.

— Вы полагаете — атмосфера одна, а воздуху много? Да? Так? Так я скажу вам, миленький, что иногда в одном паровом котле помещается двадцать атмосфер.

— Ай да ловко! — загрохотал Феодосий. — Ловко подцепили Громова! Молодец Эраст! Остроумно! Осадили Громчика с атмосферой.

— Это называется атмосферический осадок, — добродушно вставил Петенька.

— Зло сказано! — похвалил и его восторженный Феодосий.

. . . .

III. Итоги

— А не довольно ли? — шепнул мне Подходцев. — Кажется, физиономии выяснились.

— Господа! — громко сказал я. — Пойдем в кабинет. Туда нам дадут кофе. Эраст, Петенька, Феодосий! Идите в кабинет, мы скоро придем — сейчас только кое-какие счеты нужно выяснить.

Дураки переглянулись, подмигнули друг другу и, взявшись под руку, послушно зашагали в кабинет.

Мы остались одни.

— Ну-с, — сказал гордо Громов. — Теперь вам ясно превосходство моего веселого Феодосия? Надеюсь...

— Ну, уж твой Феодосий... Обратили вы внимание, господа, какой у меня умный, рассудительный дурак Эрастик? Как он методически рассуждает?

— Что?! Да мой Петенька на голову выше. Он, правда, не веселый, не методичный, но ведь его разговор о корне веревки и воздуха — это все! Это Шекспир.

— Тссс!.. — приложил я палец к губам. — Хотите слышать, о чем говорят дураки на свободе? Пойдем в спальную. Оттуда все слышно.

В спальне было темно. Мы на цыпочках подкрались к полуоткрытым в кабинет дверям и заглянули...

— Господа! — возбужденно говорил Петенька. — По справедливости, приз принадлежит мне за моего дурака! За Громова. Вы заметили, что он ляпнул насчет атмосферы? Я в душе чуть не помер со смеху.

— Па-азвольте. Па-азвольте, — перебил Эраст. — По-моему, мой Подходцев в тысячу раз глупее Громова. Его бестактный разговор о любви, когда его никто и не спрашивал...

— Это зло сказано! — захохотал Феодосий. — Но, братцы, прошу вас! Ей-Богу! Пусть мой Клинков будет первым. Он самый веселый, остроумный дурак современности. А? Братцы!

— Па-азвольте! Я стою за своего Подходцева! Впрочем, спросим хозяина, как мы с ним и условились. Пусть он скажет.

В спальне произошла возня. Это Подходцев схватил меня за шиворот и вытащил в столовую.

— Говори, что это все значит?

Я нахально засмеялся.

— То и значит, что конкурс был двойной. Я уверил ваших дураков, что они умные, а вы — дураки и что забавно бы устроить насчет вас конкурс. Вы думаете, что это вы их привезли, а они думают, что они вас привезли. Вы состязались на них, а они на вас.

— Проклятый! Ты испортил наших дураков!

— Зачем ты это сделал? — сурово спросил Громов.

Я сделал умильное лицо и пропищал:

— Что ж, братцы... У вас небось были дураки, а у меня не было. Я и сделал себе... целых шесть сразу!

МУЖЧИНЫ

Кто жил в меблированных комнатах средней руки, тот хорошо знает, что прислуга никогда не имеет привычки предварительно докладывать о посетителях... Как бы ни был неприятен гость или гостья, простодушная прислуга никогда не спросит вас: расположены ли вы к приему этих людей.

Однажды вечером я был дома, в своей одинокой комнате, и занимался тем, что лежал на диване, стараясь делать как можно меньше движений. Я человек очень прилежный, энергичный, и это занятие нисколько меня не утомило.

...По пустынному коридору раздались гулкие шаги, шелест женских юбок, и чья-то рука неожиданно громко постучалась в мою дверь.

Машинально я сказал:

— Войдите!

Это была скромно одетая, немолодая женщина в траурной шляпе с крепом.

Я вскочил с дивана, сделал по направлению к посетительнице три шага и спросил удивленно:

— Чем могу быть вам полезен?

Она внимательно всмотрелась в мое лицо.

— Вот он какой... — пробормотала она. — Таким я его себе почему-то и представляла. Красив... Красив даже до сих пор... Хотя прошло уже около шести лет.

— Я вас не знаю, сударыня! — удивленно сказал я.

Она печально улыбнулась.

— И я вас, сударь, не знаю. А вот привелось встретиться. И придется еще вести длинный разговор.

— Садитесь, пожалуйста. Я очень удивлен... Кто вы?

Дама в трауре поднялась со стула, на который только что опустилась, и, держась за его спинку, с грустной торжественностью сказала:

— Я мать той женщины, которая любила вас шесть лет тому назад, которая нарушила ради вас супружеский долг и которая... ну, об этом после. Теперь вы знаете, кто я?! Я — мать вашей любовницы!..

Посетительница замолчала, считая, вероятно, сообщенные ею данные достаточными для уяснения наших взаимоотношений. А я не считал эти данные достаточными. Я не считал их типичными.

Я помедлил немного, ожидая, что она назовет, по крайней мере, фамилию или имя своей дочери, но она молчала, печальная, траурная.

Потом повторила, вздыхая:

— Теперь вы знаете, кто я... И теперь я сообщу вам дальнейшее: моя дочь, а ваша любовница, недавно умерла на моих руках с вашим именем на холодеющих устах.

Я рассудил, что вполне приличным случаю поступком будет: всплеснуть руками, вскочить с дивана и горестно схватиться за голову.

— Умерла?! Боже, какой ужас!

— Так вы еще не забыли мою славную дочурку? — растроганно прошептала дама, незаметно утирая уголком платка слезинку. — Подумать только, что вы расстались больше пяти лет тому назад... Из-за вашей измены, как призналась она мне в минуту откровенности.

Я молчал, но мне было безумно тяжело, скверно и горько. Я чувствовал себя самым беспросветным негодяем. Если бы у меня было больше мужества, я должен бы откровенно сказать этой доброй, наивной старушке:

«Милая моя! Для тебя роман замужней женщины с молодым человеком — огромное, незабываемое событие в жизни, которое, по-твоему, должно сохраниться до самой гробовой доски. А я... я решительно не помню, о какой замужней даме говоришь ты... была ли это Ася Званцева, или Ирина Николаевна, или Вера Михайловна Березаева?»

Я нерешительно поерзал на диване, потом бросил на посетительницу испытующий взгляд и потом, свесив голову, осторожно спросил:

— Расскажите мне что-нибудь о вашей дочери...

— Да что ж рассказывать?.. Как вы знаете, они с мужем не сошлись характерами. Он ее не понимал, не понимал души ее и запросов... А тут явились вы — молодой, интересный, порывистый. Она всю жизнь помнила те слова, которые были сказаны вами при первом сердечном объяснении... Помните?

— Помню, — нерешительно кивнул я головой, — как же не помнить?.. Впрочем, повторите их. Так ли она вам передала.

— В тот вечер мужа ее не было дома. Пришли вы, какой-то особенный, «светлый», как она говорила. Вы заметили, что у нее заплаканные глаза, и долго добивались узнать причину слез. Она отказывалась... Тогда вы обвили рукой ее талию, привлекли ее к себе и тихо сказали: «Счастье мое! Я вижу, тебя здесь никто не понимает, никто не ценит твоего чудесного жемчужного сердца, твоей кристальной души. Ты совершенно одинока. Есть только один человек, который оценил тебя, сердце которого всецело в твоей власти...»

— Да, это мой приемчик, — задумчиво улыбнулся я. — Теперь я его уже бросил...

— Что?! — переспросила старушка.

— Я говорю: да! Это были именно те слова, которые я сказал ей.

— Ну вот. Потом вы, кажется, стали... целовать ее?

— Наверное, — согласился я. — Не иначе. Что же она вам рассказывала дальше?

— Через несколько дней вы гуляли с ней в городском саду. Вы стали просить ее зайти на минутку к вам выпить чашку чаю... Она отказывалась, ссылаясь на то, что не принято замужней даме ходить в гости к молодому человеку, что этот поступок был бы моральной изменой мужу... Вы тогда обиделись на нее и целую аллею прошли молча. Она спросила: «Вы сердитесь?» Да, сказали вы, вас оскорбляет такое отношение и вообще вам очень тяжело и вы страдаете. Тогда она сказала: «Ну, хорошо, я пойду к вам, если вы дадите слово вести себя прилично...» Вы пожали плечами: «Вы меня обижаете!» Через полчаса она была уже у вас, а через час стала вашей.

И, опять приподнявшись со стула, спросила старуха торжественно:

— Помните ли вы это?

— Помню, — подтвердил я. — А что она говорила, уходя от меня?

— Она говорила: «Наверное, теперь вы перестанете уважать меня?», а вы прижали ее к сердцу и возразили: «Нет! Никого еще в жизни я не любил так, как тебя!» А теперь... она умерла, моя голубка!

Старая дама заплакала.

— О! — порывисто, в припадке великодушия вскричал я. — Если бы можно было вернуть ее вам, я пожертвовал бы для этого своей жизнью!

— Нет... ее уже ничто не вернет оттуда, — рассудительно возразила старуха.

— Не говорила ли она вам еще что-нибудь обо мне?

— Она рассказывала, что вы сначала виделись с ней каждый день, потом через день, а потом на вас свалилась неожиданно какая-то срочная работа, и вы виделись с ней раз в неделю. А однажды она, явившись к вам неожиданно, застала у вас другую женщину.

Я опустил голову и стал сконфуженно разглаживать рукой подушку.

— Помните вы это? — спросила дама.

— Помню.

— А когда она расплакалась, вы сказали ей: «Сердцу не прикажешь!» И предложили ей остаться хорошими друзьями.

— Неужели я предложил ей это? — недоверчиво спросил я.

Вообще это было на меня не похоже. Я хорошо знал, что ни одна женщина в мире не пошла бы на такую комбинацию, и потому никогда не предлагал вместо любви дружбу. Просто я спрашивал: «Кажется, мы охладели друг к другу?» У всякой женщины есть свое профессиональное женское самолюбие. Она почти никогда не говорит: «Кто это мы? Никогда я к тебе не охладевала!» А опустит голову, промедлит минуты три и скажет: «Да, прощайте!»

Очевидно, старуха что-то напутала.

— Не передавала ли мне покойница что-нибудь перед смертью?

И в третий раз торжественно поднялась со стула старуха, и в третий раз сказала торжественно:

— Да! Она поручила вам свою маленькую дочь.

— Мне? — ахнул я. — Да почему?

— Как вы знаете, муж ее умер четыре года тому назад, а я стара и часто хвораю...

— Да почему же именно мне?

Старуха печально улыбнулась.

— Сейчас я скажу вам вещь, которая не известна никому, — тайну, которую покойница свято хранила от всех и открыла ее мне только в предсмертный час: настоящий отец ребенка — вы!

— Боже ты мой! Неужели? Вы уверены в этом?

— Перед смертью не лгут, — строго сказала старуха. — Вы отец, и вы должны взять заботы о вашей дочери.

Я побледнел, сжал губы и, опустив голову, долго сидел так, волнуемый разнородными чувствами.

— А может быть, она ошиблась? — робко переспросил я. — Может быть, это не мой ребенок, а мужа.

— Милостивый государь! — величаво сказала старуха. — Женщины никогда не ошибаются в подобных случаях. Это инстинкт!

Нахмурившись, я размышлял.

С одной стороны, я считал себя порядочным человеком, уважал себя и поэтому полагал сделать то, что подсказывала моя совесть. Он должен быть мне дорог, этот ребенок от любимой женщины (конечно, я в то время любил ее). С другой стороны, это неожиданная, тяжелая обуза при моем образе жизни совершенно выбивала меня из колеи и налагала самые сложные, запутанные обязанности в будущем.

Я — отец! У меня — дочь!..

— Как ее зовут? — спросил я, разнеженный.

— Верой, как и мать.

— Хорошо! — решительно сказал я. — Согласен. Я усыновлю ее. Пусть носит она фамилию Двуутробникова.

— Почему Двуутробникова? — недоумевающе взглянула на меня старуха.

— Да мою фамилию. Ведь я же Двуутробников.

— Вы... Двуутробников?!

— А кто же?

— Боже мой! — в ужасе закричала странная гостья. — Значит, это не вы?!

— Что не я?

— Вы, значит, не Класевич?! Дочь называла фамилию Класевич и сказала этот адрес.

Неожиданная бурная волна залила мое сердце.

— Класевич, — захохотал я. — Поздравляю вас: вы ошиблись дверью. Класевич в следующей комнате, номер одиннадцатый. А моя комната — номер десятый. Пойдемте, я провожу вас.

Оживленный, веселый, взял я расстроенную старуху за руку и потащил за собой.

— Как же! — тараторил я. — Моя фамилия Двуутробников, номер десятый, а Класевич дальше. Он — номер одиннадцатый. Он тут уж давно живет в этих комнатах, вот тут, рядом со мной. Как же! Класевич... Очень симпатичный человек. Вы сейчас с ним познакомитесь... А вы, значит, вместо одиннадцатого номера в десятый попали?! Хе-хе... Ошибочка вышла. Как же! Класевич, он тут. Эй, Класевич! Вы дома? Тут одна дама вас по важному делу спрашивает... Идите, сударыня. Хе-хе... А я-то, слушаю, слушаю...

НОВЫЙ СОЛОМОН

Vanitas vanitatum et omnia vanitas...[1]

I

Я не помню, что именно навело моих ближних на мысль сделать меня мировым судьей: была ли у них гениальная способность угадывать скрытое призвание в человеке, или просто не было никого другого, кому можно было бы навязать это хлопотливое дело? Во всяком случае я охотно взялся за него, не споткнувшись даже об единственное условие, которое мне поставили: судить по совести.

Наоборот — должен сказать, что это условие именно и прельстило меня... Законы я знал плохо, а совести у меня был непочатый угол. Совести — могу сказать с гордостью — у меня были целые залежи (вероятно, потому что до сих пор мне не приходилось пускать ее в дело...).

Кроме совести у меня перед глазами был еще благой пример в лице царя Соломона, который тоже был судьей и, занимаясь этим делом, ловко умел выкручиваться из самых затруднительных положений, несмотря на полное отсутствие законов и уставов о мировых судах.

В особенности восхищал меня его известный всем прием с двумя женщинами, которые судились из-за ребенка: одна присваивала его себе, а другая — себе. Я согласен, что узнать действительную мать было бы трудно, если бы не гениальная мысль царя Соломона: он взял, меч и заявил, что разделит ребенка на две равные части. Фальшивая мать согласилась на это (по принципу: ни тебе, ни мне), а настоящая мать упала на колени и, заливаясь слезами, вскричала: «Не рубите младенца, пожалуйста! Отдайте его лучше ей!»

Таким образом Соломон и обнаружил настоящую мать.

Были и другие способы: установить истину свидетельскими показаниями, разыграть младенца в чет и нечет или подождать, пока он вырастет, чтобы посмотреть — на кого он будет похож? Но, конечно, «способ с мечом» в таких случаях — наилучший.

Вступая в новую должность, я дал себе слово отбросить всякие связывающие человеческое творчество законы

---

[1] Суета сует и все — суета... (*лат.*).

и действовать исключительно по принципам, завещанным великим царем Соломоном: быстрота и натиск! А эпиграфом к своей деятельности я мысленно поставил историю с мечом и ребенком. По-моему, она должна быть исходным пунктом для каждого здравомыслящего судьи.

Вступая в новую должность, я не знал, что деятельность судьи так разорительна для его здоровья, для его кошелька и его самолюбия: меня подцепили на удочку, сделав судьей, — я в этом убедился в первый же день моей работы, в тот самый первый день, который был и последним. Да! Сознаться нужно — маловато поработал я на почетном поприще правосудия: всего один день...

II

...Я сел в кресло, обвел присутствующих взглядом и сказал:

— Итак — начнем. Тяжущиеся! Подходите по порядку.

Втайне я был бы очень рад, если бы первым делом оказалось дело двух женщин, заспоривших о младенце... Я знал бы, как поступить в этом случае... (недаром в кармане у меня лежал громадный складной ножик, купленный еще вчера, как необходимый атрибут жреца правосудия). Но, к сожалению, первым делом оказалась сложная и запутанная история под названием: «Оскорбление словами».

Мещанин Федосеев жаловался на купеческого сына Лутохина, который якобы обозвал его словом «дурак». Дело упростилось бы, если бы Лутохин отпирался от сказанного слова (в таких случаях дело обыкновенно прекращается), но Лутохин на первый же мой вопрос откровенно признался:

— Да. Я назвал его дураком!

— И не стыдно вам? — сказал я. — Зачем же вы это сделали?

— Потому что он действительно дурак.

— Вот странно: что это, звание, что ли?

— Конечно, звание, — хладнокровно подтвердил Лутохин. — Сметливый вы, например, судья — вас называют судьей; Федосеев дурак — его нужно называть дураком...

Лутохин крепко утвердился на этой позиции, и мне трудно было выбить его оттуда.

«Интересно, — подумал я. — Как бы поступил на моем месте сметливый царь Соломон? Я уверен, он подошел бы к этому запутанному делу с самой неожиданной стороны... Эх! Будь один из них младенец...»

И тут же меня озарила мысль, настоящая царская, соломоновская: «А что если Федосеев в самом деле дурак? Попробую испытать его. Если Лутохин прав, прекращу это загадочное дело, да и все».

Я очнулся от задумчивости, поднял глаза на обиженное лицо Федосеева и сказал тоном судьи:

— Вы жалуетесь на купеческого сына Лутохина, который назвал вас дураком... Скажите, вы твердо уверены, что вы умный?

— Твердо, — отвечал Федосеев.

— Хорошо-с, — потер я с довольным видом руки (дело начинало налаживаться). — Если это так, то я задам маленькую загадку и по ответу посмотрю: кто вы такой?

Федосеев промолчал, растерянно глядя на меня.

— Вот-с, если бы перед вами горели две свечи: длинная и короткая... То какую бы вам нужно было погасить, чтобы эти обе свечи потом сравнялись?

Федосеев долго, напряженно думал и потом, солидно погладив бороду, ответил:

— Длинную.

Я усмехнулся.

— Вот и выходит, что Лутохин был прав. И выходит, что вы дурак. Ступайте! Прекращено дело.

Царь Соломон, глядя с небес на меня, вероятно, радовался, а мещанин Федосеев обиделся.

Он сказал:

— Какой же вы судья, если ругаетесь... Я буду жаловаться на вас.

— Ступайте, ступайте, — нетерпеливо крикнул я. — Сколько угодно! Следующий! Подходите!

Следующим делом я заинтересовался больше: оно было почти соломоновским, только роль ребенка играло осеннее пальто, да вместо женщин были мужчины. Но принцип был тот же.

— Вот, ваше благородие, — сказал один из двух мужчин, по профессии смазчик вагонов. — Висело мое пальто на гвоздике, а он пришел да взял. «Ты, говорю, куда?» —

«Это, говорит, не твое пальто, а мое». — «Как твое, когда я его покупал?» — «Нет, говорит — мое».

— А что вы скажете? — обратился я к другому человеку с рыжими волосами и грязными руками.

— Он врет, ваше благородие, — заявил грязный человек. — Пальто мое.

— Хорошо-с, — с наружным хладнокровием резюмировал я. — Он говорит пальто его, вы говорите пальто ваше. Самое справедливое будет, если я разделю его пополам.

Я разложил пальто на столе, вынул ножик и выжидательно посмотрел на тяжущихся. Я ожидал, что настоящий владелец, по соломоновскому принципу, упадет на колени и со слезами на глазах, простирая ко мне руки, скажет: «О, не режьте его! О, отдайте его лучше этому человеку!»

Однако оба они стояли и хладнокровно смотрели, как я вертел ножиком, занесенным над распростертым пальто.

В «деле с ребенком» Соломона удержало от раздела ребенка на две части то обстоятельство, что предмет спора был живой. Меня это удержать не могло...

Я аккуратно разделил ножом пальто на две части и, вручив их смазчику и грязному человеку, сказал:

— Вот вам по справедливости! Ступайте.

Один из них повертел в руках свою половину (именно грязный человек), чему-то усмехнулся, бросил свою часть на пол и ушел, хлопнув дверью.

А смазчик — теперь я убедился, что он был настоящим владельцем, — положил обе половины пальто на стол и сказал:

— Пожалуйте за пальто пятьдесят рублей.

— Как? — испугался я.

— Да так. Пальто было новехонькое, а вы его разрезали... Пожалуйте деньги!

По зрелому обсуждению этого вопроса я решил, что смазчику, действительно, причитается указанная сумма. Я заплатил ему и тут же утешил себя тем, что мой принцип судопроизводства в общем все-таки был верен: настоящий-то владелец был все-таки мною обнаружен!

III

Следующее дело заставило забиться мое сердце живейшей радостью: дело это именно и заключалось в споре двух женщин из-за знаменитого ребенка.

Это казалось прямо-таки чудесным: аналогия между моим и соломоновским делом была почти полная. И обе матери, и ребенок, завернутый в одеяльце, находились тут же.

Выше я сказал слово «почти». К сожалению, разобравшись в деле, я нашел в нем значительное уклонение от соломоновского шаблона.

Это выяснилось из разговора.

— Добрые женщины! — сказал я. — Насколько я понимаю, каждая из вас, называя себя матерью, хочет присвоить этого ребенка?

— Если она хочет, — сказала поспешно толстая женщина, — пускай забирает себе. Ребенок ведь ее!

— Ишь ты, ловкая какая! — подхватила худая. — Мой ребенок?! Какой же он мой? Он твой! Дала мне его на руки подержать, да сама убечь и хотела! А еще мать!..

— Нет, ты мать, — возразила другая. — Что ты врешь? Знаем мы вас: всякая хочет своего ребенка сплавить! Грешить вы все мастера, а потом ребят на чужую шею вешать норовите!

Они подняли невозможный крик.

Я задумался.

— Вот, — говорил я сам себе. — Как со времен Соломона изменился свет! Раньше каждая женщина присваивала себе даже чужого ребенка, а теперь каждая мать своего подсовывает чужим людям. Боже мой, Боже мой... А из-за какого-то пальто люди теперь способны перегрызть друг другу глотку!..

Привычным движением я вынул из кармана ножик и сказал:

— Сейчас каждая из вас получит по половине ребенка! Я его разрежу.

Ни одна из них не бросилась передо мною на колени... Обе стояли в ожидании операции, тупо глядя на меня и на мой ножик.

Конечно, у меня и в мыслях не было перерезывать пополам младенца... Я только хотел попугать женщин. Но они не испугались. Просто они, как я полагаю, не доверяли мне.

Я со вздохом спрятал в карман ножик и попробовал прием более культурный.

— А-а... Хорошо же! — угрожающе сказал я. — Если так — я забираю ребенка себе. Вот вам!

Поразительно. Опять ни одна из них не испугалась, не заплакала, не умоляла «о, добрый господин» и т.д.

Просто обе они облегченно вздохнули и, повернувшись, вышли из комнаты.

А младенец остался у меня на руках.

IV

Я устал от всех этих судейских дрязг и следующее дело — об оскорблении действием — гнал на всех парах, стремясь поскорее закончить свой трудовой день.

— На что вы жалуетесь? — спросил я здоровенного приказчика бакалейной лавки.

— Он мне вчерась по морде ударил, этот вот.

Его противником был жирный, легковой извозчик с наглым выражением лица.

— А если бы и вы его ударили? — спросил я. — Вы бы на него не жаловались?

Приказчик задумался.

— Нет. Тогда бы не жалился.

— А почему же вы его не ударили?

— Не успел, ваше благородие, некогда было.

— А сегодня у вас время есть?

— Есть.

Я обратился к его противнику:

— Что бы вы хотели? Сидеть две недели в тюрьме или получить один удар по физиономии.

Извозчик обрадовался и сказал:

— Лучше один удар!

— Так дайте ему хорошенько по голове, — сказал я приказчику. — И все тут.

Приказчик тоже обрадовался и, размахнувшись, так ударил своего врага, что тот покатился на пол.

— А! — сказал извозчик, поднимаясь. — Я тебя бил — ты не падал, а меня небось с ног валишь. Покажу ж я тебе!

Он вцепился в приказчика и стал беспощадно тузить его. По долгу милосердного человека и судьи я бросился разнимать их и сейчас же почувствовал, что сделал это напрасно: оба набросились на меня — судью и милосердного человека.

Только теперь я понимаю, как трудна деятельность мирового судьи: в один день я потерял пятьдесят рублей

и доброе имя, получив взамен этого — чужого, ненужного мне ребенка и несколько тумаков.

«Царю-то Соломону хорошо было, — подумал я. — У него стража была и царская власть... Что ни сделает — все хорошо».

Теперь я сижу дома и рассуждаю: почему я не удержался на своем месте? Ума у меня не было, что ли? Нет, ум был. Совести? Была и совесть. Сообразительности не хватало? Сколько угодно.

Почему же?

МОКРИЦА

I

Когда я дочитал до конца свою новую повесть, все присутствующие сказали:

— Очень хорошо! Прекрасное произведение!

Я скромно поклонился. Сзади кто-то тронул меня за плечо:

— Послушайте... извините меня за беспокойство... послушайте...

Я обернулся. Передо мной стоял маленький человек средних лет, ординарной наружности. Глаза скрывались громадными синими очками, усы уныло опускались книзу, бороденка была плохая, наполовину как будто осыпавшаяся.

— Что вам угодно?

— А то мне угодно, милостивый государь мой, что повесть ваша совершенно неправильная! Уж я-то знаток этих вещей...

Он самодовольно засмеялся.

— Вы... что же, критик?

— Бухгалтер.

— А... так... — нерешительно протянул я. — Но вообще-то вы знаток литературы?

— Бухгалтерии! — упрямо сказал он, глядя на меня громадными стеклами. — Уж в бухгалтерии-то, батенька, меня не поймаешь!

Он поежился и кокетливо захохотал с таким видом, будто я собирался его ловить.

— Вам не нравится моя повесть?

— Нет, ничего. Повесть как повесть. Только неправильная.

Заинтригованный, я отвел его в угол, сунул ему в руку рукопись и сказал:

— Укажите мне неправильные места.

Такое доверие польстило ему. Он вспыхнул до корней волос, застенчиво перелистал рукопись и, найдя какое-то место, отчеркнул его ногтем.

— Вот! Это неправильно: «Корчагин не показывал виду, что знает о проделках жены, но втайне все ее вольности, все измены и оскорбления записывал ей в кредит. Дебет же ее, в который он решил записывать ее ласки и поцелуи, — был пуст». Вот!

— Вам не нравится это место?

— Присядем, — сказал маленький бухгалтер.

Мы сели.

— Видите ли... Я взял на себя смелость сделать вам замечание потому, что вы впали в громадную ошибку... Вы знакомы с двойной итальянской бухгалтерией?

— Н...нет...

— Двойная итальянская бухгалтерия изобретена несколько сот лет тому назад монахом Лукой Пачиоло. Принцип ее заключается в двойной записи каждого счета, чем достигается механическое контролирование правильности записи. Если баланс счетов не сходится в цифрах — это показатель неправильности в частных записях. Записи в счетовых книгах отмечаются на двух сторонах развернутой книги: на левой и правой. На левой стороне счета или лица записывается так называемый дебет — это счет или лицо должны владельцу книги; на правой стороне записывается так называемый кредит — это владелец книги состоит в долгу у лица или счета. Поняли?

— Да... пожалуй...

— Теперь ясно, что вы совершили колоссальную, непростительную ошибку: Корчагин должен был измены и оскорбления жены записать ей не в кредит, а в д е б е т! А ласки ее — наоборот — не в дебет, а в кредит! У вас это перепутано.

Я горячо пожал бухгалтеру руку.

— Я вам очень, очень признателен. Я сейчас же исправлю эту досадную погрешность.

Моя горячая благодарность смутила его. Он махнул рукой и сказал:

— Помилуйте! Я всегда рад... Конечно, нужно хорошо знать бухгалтерию... Дебет — это что нам должны, кредит — то, что должны мы счету.

Я еще раз пожал ему руку и отошел.

Он озабоченно крикнул мне вслед:

— Так не забудьте же: дебет — нам должны, кредит — мы должны.

— Не забуду, не забуду.

II

Мы сидели в укромном уголку обширного кабинета и тихо разговаривали.

Ольга Васильевна положила свою руку на мою и ласково, задушевно сказала:

— Эта повесть — ваша лучшая вещь. Громадная изобразительная сила, яркие краски причудливо смешиваются на этих страницах с волшебными, лирическими полутонами, мощный голос зрелого мужа сплетается с полудетским лепетом влюбленного юноши...

— А, вы здесь, — сказал бухгалтер, подходя к нам. — Ну что... исправили?

— Исправил, — сказал я. — Спасибо.

— Что такое? — удивилась Ольга Васильевна.

Бухгалтер усмехнулся, снисходительно подергав плечом.

— Ах, уж эти писатели... Представьте, какую он штуку написал... Ну хорошо, что я был тут, указал, исправили... А то что бы вышло? Неприятность! Скандал! Можете себе вообразить: он дебет написал там, где нужен кредит, а кредит — где дебет!

Укоризненно покачав головой, он прошел дальше, но потом круто повернулся и крикнул нам:

— А разница называется — сальдо!

— Что-о?

— Я хочу вас предупредить — если будете писать еще что-нибудь: предположим, что в дебете 100 рублей, а в кредит — полтораста; разница — 50 рублей — и называется сальдо! Сальдо в пользу кредитора.

— Ага... хорошо, хорошо, — сказал я, — запомню.

Бухгалтер снисходительно улыбнулся и добавил:

— А измены и оскорбления ваш Корчагин в кредит ее счета не мог записывать... Он записал их в дебет.

Он кивнул головой и исчез; вслед за ним ушла и Ольга Васильевна. Оставшись один, я побрел в гостиную.

В одном углу происходил оживленный разговор. До меня донеслись слова:

— Как услышал я — так будто бы меня палкой по голове треснули. Как-с, как-с, думаю? Она же его оскорбляла, она же ему изменяла, да он же ей это и в кредит пишет? Хорошая бухгалтерия... нечего сказать! Хорошо еще, что спохватились вовремя... исправили...

Один из гостей, заметив меня, подошел и сказал:

— Вы неисправимый пессимист. В вашей повести вы показываете такие бездны отчаяния и безысходности...

— Это что! — раздался сзади нас вкрадчивый голос. — Он еще лучше сделал: его Корчагин дурные стороны жены заносил в кредит ей, а хорошие — в дебет. Помилуйте-с! Да я бухгалтерию как свои пять пальцев знаю. Как же... Вот если бы здесь была книга — я бы вам наглядно показал... Вот, предположим, этот альбом открыток: тут, где Кавальери, — это дебет... А тут... вот эта... Типы белорусов — это кредит. Я-то уж, слава тебе Господи, знаю это как свои пять пальцев.

— Да, да, — нетерпеливо сказал я. — Хорошо. Ведь я уже исправил.

— Хорошо, что исправили, — добродушно согласился он. — А то бы... Ведь таких вещей никак нельзя допустить!.. Помилуйте... Дебет и кредит — это небо и земля.

— Пожалуйте ужинать, — сказал хозяин.

III

Все усаживались, шумно двигая стульями. Бухгалтер сел против меня... Посмотрел на меня, как заговорщик, сделал правой рукой предостерегающий знак и засмеялся.

— Да-с! — сказал он. — Бухгалтерия — это штука тонкая. Ее нужно знать. Я вам когда-нибудь дам почитать книжку «Популярный курс счетоводства». Там много чего есть.

Я сделал вид, что не слышу.

Сосед с левой стороны спросил меня:

— Если я не ошибаюсь, в основу вашей повести заложена большая отвлеченная мысль, но она затемнена повествовательной формой, которая...

— Была затемнена, — согласился бухгалтер. — Но теперь все исправлено. Все, как говорится, в порядке. Вы... вот что... Если еще что-нибудь будете писать и вам встретятся на пути какие-нибудь такие бухгалтерские штуки и экивоки — вы, пожалуйста, ко мне... без церемоний! Обсудим: как и что. Я выложу вам как на ладонке!

— Нет, зачем же, — сухо возразил я. — В этом, вероятно, не представится надобности. Ведь беллетристика и бухгалтерия — это две совершенно разные вещи.

Огорченный бухгалтер притих. Съел какую-то рыбку, подумал немного, потом приподнялся и, ударив меня через стол по плечу жестом старого знакомого, спросил:

— А вы знаете, что такое транспорт?

— Знаю.

— Нет, не знаете! Вы думаете, это просто собрание разных подвод для перевозки кладей? Да? Но в бухгалтерии это совсем другое: транспортом называется обыкновенный перенос итога с одной страницы на другую. Внизу подписывается итог страницы и переносится на следующую.

— Почему вы думаете, — спросил я левого соседа, — что повествовательная форма произведения должна затемнить общую отвлеченную мысль?

— Потому что художественные детали разбивают это впечатление.

— Это верно, — согласился бухгалтер, делая мне ободряющий жест. — Разбивает впечатление. Ведь это, если сказать какому-нибудь бухгалтеру, — он помрет со смеху. А? Хе-хе... Дебет поставить в кредит! А? Что такое, думаю? Это же невозможно!

Не дождавшись сладкого, я извинился и встал:

— Я пойду на минуту к письменному столу. Хочу не забыть исправить два-три места в повести.

Я сел и исправил.

Когда сзади раздался голос: «Ну что, исправили? Теперь уж не спутаете дебет с кредитом?» — я нахмурился и сказал:

— Да-с, я исправил. Вот, слушайте: «Корчагин не показывал виду, что дебет жены записан ему в сальдо. Он перенес большой кредит в транспорт, который вместе с сальдо давал перенос дебета на счет того лица, которому пришла идиотская затея заняться бухгалтерией; это заносим ему в кредит».

С жалобным криком, простирая дрожащие руки, бросился он ко мне, но я с отвращением отшвырнул его и, сунув рукопись в карман, ушел.

СЛУЧАЙ 24-го ДЕКАБРЯ

Возвращаясь по вечерам в свой запущенный, пустынный дом, я уже привык к этим трем парам тусклых, стеклянных глаз, внимательно следивших с верхней площадки лестницы за тем, как я подымался на второй этаж, открывал ключом дверь в свою холодную, неуютную комнатку и шарил спички на ночном столике.

Три пары глаз следили за мной вплоть до того момента, когда я захлопывал дверь... Вслед за тем над моей головой раздавались робкие, тихие шаги, заглушенный шепот, капризный визг малютки — и все смолкало.

Это были три обыкновенных безобидных привидения из числа тех, которые водятся в старых, полуразрушенных домах: вероятно, муж, жена и их малютка-привиденыш — крохотное смешное существо в коротеньком, потертом балахончике, с кривыми ногами и прозрачным, печальным личиком.

Мне иногда хотелось приласкать его, но он был пуглив, как мышонок, и стоило только ему заметить мой ободряющий жест, как он с визгом убегал под защиту отца — унылого, сосредоточенного привидения, которое вечно шепталось о чем-то с женой и сокрушенно качало прозрачной, худой головой, цвета морской воды.

Иногда, открыв внезапно дверь, я заставал их за невинной забавой, которая, очевидно, доставляла некоторое удовольствие маленькому привидению: стоя на верхней площадке лестницы, мать сажала малютку верхом на перила, и он с тихим визгом съезжал вниз — прямо в объятия отца.

Но стоило только им заметить меня, как они подхватывали сына под руки и поспешно убегали с самым смущенным видом.

А в общем мы не могли пожаловаться друг на друга... Жили, как добрые соседи. Я не мешал им, они не шатались ко мне, не смущали мой покой и не мешали мне работать...

---

24 декабря меня не пустили в трактир, в котором я привык проводить свои вечерние досуги за чашкой кофе и бутылкой коньяку.

Я долго стучал в закрытые ставни и раздраженно кричал:

— Пустите меня! О, черт возьми!.. Пустите вы меня или нет?! Что это за новости, в самом деле?

После моих долгих криков и проклятий дверь наконец приоткрылась, и выглянувший слуга сказал:

— Извините, господин, но сегодня канун праздника и наше заведение совсем закрыто.

— А куда же мне деваться? — сердито заревел я. — Куда я пойду в этой проклятой дыре?

— Это нас не касается-с.

Я поднес к его лицу сжатый кулак.

— А хочешь ты, чтобы это тебя коснулось, паршивец? Ну черт с вами. Я не пойду в ваш проклятый вертеп. Но только условие: вынеси мне бутылку коньяку и стаканчик... я отправлюсь домой! Чтоб вам всем сгнить до завтра!

Я был разъярен, вероятно, больше, чем того требовали обстоятельства, но нужно же понять и меня: вместо долгой задушевной беседы в теплой накуренной комнате с несколькими радушными завсегдатаями, мне предстояло провести целый вечер и ночь в одиночестве в холодной, угрюмой комнате старого дома...

....

Поднимаясь по лестнице, я опять заметил три пары стеклянных глаз, молча следивших за моими движениями. Мальчишка просунул ужасную бледную голову сквозь колонки перил и моргал глазами застенчиво и часто.

Я вошел в комнату, заперся, налил стаканчик вина и опустил со стоном голову: одиночество подошло ко мне и стало грызть мое сердце, мою голову, мой мозг.

— Ба! — проворчал я, сжимая горячие виски. — А не отправиться ли мне к соседям? Все равно, если я сегодня ночью повешусь — завтра, наверное, уже попаду в ихние друзья дома.

Я опустился на кровать и стал рассуждать так:

— Удобно ли это? Как они взглянут на мой визит?.. Впрочем, будем рассуждать так: если, вообще, привидения иногда являются человеку, то почему человек не может явиться привидениям? Сегодня, кажется, ночь таких появлений. Если они, эти профессионалы, забыли свой обычный долг вежливости — мое дело напомнить им об этом.

Я захватил под мышку бутылку коньяку, сунул в карман стаканчик и, пригладив машинально волосы, побрел вверх по дряхлой, скрипучей, как старуха, лестнице.

Они жили на чердаке в восточном углу, за старым поломанным комодом красного дерева.

Когда я вошел, все трое, освещенные луной, стояли у слухового окна и рассматривали какого-то паука, которого держал на ладони отец семейства.

Кажется, они испугались, увидев меня: малютка тихонько пискнул и сел на пол, а мать и отец обвили руками плечи друг друга и, сдвинувшись ближе, попятились. Вероятно, произошло то замешательство, которое случается при появлении среди людей призрака.

— Здорово, милые соседи, — успокоительно сказал я, ставя бутылку на старый комод. — Как видите — хе-хе — гора пришла к Магомету.

Не думаю, чтобы это были интеллигентные призраки. Они меня не поняли. Отец семейства тихо сказал:

— Да... Здравствуйте... Какой Магомет?

— Ничего, это так говорится. Как поживаете, дорогая хозяйка? Довольны ли помещением?

— Ах нет, — возразила она, поднимая ребенка с пола. — Очень плохо.

— Сыро?

— Ах, что вы... Наоборот, очень сухо. Посудите сами, как же мальчику жить в сухом месте? Он и так у нас такой слабенький...

Слова эти привели меня в недоумение, но я сделал вид, что понял ее, и утвердительно сказал:

— Так, так... И потом, вероятно, эта проклятая темнота...

— Проклятая темнота? Да ее нет совсем. Ну как ребенок, спрошу я вас, может жить на свету, да еще на этом проклятом

свежем воздухе, который всякого призрака губит хуже, чем дневной свет. У нас тут неподалеку есть двоюродный брат с женой — тем повезло так повезло... Со стен вода течет, как водопад, — паутина, пыли по горло и темнота кромешная.

Я решительно не мог взять в толк, о чем говорит эта болтливая баба. А когда она замолкла, вышло еще хуже: я не знал, о чем говорить с угрюмой семейкой, сидевшей передо мной.

— Вот пишу теперь пьесу, — сказал я в припадке откровенности. — Весной, вероятно, поставлю.

Отец семейства постучал рассеянно, равнодушно по застонавшему комоду и спросил:

— Мокриц любите?

— А на что они мне, — не менее равнодушно возразил я. — Бог с ними.

— Плохо в нынешнем году. Осень была сухая и ребенку есть нечего: ни одной мокрицы.

— Если бы вы прочли мою статью о рациональном питании...

— Хоть бы пауки были, — сказала печально жена. — А то ни тех ни других. Не все же мальчику плесень со стен слизывать.

В полном изумлении посмотрел я на нее.

— Да зачем... плесень слизывать?

— То-то и я говорю. Разве это еда? Уж о сороконожках и говорить нечего — их днем с огнем не сыщешь.

Я чувствовал себя в самом глупом положении: нужно было как-нибудь вытягивать разговор, но собеседники мои давали такие странные реплики, что я ежеминутно рисковал попасть впросак.

— Вчера я читал книгу: чудеса загробного мира — я думаю, сюжет очень для вас интересный...

— Дайте нам вашу книгу, — сказала мать, — пусть ребенок пососет ее.

— Эта книга не для того, сударыня, — сухо возразил я, — чтобы сосать ее. Книги читают.

— Вот так-так, — ехидно улыбнулась мать. — Книжку для дитенка жалеют! Хорошие люди...

Мне сразу как-то сделалось смертельно скучно с этой троицей, для которой сороконожки были идеалом роскоши, а паутина — лучшей частью меблировки.

Было очевидно, что мы говорим на разных языках... Я думал, что они заинтересуются моей пьесой — они не интересовались. Надеялся, что их заинтересует человеческое мнение о загробном мире — они посмотрели на книгу, трактующую об этом вопросе, как на предмет насыщения своего прожорливого отпрыска.

У нас были разные интересы, разные вкусы и противоположные взгляды на жизнь.

«Эти привидения не блещут умом, — с горечью подумал я. — Просто ограниченные, тупые, глупые люди».

Я встал, захватил свою бутылку и стал сухо прощаться.

Они меня не удерживали. Когда я спускался с лестницы, до меня донесся вопрос жены, очевидно обращенный к мужу:

— Спрашивается, зачем этот осел притащился сюда?

— Да... Тоски нагнал порядочно, — хихикнул столбообразный супруг.

Вернулся я к себе в комнату в еще более скверном настроении, чем вышел давеча.

Выпил с горя весь коньяк и заснул...

Теперь, когда я возвращаюсь по вечерам домой, за мной уже не следят три пары внимательных, любопытных глаз: мы, очевидно, хорошо раскусили друг друга.

ГРАЖДАНЕ

> ...Матушка! Матушка!
> Пожалей своего бедного сына.
>
> *Гоголь*

I

Хозяин дома Хохряков сидел, склонив голову набок, и слушал...

— Нет, это что, — говорил один из гостей. — А вы помните студента Ивкова, которого в прошлом году арестовали?.. Оказывается, этажом ошиблись. Правда, через три дня выпустили...

— Что ваш Ивков! Мою знакомую барышню Матусевич в Харькове выслали из города за то, что она не знала галантерейного приказчика Файнберга.

— Как так? — лениво спросил один из гостей.

— Очень просто. Изловили за какие-то книжки Файнберга, а потом спросили вскользь: «Не знаете курсистки Матусевич?» — «Не помню. Впрочем, фамилия знакомая». Тогда вызывают Матусевич. «Не знаете ли приказчика Файнберга?» — «Не помню. Впрочем, фамилия незнакомая»... Ага! Явное противоречие! Он говорит — знакомая, она говорит — незнакомая...

— Ну?

— Вот вам и «ну»!

— Это что! — сказал тот гость, который уже рассказывал об Ивкове. — В Севастополе одному книгопродавцу грозили каторжные работы за то, что у какого-то человека при обыске нашли записочку: «Явка к книгопродавцу такому-то. Получишь 500 рублей. Пароль — Александр». А тот — ни сном ни духом! Насилу адвокат отстоял.

— Страшно! — сказал Хохряков.

Все удивленно оглянулись на него.

— Чего вам страшно?

— Ничего... Пойдем, господа, ужинать.

Гости поужинали и, рассказав еще пару-другую забавных случаев, разошлись...

Хохряков остался один.

Подойдя к письменному столу в кабинете, он увидел прислоненное к свече письмо с заграничным штемпелем и с адресом, написанным рукой его друга Плясовицкого. Распечатал, прочел:

«Дружище Хохряков! Я в Швейцарии, классической, как говорится, стране свободы. Ах, свобода, свобода!.. Помнишь, как мы ходили с тобой в девятьсот пятом году, начиненные трескучими прокламациями, как колбасы... Ты тогда еще толковал об активной работе и на две ночи дал приют какому-то заблудшему эсдеку, а я пожертвовал на организацию милиции одиннадцать рублей... Смехи, как вспомнишь! Воздух здесь чудный и гор...»

Губы Хохрякова побелели.

Он скомкал письмо, бросил его в корзину и прошептал, дрожа всем телом:

— Он... сумасшедший...

Направился к себе в спальню, но сейчас же вернулся, отыскал в корзине скомканное письмо из Швейцарии, порвал его на мелкие кусочки, перемешал их, после чего, потоптавшись по кабинету, отправился спать.

Спал он беспокойно. Забылся к утру, но и утром помешали... Из шкафа вылез неизвестный старик с белой бородой, побряцал какими-то штуками, надетыми на руки, покачал головой и, сказав Хохрякову внушительно: «Кусочки, бывает, и склеивают», снова уполз в шкаф — постоянное, как решил Хохряков, его местопребывание...

Было восемь часов утра.

Хохряков вскрикнул, спрыгнул с кровати, побежал в кабинет и заглянул в корзину. Она была пуста.

«Свершилось!» — подумал Хохряков и скрипнул зубами.

II

Слуга Викентий, суетясь по кабинету, стирал пыль с мебели, а Хохряков смотрел на него из спальни в замочную скважину и думал:

«Большое самообладание. Отметим... Издалека к тебе не подойдешь... Нужно или следить за тобой, или огорошить сразу. Поборемся, поборемся».

Странно: ужаса, страха перед будущим пока не ощущалось...

Даже какая-то бодрость и предприимчивость вливалась в усталый от дум и тревог мозг.

Хохряков распахнул внезапно дверь и, стараясь, чтобы не задрожал голос, спросил:

— Как погода?

— Солнечно, — отвечал, повернувшись, Викентий.

«Солнечно? — мысленно прищурился Хохряков. — А письмецо где? А швейцарские кусочки куда дел?»

Вслух спросил:

— Скоро кончишь уборку?

— Сейчас.

— А из корзины выбросил сор?

— Выбросил.

«О-о, — подумал, нервничая, Хохряков. — Ты, милый мой, опаснее, чем я думал. Ишь ты, ишь ты! Ни один мускул, ни одна жилка не задрожала. А? Это что? Губы?

Губы-то и поджал, губы и поджал... На губах и попался... Хе-хе! Ага! А ведь пустяк...»

Хохряков прошелся по кабинету и, равнодушно смотря в окно, тихо уронил:

— Кусочки все были?

— Как-с?

— Небось с подбором повозился...

— Чего-с?

Хохряков нагнулся к нему и взял за плечо:

— А там-то, там... Хорошо поблагодарили? Есть на молочишко?.. Знаем-с! Не проведешь.

Викентий странно посмотрел на него и, отвернувшись к креслу, спросил:

— Чай сюда подать прикажете?

— Сюда! — напряженно засмеялся Хохряков. — А к чаю дай мне... швейцарского шоколада. Дашь, милый?

— Слушаю-с, — сказал Викентий и выбежал из кабинета.

Когда Хохряков остался один — силы его покинули. Он опустился в кресло и, стирая пот со лба, прошептал:

— Хорошо владеете собой, Викентий Ильич! Пре-крас-ное само-обла-дание... Это и понятно! Барина своего с нервами не продашь. Хе-хе! Ну да мы-то поборемся!

III

Викентий действительно прекрасно владел собой...

На другой день Хохряков после разговора о погоде в упор спросил его:

— Что, если бы я случайно разорвал письмо — ты мог бы подобрать обрывки и склеить?

Викентий скользнул по Хохрякову взглядом и сказал:

— Попробую.

— Так, так... (Не вздрогнул даже! Не пошевелился!) Я, знаешь, голубчик Викентий... Что, наш участок — далеко отсюда?

Хохряков наклонился к лицу Викентия и громко, хрипло дыша, вонзился в него взглядом.

— На том квартале. На углу.

— Ага! Прекрасно! Я пойду сегодня в участок — потолковать с приставом. Хе-хе! Понимаешь, милуша Викентий, потолковать...

— О чем-с? — спросил Викентий, переступая с ноги на ногу.

«Ага! Вот оно! Заинтересовался парень. Не выдержало ретивое... А вот мы вас...»

Хохряков помедлил.

— О чем? О Швейцарии. Об эсдеках... О письмах, чудесно воскресающ... Что ты так на меня смотришь?! Понял? Понял?

Хохряков пронзительно крикнул и, оттолкнув Викентия, выбежал из комнаты.

По дороге в участок Хохряков криво улыбался и думал:

«Я даже знаю, что произойдет... Я приду пощупать почву, только пощупаю ее, матушку! Но произойдет сцена в участке из «Преступления и наказания» Достоевского... Ха-ха... Поборемся, Порфирий, поборемся!!»

Когда Хохряков вошел в приемную, он увидел стоящего у дверей пристава, который распекал оборванного простолюдина.

— Ты говоришь, подлец, что золотые часы купил? Ты? Ты? Ты их мог купить?!

— Да и купил, — возражал простолюдин. — Захотел узнать, который час, — и купил.

Пристав мельком взглянул на вошедшего Хохрякова и обратился к оборванцу:

— Ведь часы ты украл! Где ты мог взять 200 рублей? Ну? Ну?

— Нашел, ваше благородие... В уголочку лежали.

Хохряков приблизился к приставу и внушительно, серьезно глядя в его глаза, прошептал:

— Я Хохряков.

— Хорошо. Потрудитесь обождать.

«Эге, — болезненно покривился про себя Хохряков. — Да и ты, брат, я вижу, дока!.. И ты нервы свои, чтоб не разгулялись, в карман прячешь. О-о... Ну что ж — походим... Походим друг около друга».

— В уголочку лежали? Просто украл ты их, и больше ничего!

«Ошеломил я его, — внутренно усмехнулся Хохряков. — Наверное, втайне прийти в себя не может... Понимаем-с! На оборванце успокаивается, а сам про себя думает: «Зачем Хохряков сам объявился? Извещения ему еще не было?»

Не-ет, брат. А Хохряков-то и пришел. Хохряков сам с усам».

Пристав подошел к Хохрякову и, рассматривая какую-то бумагу, спросил:

— Чем могу служить?

— Насчет Швейцарии я...

— Какой Швейцарии?

«Хладнокровничаешь? — подумал Хохряков. — А зачем головы не поднимаешь? Голос мой изучить тебе хочется, повадки... Просты уж больно ваши хитрости, господин пристав!»

— В Швейцарию хочу ехать. Зашел узнать, как можно в наикратчайший срок получить заграничный паспорт...

— Это нужно через градоначальство, — пожал плечами пристав.

Хохряков стал нервничать. Хладнокровие противника повергло его в дрожь и не изведанный еще страх...

Он встал и резко сказал:

— Прощайте, ваше благородие... Поклон вам от Викентия Карпикова... Хе-хе!

— Какого... Карпикова?

— Знаете что, господин пристав, — серьезно сказал Хохряков, наклоняясь вперед. — Бросим все эти штуки, уловки, будем говорить, как два умных человека: когда?

— Что — когда? Что с вами?

— Когда меня возьмете? — покорно прошептал Хохряков.

— Куда?!!

— Хе-хе... Кусочки как подклеивали? На прозрачную кальку? Чтоб обратную сторону можно было прочесть? А Викентий молодец! Твердокаменный!.. Я — и так и этак...

Пристав внимательно глядел на Хохрякова и наконец ласково засуетился.

— Сейчас, сейчас... Вы позволите мне, господин Хохряков, поехать с вами домой? Вы недалеко живете?

— Кусочков не хватает? — бледно улыбнулся Хохряков. — Ищите... Все равно. Мне теперь уже все равно... Ищите! Всюду ищите! Мучители мои! Кровопийцы! Инквизиторы... Сибирь? Давайте ее, вашу Сибирь... Лучше Сибирь, чем так... Душу? Душу мою вы вынули за эти два дня — так Сибирью ли вам запугать меня?!

Он обрушился на стол и затрясся от долго сдерживаемых рыданий.

— Ефремов! — сказал пристав, придерживая голову Хохрякова. — Позвони семнадцать ноль восемь: карету и двух служителей!.. Успокойтесь, господин Хохряков... Мы все это разберем и сейчас же отвезем вас в Швейцарию... Не плачьте... Хорошо там будет, тепло...

— Суда не надо, — попросил, вздрагивая нижней челюстью, Хохряков. — Не правда ли? Зачем суд? Прямо и отправляйте.

— О, конечно, — согласился поспешно пристав. — Конечно. Прямо и отправим.

— Прямо и отправляйте. Зачем еще мучить?

Карета увозила Хохрякова. Полузакрыв глаза, он изредка судорожно всхлипывал и повторял:

— Бедные мы, русские! Бедные...

ЛАКМУСОВАЯ БУМАЖКА

I

Я был в гостях у старого чудака Кабакевича, и мы занимались тем, что тихо беседовали о человеческих недостатках. Мы вели беседу главным образом о недостатках других людей, не касаясь себя, и это придавало всему разговору мирный, гармоничный оттенок.

— Вокруг меня, — благодушно говорил Кабакевич, — собралась преотличная музейная компания круглых дураков, лжецов, мошенников, корыстолюбцев, лентяев, развратников и развратниц — все мои добрые знакомые и друзья. Собираюсь заняться когда-нибудь составлением систематического каталога, на манер тех, которые продаются в паноптикумах по гривеннику штука. Если бы все эти людишки были маленькие, величиной с майского жука, и за них не нужно бы отвечать перед судом присяжных, я переловил бы их и, вздев на булавки, имел бы в коробке из-под сигар единственную в мире коллекцию! Жаль, что они такие большие и толстые... Куда мне с ними!

— Неужели, — удивился я, — нет около вас простых хороших, умных людей, без глупости, лжи и испорченности?

Мне казалось, — я этими словами так наглядно нарисовал свой портрет, что Кабакевич поспешит признать существование приятного исключения из общего правила — в лице его гостя и собеседника.

— Нет! — печально сказал он. — А вот, ей-Богу, нет!

«Сам-то ты хорош, старый пьяница», — критически подумал я.

— Видишь, молодой человек, ты, может быть, не так наблюдателен, как я, и многое от тебя ускользает. Я строю мнение о человеке на основании таких микроскопических, незаметных черточек, которые вам при первом взгляде ничего не скажут. Вы увидите *настоящее лицо* рассматриваемого человека только тогда, когда его перенести на исключительно благоприятную для его недостатка почву. Иными словами, вам нужна лакмусовая бумажка для определения присутствия кислоты, а мне эта бумажка не нужна. Я и так, миленький, все вижу!

— Это все бездоказательно, — возразил я. — Докажите на примере.

— Ладно. Назови имя.

— Чье?

— Какого-нибудь нашего знакомого, это безразлично.

— Ну, Прягин Илья Иванович. Идет?

— Идет. Корыстолюбие!

— Прягин корыстолюбив? Вот бы никогда не подумал... Ха-ха! Прягин корыстолюбив?

— Конечно. Ты, молодой человек, этого не замечал, потому что не было случая. А мне случая не нужно.

Он умолк и долго сидел, что-то обдумывая.

— Хочешь, молодой человек, проверим меня. Показать тебе Прягина в натуральную величину?

— Показывайте.

— Сегодня? Сейчас?

— Ладно. Все равно, делать нечего.

Кабакевич подошел к телефону.

— Центральная? 543–12! Спасибо. Квартира Прягина? Здравствуй, Илья. Ты свободен? Приезжай немедленно ко мне. Есть очень большое, важное дело... Что? Да, очень большое... Ждем!

Он повесил трубку и вернулся ко мне.

— Приедет. Теперь приготовим для него лакмусовую бумажку. Придумай, молодой человек, какое-нибудь предприятие, могущее принести миллиона два прибыли...

Я засмеялся.

— Поверьте, что, если бы я придумал такое предприятие, я держал бы его в секрете.

— Да нет... Можно выдумать что-нибудь самое глупое, но оглушительное. Какой-нибудь ослепительный мираж, грезу, закованную в колоссальные цифры.

— Ну ладно... Гм... Что бы такое? Разве так: печатать объявления на петербургских тротуарах.

— Все равно. Великолепно!.. Оглушительно! Миллионный оборот! Сотни агентов! Струи золота, снег из кредитных бумажек! Брраво! Только все-таки разработаем до его прихода цифры и встретим его с оружием в руках.

Мы энергично принялись за работу.

II

— Что такое стряслось? — спросил Прягин, пожимая нам руки. — Пожар у тебя случился или двести тысяч выиграл?

Кабакевич загадочно посмотрел на Прягина.

— Не шути, Прягин. Дело очень серьезное. Скажи, Прягин... мог бы ты вступить в дело, которое может дать до трех тысяч процентов дохода?

— Вы сумасшедшие, — засмеялся Прягин. — Такого дела не может быть.

Кабакевич схватил его за руку и, сжав ее до боли, прошептал:

— А если я докажу тебе, что такое дело есть?

— Тогда, значит, я сумасшедший.

— Хорошо, — спокойно сказал Кабакевич, пожимая плечами и опускаясь на диван. — Тогда извиняюсь, что побеспокоил тебя. Обойдемся как-нибудь сами. (Он помолчал.) Ну что... был вчера на скачках?

— Да какое же вы дело затеваете?

— Дело? Ах да... Это, видишь ли, большой секрет, и если ты относишься скептически, то зачем же...

— А ты расскажи, — нервно вскричал Прягин. — Не могу же я святым духом знать. Может, и возьмусь.

Кабакевич притворил обе двери, таинственно огляделся и сказал:

— Надеюсь на твою скромность и порядочность. Если дело тебе не понравится — ради Бога, чтобы ни одна душа о нем не знала.

Он сел в кресло и замолчал.

— Ну?!

— Прягин! Ты обратил внимание на то, что дома главных улиц Петербурга сверху донизу покрыты тысячами вывесок и реклам? Кажется, больше уже некуда приткнуть самой крошечной вывесочки или объявления! А между тем есть место, которое совершенно никем не использовано, никого до сих пор не интересовало и мысль о котором никому не приходила в голову... Есть такое громадное, неизмеримое место!

— Небо? — спросил иронически Прягин.

— Земля! Знаешь ли ты, Прягин, что тротуары главных улиц Петербурга занимают площадь в четыре миллиона квадратных аршин?

— Может быть, но...

— Постой! Знаешь ли ты, что мы можем получить от города совершенно бесплатно право пользования главными тротуарами?

— Это неслыханно!

— Нет, слыхано! Я иду в городскую думу и говорю: «Ежегодный ремонт тротуаров стоит городу сотни тысяч рублей. Хотите, я берусь делать это за вас? Правда, у меня на каждой тротуарной плите будет публикация какой-нибудь фирмы, но не все ли вам равно? Красота города не пострадает от этого, потому что стены домов все равно пестрят тысячами вывесок и афиш — и никого это не шокирует... Я предлагаю вам еще более блестящую вещь: у вас тротуарные плиты из плохого гранита, а у меня они будут чистейшего мрамора!»

Прягин наморщил лоб.

— Допустим, что они и согласятся, но это все-таки вздор и чепуха: где вы наберете такую уйму объявлений, чтобы окупить стоимость мрамора?

— Очень просто: мраморная плита стоит два рубля, а объявление, вечное, несмываемое объявление — двадцать пять рублей!

— Вздор! Кто вам даст объявления?

Кабакевич пожал плечами. Помолчал.

— А впрочем, как хочешь. Не подходит тебе — найду другого компаньона.

— Вздор! — взревел Прягин. — К черту другого компаньона... Но ты скажи мне: кто даст вам объявления?

— Кто? Все. Что нужно для купца? Чтобы его объявление читали. И чтобы читало наибольшее количество людей. А по главным улицам Петербурга ходят миллионы народу за день, некоторые по нескольку раз, и *все смотрят себе под ноги*. Ясно, что — хочешь не хочешь, — а какой-нибудь «Гуталин» намозолит прохожему глаза до тошноты.

— Какую же мы прибыль от этого получим? — нерешительно спросил Прягин. — Пустяки какие-нибудь? Тысяч сто, полтораста?

— Странный ты человек... Ты зарабатываешь полторы тысячи в год и говоришь о ста тысячах, как о пяти копейках. Но могу успокоить тебя: заработаем мы больше.

— Ну, сколько же все-таки? Сколько? Сколько?

— Считай: четыре миллиона квадратных аршин тротуара. Возьмем даже три миллиона (видишь, я беру все минимумы) и помножим на 25 рублей... Сколько получается? 75 миллионов! Хорошо-с. Какие у нас расходы? 30% агентам по сбору реклам — 25 миллионов. Стоимость плит с работой по вырезыванию на них фирмы — по три рубля... Ну, будем считать даже по четыре рубля — выйдет 16 миллионов! Пусть — больше! Посчитаем даже двадцать! На подмазку нужных человечков и содержание конторы — миллион. Выходит 46 миллионов. Ладно! Кладем еще на мелкие расходы 4 миллиона... И что же останется в нашу пользу? 25 миллионов чистоганом! Пусть мы не все плиты заполним — пусть половину! Пусть — треть! И тогда у нас будет прибыли 10 миллионов... А? Недурно, Прягин. По 5 миллионов на брата.

Прягин сидел мокрый, полураздавленный.

— Ну что? — спросил хладнокровно Кабакевич. — Откажешься?

— По... подумаю, — хрипло, чужим голосом сказал Прягин. — Можно до завтра? Ах, черт возьми!..

III

Я вздохнул и заискивающе обратился к Кабакевичу и Прягину:

— Возьмите и меня в компанию...

— Пожалуй, — нерешительно сказал Кабакевич.

— Да зачем же, ведь дело не такое, чтобы требовало многих людей, — возразил Прягин. — Я думаю, и вдвоем управимся.

— Почему же вам меня не взять? Я тоже буду работать... Отчего вам не дать и мне заработочек?

— Нет, — покачал головой Прягин. — Это что ж тогда выйдет. Налезет десять человек, и каждому придется по копейке получить. Нет, не надо.

— Прягин!

Я схватил его за руку и умоляюще закричал:

— Прягин! Примите меня! Мы всегда были с вами в хороших отношениях, считались друзьями. Мой отец спас однажды вашему — жизнь. Возьмите меня!

— Мне даже странно, — криво улыбнулся Прягин. — Вы так странно просите... Нет! Это неудобно.

Я забегал по кабинету, хватаясь за голову и бормоча что-то.

— Прягин! — сказал я, глядя на него воспаленными глазами. — Если так — продайте мне ваше право участия в деле. Хотите десять тысяч?

Он презрительно пожал плечами.

— Десять тысяч! Вы не дурак, я вижу.

— Прягин! Я отдам вам свои двадцать тысяч — все, что у меня есть. Подумайте, Прягин: завтра утром мы едем с вами в банк, и я отдаю вам чистенькие, аккуратно сложенные двадцать тысяч рублей. Подумайте, Прягин: когда вы входили сюда, вы продали бы это дело за три рубля! А теперь, — что изменилось в мире? Я предлагаю вам капитал — и вы отказываетесь! Бог его знает, как у вас еще выйдет это дело с тротуарами!.. Городская дума может отказать...

— Не может быть!! — бешено закричал Прягин. — Не смеет!! Ей это выгодно!!

— Торговые фирмы могут найти такой способ рекламы не достигающим цели...

— Идиотство!! Глупо! Это лучшая в мире реклама! Всякий смотрит себе под ноги и всякий читает ее...

— Прягин! У меня есть богатая тетка... Я возьму у нее еще двадцать тысяч и дам вам сорок... Уступите мне дело!!

— Перестанем говорить об этом, — сухо сказал Прягин. — Довольно!! Кабакевич... я завтра утром у тебя; условимся о подробностях, напишем проект договора...

— А, так... — злобно закричал я. — Так вот же вам: сегодня же пойду в одно место, расскажу все и составлю свою компанию... Я у вас из-под носа выдерну это дело!

Я вскочил и побежал к дверям, а Прягин одним прыжком догнал меня, повалил на ковер, уцепившись за горло, и стал душить.

— Нет, ты не уйдешь, негодяй... Каба... кевич... Помо... ги мне!..

Нечаянно, в пылу этой дурацкой борьбы, мои глаза встретились с глазами Прягина, и я прочел в них определенное, страшное, напряженное выражение...

Кабакевич был удивительный человек.

— *Прочли*, — догадался он, освобождая меня из-под Прягина. — Ну, довольно. У вас разорван галстук... Не находите ли вы, что кислоты слишком подействовали на лакмусовую бумажку?

— Вот не ожидал я от него этого, — тяжело дыша, проворчал я.

— Ага! — засмеялся старый Кабакевич. — Ага? Прочли? Глаза-то, глаза — видели? Ха! Такую вещь приходится читать не каждый день!..

ТРУДОЛЮБИВЫЙ ХАРЛАМПЬЕВ

Как-то в дружеском разговоре его спросили:

— Вы знаете, в каждом человеке есть какое-нибудь одно качество, которое резко выделяется на общем фоне; какое качество есть у вас?

Он поднял серые глаза, в которых застыла вековечная печаль, и скромно сказал:

— Трудолюбие.

Все засмеялись.

— Только-то? Ну, это маловато.

— Ничего... Я очень доволен этим качеством, и с меня его хватит.

Человека, который обладал единственным качеством — трудолюбием, — звали Харлампьев. Он был маленький, хромой и всегда ходил с громадным зонтиком, который по росту был похож на его старшего брата. Жил тем, что писал в скучных газетах и журналах скучные статьи.

Впрочем, если бы он написал когда-нибудь нескучную статью — ее бы не напечатали.

Однажды, когда он сидел за утренним чаем, к нему пришел его приятель Волкодавский и, усевшись рядом, долго молчал.

— Чего вы? — спросил Харлампьев.

— Я о вас сегодня слышал кое-что очень неприятное... Совсем я этого не думал и не мог предполагать.

Лицо у Волкодавского было расстроенное, нахмуренное.

— А! — хладнокровно сказал Харлампьев. — Что же именно?

— Помните, вы как-то говорили, что вы трудолюбивы... Мне рассказывали о такого сорта вашем трудолюбии, от которого лучше быть подальше. Знаете, что я слышал? Что вы в молодости служили в Харькове почтовым чиновником... И были настолько трудолюбивы, что ни одно простое письмо не доходило до адресата, потому что все марки сдирались, а письма уничтожались. Потом на каком-то денежном пакете вы попались уже серьезным образом и вам пришлось уйти с большими неприятностями... Сидели, кажется, в тюрьме... Как честный человек, я не пустил этот слух дальше, а принес его вам. И, как честный человек, считаю долгом спросить: «Правда ли это? Если это неправда, — для меня будет особенным удовольствием пожать вашу руку. Если же правда...»

— Постойте, — поднимая загадочные глаза на Волкодавского, остановил его трудолюбивый Харлампьев. — Не надо жать мне руку, а только скажите: от кого вы это слышали?

— Я этого не могу сказать... Дал слово...

— Послушайте, — быстро потирая руки, сказал Харлампьев. — Почему то лицо, которое сообщило вам о моем прошлом, взяло с вас слово не называть его? Потому что боялось попасть в ответ? Это могло быть только в том случае, если ваше лицо само выдумало мое прошлое. В

таком случае вам стыдно покрывать негодяя. Но я не думаю, чтобы то лицо выдумало. Оно от кого-то слышало — я в этом уверен. В таком случае оно ничем не рискует, и я ему не причиню никакого вреда.

— Вы правы, — сказал прямолинейный Волкодавский. — Я слышал это от Алексея Михайловича Козубовича.

— Спасибо. Эй, Марья! Собери-ка мне чемодан. Положи немного белья, папирос и револьвер. Я уезжаю.

— Куда вы уезжаете? — спросил, широко открыв глаза, Волкодавский.

— О, мало ли куда? Я еще и сам не знаю — куда придется ехать. Трудолюбивый человек должен работать. Ему нельзя сидеть на одном месте. Прощайте! Я вам очень благодарен за сообщение. Я думаю, может быть, вам еще и удастся пожать мне руку. Марья! Не забудь и мой зонтик!

В тот же день до обеда Харлампьев положил чемодан на извозчика и уехал.

Козубович собирался обедать.

— Доложите барину, — сказал в передней чей-то тоненький голос, — что Харлампьев хочет видеть его на минутку. Что он, мол, его не задержит.

— А, Харлампьев! — радушно сказал хозяин. — Входите в кабинет.

Маленький Харлампьев вошел, неся в одной руке большой чемодан, в другой — свой колоссальный зонтик.

— Вот и я, — сказал он. — На минутку.

— Куда это вы собрались ехать?

— Еще не знаю. На всякий случай. Слушайте, Козубович! От кого вы слышали, что я в Харькове был почтовым чиновником, отклеивал марки и украл денежный пакет?

Козубович поморщился и нервно сказал:

— Этот Волкодавский! Словно баба какая-то. Вы извините... Он мне даже дал слово молчать.

— От кого вы слышали? — опять спросил тоненьким голоском Харлампьев, поблескивая серыми печальными глазами.

— Гм... Я не считаю удобным... Может быть, это обыкновенная сплетня.

— Тем более... От кого вы слышали?

— Но... мне неудобно...

Харлампьев подошел к чемодану, открыл его, вынул революьвер и направил на хозяина.

Процедил тихонько:

— Если вы не скажете, от кого вы слышали, — значит, выдумали вы. В таком случае сию же минуту я вас застрелю.

— Да как же... — подхватил оживленно Козубович. — Варнакин Петя мне это и сказал. Когда бишь? Да... позавчера в ресторане. Именно позавчера. Что ты, Петя, говорю я. Мыслимо ли это?

Трудолюбивый Харлампьев взял зонтик, с трудом поднял большой чемодан и, кивнув головой, хлопотливо вышел из кабинета.

Через полчаса Петя Варнакин был очень удивлен, когда увидел Харлампьева у себя в меблированной комнате с чемоданом в одной руке, револьвером в другой и зонтиком под мышкой.

— Петя! — сказал Харлампьев. — С тобой я долго не буду разговаривать. Кто рассказал тебе о моих проделках на харьковской почте? Живо! А то голова твоя треснет сейчас, как пустой орех.

Петя звякнул зубами и оперся на стол.

— А, здравствуйте. Как поживаете?

— Кто тебе сказал? Имя.

— Господи! Такой случай... Захар Иваныч Миронов мне это рассказывал. Только представьте — ведь он уехал в Одессу на прошлой неделе.

— Это ничего. Я поеду за ним. Видишь, у меня и чемоданчик припасен. Только... Петя! Ты не врешь? Если ты хочешь меня сбить с толку, я вернусь из Одессы и застрелю тебя.

— Да ей-Богу не вру! Разве можно врать...

— Ну, прощай, Петя. Спасибо.

Харлампьев подхватил свой чемодан, зонтик, сунул револьвер в карман и, прихрамывая, мелкими шажками выкатился на улицу.

— Извозчик! На вокзал!

Миронов был найден в Одессе с большим трудом. Узнав, что у Харлампьева револьвер, он принял этого трудолюбивого человека с распростертыми объятиями.

— Будьте добры сообщить мне, — мягко попросил Харлампьев, — от кого вы слышали, что я в Харькове был, как почтовый чиновник, замешан в краже на почте?

— Вы знаете, что? Я этому не верю!

— Благодарю вас. Но от кого вы слышали?

— Да бросьте. Пойдем лучше ужинать. Охота разводить сплетни.

— Верите ли вы тому, что, если я сейчас не найду у вас дальнейшей нити этого слуха, если эта нить сейчас оборвется на вас — вы будете мной убиты?

— Верю.

— Ну?

— Марья Дмитриевна Остроухова.

— Она сейчас где?

— Она к брату поехала в Лодзь. Там вы ее и найдете.

Харлампьев кротко вздохнул, собрал свои пожитки, сунул револьвер в карман и, покорно опустив голову, ушел.

Несколько дней он провел в вагоне, почти не останавливаясь в тех городах, где ему приходилось бывать. Остроухова послала его из Лодзи к Максудову в Ростов, Максудов выразил ему искреннее сожаление и перебросил его в Самару. Из Самары он должен был поехать в Ряжск, и только в Ряжске получил отрадное известие: оказалось, что инженер Когортов, командированный в Ряжск, слышал о почтовых подвигах Харлампьева от Балкина, который жил в том же городе, где и Харлампьев, — в Петербурге.

Что-то подсказало усталому Харлампьеву, что нить клубка подходит к концу.

Он приехал в Петербург и, не заезжая домой, с вокзала, отправился к Балкину.

— Балкин! — сказал он, опуская на пол чемодан, зонтик и привычным движением вынимая револьвер. — Вы меня знаете. Я изъездил пол-России и не остановился бы даже перед поездкой за границу, чтобы найти только кончик той веревки, которая опутала меня. Смотрите мне в глаза и скажите: кто говорил вам о том, что я, в бытность в Харькове почтовым чиновником, воровал марки с писем и попался в краже денежного пакета?

— Вы очень похудели и осунулись, — с состраданием глядя на него, сказал Балкин. — Бедный вы! Неужели вы объездили для этого пол-России?

— Да. Я очень трудолюбивый человек.

— Бедный вы, бедный. Спрячьте ваш револьвер. Я и так сказал бы вам. Всю эту историю рассказывал мне Илья Ильич Паяльников.

— Что-о? Илюша Паяльников? — Харлампьев хрипло засмеялся. — О-о! Ну вот это, вероятно, и конец. Даете вы честное слово, что подтвердите ему то, что говорили мне?

— Отчего же? Три честных слова!!

У Паяльникова были гости: два чиновника, художник Мстивоев и Волкодавский.

— Не докладывайте обо мне барину, — сказал кротко маленький Харлампьев, когда горничная открыла ему дверь. — Я сам доложусь.

Он вошел, как был — в пальто, с чемоданом и зонтиком в руках. Ни с кем не поздоровавшись, поставил на пол чемодан, сел на него, положил зонтик на колени и, подперши голову маленькими кулачками, внимательно стал всматриваться в полное, цветущее лицо хозяина Паяльникова.

— Что ты, брат Харлаша, — удивился хозяин, — с чемоданом, как будто собираешься куда? Почему ни с кем не здороваешься?

— Сейчас, — сказал Харлампьев, странно посматривая на него. — Ты, Илюша, рассказывал обо мне Балкину, что я, служа в Харькове на почте, воровал марки и денежные пакеты? Постой, постой, не возражай. Это правда, что я говорю. Не хочешь ли, чтобы я сейчас же привез сюда Балкина? Илюша! Я бы мог спросить тебя, как и других: кто тебе сообщил это? Но я не спрошу. Почему? Да потому что мы в Харькове жили с тобой в одно время, и ты прекрасно знаешь, что я даже не служил на почте. Ты тогда был студентом, а я работал в газете. Не правда ли? Действительно, в прошлом году ты просил меня, чтобы я написал статью о построенном тобой мосте; действительно, я отказался — но неужели за это ты мне платишь почтовыми марками? Твое положение сейчас очень нехорошее. Ты Балкину обо мне говорил — это факт. Мою харьковскую жизнь ты знаешь — это факт. Следовательно, тебе даже нельзя отпереться и сослаться на какого-нибудь уже

умершего человека, который якобы сообщил тебе об этом. Ну-с? Что мне с тобой теперь делать? Единственно — это.

Трудолюбивый Харлампьев поднялся с чемодана, прихрамывая подошел к хозяину и вдруг звонко ударил его по лицу маленькой рукой.

Прихрамывая подошел затем к Волкодавскому и сунул ему эту руку.

— Нате. Пожимайте, если хотите.

— С удовольствием, — засмеялся прямолинейный Волкодавский. — Пойдемте, милый, отсюда. Га! Га! Да здравствует трудолюбие!

РЕВОЛЮЦИОНЕР

В первый день св. Пасхи к Кутляевым пришел Птицын. Глава семьи Кутляевых был чиновник, и звали его Исидором Конычем, а Птицына называли Васенькой.

Птицын пришел, наряженный в смокинг и лакированные башмаки, с ярким, сверкающим цилиндром в руках.

— А! — закричал весело Кутляев, растопыривая руки. — Васенька! Христос Воскресе!

— Здравствуйте, — вежливо поклонился Птицын. — Я, простите, не христосуюсь...

— Почему, Васенька? — кокетливо склоняя голову набок, спросила жена Кутляева.

Васенька поздоровался с ней, поклонился сидевшей в углу старой тетке, опустился на предложенный стул и, обмахиваясь платочком, сказал:

— Видите ли... Я нахожу этот обычай отжившим. В нем, вы меня извините, нет логики. Будем рассуждать так: почему знакомые целуются при встречах на Пасху и не целуются на Рождество? Вы, конечно, возразите мне, что Пасха — это праздник любви, торжества и радости. Хорошо-с. Тогда, — спрошу я вас, — а Рождество, чем же хуже Рождество? Чем оно меньше по радости и торжеству? Да и вообще: я понимаю поцелуй как акт физического влечения одного пола к другому, что уже, конечно, есть простое требование природы. А, согласитесь сами, ведь указанных мною элементов в пасхальном поцелуе нет? Ведь нет?

Жена Кутляева задумчиво качнула головой и вздохнула. Муж сказал:

— Пожалуй, это и верно.

— Конечно же верно!

Васенька говорил серьезно, подыскивая выражения, округляя периоды и внимательно поворачиваясь к собеседнику, который подавал реплику. Собеседник внимательно выслушивался и сейчас же получал ясный, точно формулированный ответ.

— Хотя, — возразила госпожа Кутляева, — я того мнения, что в этой радости, в этих поцелуях и дружеских объятиях есть что-то весеннее.

— Хорошо-с, — солидно, складывая руки на груди, сказал Васенька. — Хорошо. Но если это так, то почему же не целоваться в июне или сентябре?

— Что вы говорите?! — вспыхнула Кутляева. — Разве можно?

— Вот то-то и оно. Нужно как можно дальше отходить от нашей затхлой традиции, от всего того, что «все делают».

— Однако, — сказал Кутляев, — вот вы же, Васенька, с визитом пришли?..

Васенька привстал.

— Я могу и уйти, если вам мое посещение не нравится...

— Что вы, что вы! Как вам не стыдно?.. Мы очень рады! Я только к тому говорю, что визиты тоже традиция.

— Да-с! Пошлейшая, никому не нужная традиция! И вот именно поэтому я решил всюду ходить и во всеуслышанье заявлять: «Господа! Бросьте этот глупый, утомительный обычай! Станьте выше! Стремитесь быть сверхчеловеками!»

— Вы водку пьете? — спросил Кутляев.

— Что? Какую водку? Ах водку. Рюмочку я, конечно, выпью, но не потому, что это какой-то там праздник, а просто небольшое количество алкоголя мне не повредит.

Кутляев налил две рюмки водки, а жена его сказала:

— Если вы, Васенька, это натощак — я вам дам сначала кусочек свяченого кулича. Хотите?

Васенька резко и строго обернулся к хозяйке.

— Нет-с, Наталья Павловна, не хочу. Нет, не хочу! Согласитесь сами — зачем? Что изменится в нашей будущей жизни от того, если я съем этот кусок желтого сладкого хлеба, а не тот? Если вы мне дадите именно тот, который

был обрызган священником? Зачем это? Да и вообще, кулич... Почему вы меня не угощали им, когда я у вас был в декабре? Почему теперь мне должно хотеться, а тогда нет? Согласитесь сами, странно!

— Да бросьте вашу философию, — хлопнул его по плечу хозяин. — Ох уж эта мне интеллигенция! За ваше здоровье!

— При чем тут здоровье? — поморщился Птицын. — Просто нам с вами хочется выпить — мы и пьем.

— Кулича нашего попробуете? — робко спросила хозяйка.

— Принципиально не попробую, уважаемая Наталья Павловна. Вот в сентябре будут именины вашей дочки, — тогда съем. А есть его сейчас, согласитесь сами, это ординарно.

Он обвел глазами стол, и взгляд его остановился на высоком куличе, увенчанном тремя сахарными розами и шоколадным барашком с крошечным зеленым флагом.

— Вы простите меня, Наталья Павловна, но... можно мне быть с вами откровенным?

— Пожалуйста, — съежившись, сказала хозяйка.

— Я уж такой человек, что всегда режу правду-матку в глаза! Это самое лучшее. Не правда ли? Скажите: неужели вы серьезно думаете, что эти сахарные розы и этот барашек — на что-либо нужны? Ведь вкусу они вашим куличам не придадут, а...

— Ах, какой вы критик, — слабо усмехнулась хозяйка. — Я и не знала... На всякий пустяк обращаете внимание... Это сделано так — только для красоты.

Птицын горько улыбнулся.

— Для красоты... Красота — это Рафаэль, Мадонна, Веласкес какой-нибудь! Венера Милосская! Вы извините меня, но я так говорю, потому что считаю вас хорошими, умными людьми и знаю, что вы не обидитесь... А какая же красота — барашек с рынка стоимостью в пятиалтынный? Ни моего эстетического, ни моего морального чувства такая безвкусная вещь удовлетворить не может.

— Ха-ха! — засмеялся Кутляев. — Вот не думал, что у покойного Павла Егорыча такой умный сынок будет. Ай да Васенька! Бог с ними, с барашками... Вы бы еще рюмочку! Красным яичком закусите или поросеночком.

Васенька нахмурился.

— Позвольте быть с вами откровенным: вы их для вкусу покрасили или для красоты?

— Черт его знает, для чего. Взял да и покрасил.

— Я думаю, краска, которой они выкрашены, не безвредна. В таком случае я очень попрошу вас, добрейшая Наталья Павловна, дать мне простое белое яйцо. Оно, правда, не так сияет, но ведь я же и не любоваться на него буду...

Птицын долго ел молча, опустив голову и о чем-то думая.

— Поросенок тоже, — закачал он укоризненно своей широкой черной костистой головой. — Ведь если крашеное кушанье вообще красиво, — почему бы и поросенка не выкрасить в голубой цвет или побронзировать золотым порошком? Однако этого не делают. Правда, для чего-то всунули ему в рот кусок петрушки, но, я думаю, никто этим не будет восторгаться. Всунули просто неизвестно для чего...

— Охота вам, Васенька, петь Лазаря, — нервно перебил его хозяин. — Ну и всунули! Ну и поросенок. Надо же чем-нибудь великий праздник отметить.

— Так, так, — покачал головой Васенька. — Подъем религиозного чувства знаменуется всовыванием в пасть мертвого животного пучка зелени... Логично!

В комнату влетел завитой, пронизанный насквозь праздничным настроением блондин, расшаркался и радостно, во всю мочь легких заорал:

— Христос Воскресе! Исидор Коныч, троекратно! Наталья Павловна, троекратно! Мой молодой товарищ, — троек...

— Простите, не целуюсь, — сказал твердо и значительно Птицын. — Устаревший пережиток. Форма без содержания...

— Фу-ты ну-ты, — пропел молодой блондин. — А то бы лобызнулись. Не хотите? Как хотите.

Склонив голову набок и смотря укоризненными глазами на пришедшего, Птицын ехидно спросил:

— Визиты делаете?

Блондин склонил голову направо и юмористически пропищал:

— Визиты делаю! Мученик естества.

— Выпейте чего-нибудь.

— С восторгом в душе! Боже ты мой! Какие красивые яйца!! И зелененькие, и розовенькие. И лиловые!

— Вам нравятся? — иронически спросил Птицын. — А мне, представьте, не нравятся. Это не есть вечная красота... Веч-

ная красота — это Рафаэль, Мадонна... Знаменитая статуя Венеры Милосской, находящаяся в одном из заграничных музеев, — вот что должно нравиться.

— Эх, куда заехали, — засмеялся молодой человек и молящим голосом попросил: — Можно съесть лиловенькое? Мне нравится лиловенькое!

— Да какое угодно, — радушно сказала хозяйка.

— Вечные самообманы в жизни, — печально прогудел Птицын. — Гонимся мы за лиловыми яйцами и забываем, что внутри они такие же, как и красные, как и белые... Слепое человечество!

— Где вы были у заутрени? — спросила хозяйка.

— В десяти местах! Носился как вихрь. Весело, ей-Богу! Радостно! Колокола звонят вовсю. Дилим-бом! Бам-бам! То тоненькие. То такие большие густые дяди! Гу-у! Гу-у!

— Красота не в этом, — сказал Птицын, внимательно, по своему обыкновению, выслушав собеседника. — Не в том, что по одному куску металла бьют другим куском металла... И не в том, что яйца красные и голубые... И не в том, что у вас на сюртуке атласные отвороты. Красота — это Бетховен, симфония какая-нибудь... Кёльнский собор! Микеланджело! Слепое человечество...

Хозяйка вздохнула и сказала блондину:

— Садитесь! Чего же вы стоите?

— Мерси. С удовольствием, — расшаркался представитель слепого человечества.

Повернулся к столу и сел.

— Что вы делаете! — закричал болезненно и пронзительно Птицын. — Вы сели на мой цилиндр!

— Ну? — удивился блондин. — В самом деле!

Птицын вертел в руках сплющенный, весь в крупных изломах и складках цилиндр и со слезами в голосе говорил:

— Ну что теперь делать! Сели на цилиндр. Ну куда он теперь годится... Кто вас просил садиться на мой цилиндр?!

— Я нечаянно, — оправдывался блондин, пряча в усах неудержимое желание рассмеяться. — Да это пустяки. Его можно выпрямить и по-прежнему носить.

— Да-а... — злобно смотря на блондина, плаксиво протянул Птицын. — Сами вы носите! Разве в нем можно показаться на улице?!

12 Том 3 Круги по воде

— Почему же? — усмехнулся гость. — Красота не в этом. Красота — это Рембрандт, Айвазовский, Шиллер какой-нибудь... Мадонна!

На глазах Птицына стояли слезы бешенства и обиды.

— Полез... Прямо на шляпу!

— Слепое человечество, — захохотал блондин. — Ну, если не хотите так ее носить, я вам заплачу. Ладно?

Птицын сжал губы, получил от блондина пятнадцать рублей и, ни с кем не прощаясь, угрюмо ушел.

Поросенок, держа в зубах пучок зелени, заливался беззвучным смехом.

ПРИНЦИП

Иван Сергеич имел цельный, гармоничный характер и не гордился этим только потому, что был скромен и прост в обращении; эти качества резко отличали его от других воров, водившихся в трактире «Лужайка», — людей в общей массе крикливых, хвастливых и наглых.

Деятельность Ивана Сергеича имела строго определенное направление, от которого он не уклонялся ни вправо, ни влево: не убивал, но зато и не работал. Только воровал.

К людям не ворующим относился недоверчиво, с легким затаенным презрением, и когда вдумывался в их жизнь, то про себя нередко удивлялся: «Почему они тоже не воруют?»

После долгого раздумья объяснял это себе двумя причинами: беспощадной логикой социального строя (если все обворовываемые будут воровать, то некого будет обворовывать), а также отсутствием предприимчивости и неловкостью лиц, которые предпочитали зарабатывать пропитание трудом.

— И трудитесь, черти, — думал с ласковой насмешливостью Иван Сергеич. — Вам же хуже! Все равно украду.

И крал.

Эту веселую человеческую комедию изредка прерывали длинные антракты — именно тогда, когда Иван Сергеич попадал в тюрьму. Здесь он имел возможность бросать ретроспективные взгляды на пройденный путь и каждый раз успокаиваться на том, что ошибок в системе не было: право Ивана Сергеича — воровать, но зато право обворованных — ввергать его в тюрьму... Пожалуйста!

После этого никто не имел возможности упрекать друг друга в несправедливости и дуться один на другого. И по выходе из тюрьмы можно было начинать новую жизнь: трудящиеся, нажившись, должны были снова плохо положить несколько вещей, а Иван Сергеич брал уже остальное на себя.

Воровал Иван Сергеич двадцать пять лет — с тех пор как себя помнил. Если считать, что проживал он в год около двух тысяч, то накрадено им было за всю жизнь мелкими вещами и суммами — пятьдесят тысяч. Эти деньги должны бы вызвать еще большее к себе уважение, если принять во внимание, что ни одна копейка из них не была нажита обыкновенным трудом или убийствами. Кражи — только кражи.

Это был превосходный, очень уютный особняк, имевший все данные для того, чтобы понравиться Ивану Сергеичу.

Оба они — особняк и Иван Сергеич — стояли друг против друга на глухой, пустынной улице, и один из них думал: «Если выдавить стекло — стоят на подоконнике горшки с цветами или не стоят? Свалишь их или не свалишь?»

Долго размышлять было рискованно: через час прекрасная темная ночь сменится рассветом. Поэтому Иван Сергеич, закусив нижнюю губу, провел по стеклу кольцом, наложил на него какую-то тряпку и через минуту стоял уже на подоконнике, зорко всматриваясь в непроглядную тьму, сгустившуюся в комнате. Мягко спрыгнул босыми ногами на паркет и, простирая вперед чуткие руки, побрел наугад...

— Ох, ччерт!..

Нога его споткнулась обо что-то мягкое, большое, неподвижное, и Иван Сергеич, падая, схватился рукой за спинку кресла. Кресло стукнулось о стол, на столе задребезжала лампа... Иван Сергеич присел и сейчас же увидел, как в стороне мелькнула желтая вертикальная полоска света, которая сейчас же перешла в прямоугольник — и в дверях, освещенный маленькой лампой, показался человек.

Лампу он вытянул вперед и с любопытством водил ею во все стороны до тех пор, пока луч света не упал на присевшего около стола Ивана Сергеича. Иван Сергеич взвизгнул, выпрямился и бросился к открытому окну, но незнакомец

опередил его одним прыжком, не выпуская лампы из рук, сел на подоконник и, усмехнувшись, спросил:

— Испугались?

— Испугался, — признался Иван Сергеич и зашаркал смущенно босой ногой по полу.

— Эх вы! Как же можно быть таким нервным... Не бойтесь. Хозяина дома нет.

Иван Сергеич изумленно сверкнул глазами и спросил:

— Да... а вы кто?

— Я? Вот тебе раз! Ну, угадай-ка, миленький, кто я?

Блуждающие глаза Ивана Сергеича остановились на выдвинутых ящиках письменного стола, на большом солидном узле, валявшемся на полу, — том самом узле, о который споткнулся он минуту тому назад, — затем глаза Ивана Сергеича перешли на широкую смеющуюся рожу незнакомца, и оба человека, глядя друг на друга, стали смеяться.

— Ах, поди ж ты! — всплеснул руками Иван Сергеич. — А я думаю: хозяин. Тикáть хотел. Один ты тут?

— Один.

— Да как ты сюда пролез? Окна были целые, парадные заперты — я толкал.

— А я ключом. Зашел, а потом заперся, чтобы не мешали.

— А если хозяин подойдет?

— Он-то? Каждую ночь в клубе до восьми часов утра в карты режется! Всю хурду-мурду успеем вывезти.

— Вы... везти? — ахнул Иван Сергеич.

— А ты что думал? Эх вы, — засмеялся новый вор. — Сколько уже веков прошло, а все вы, воры, ничему не научились. Простой вы народ — воры! Без плана, без выдержки, без хладнокровия... Тебе бы, дураку, только влезть в окно, рискуя, что тебя сцапают, стянуть какую-нибудь подушку или пальто, ценой в пять целковых — и убежать... и ты уже думаешь, что большое дело сделал!

— А ты... как же? — спросил, усаживаясь на узел, Иван Сергеич.

— Вот так же! Как видишь!.. Я целую неделю потратил на слежку: как живет хозяин, да что он делает, да когда возвращается вечером? И что ж ты, братец мой, думаешь... Прислуга приходящая, никого больше ни души, а сам из клуба под утро возвращается.

Иван Сергеич вздрогнул.

— А он сейчас не приедет?!

— Будь покоен, братец: верные сведения имею.

Новый вор помолчал.

— Так вот как. И задумал я вычистить квартиру до последнего гвоздика. Переулок глухой — кому помешать нужно? Работай тихенько, смирненько. К семи часам утра заказал я две подводы с нашими ребятами — приедут, все и вывезем.

Иван Сергеич ударил себя по коленкам и восторженно вздернул головой.

— Ловко!! Все как есть?

— Все, миленький ты мой. До гвоздочка, до последней карточки. Кой-что я уже и уложил.

— Ловкий дьявол... Меня-то в долю примешь?

— Почему не принять. Товару много. Расторгуемся. Однако, миленький... Американцы, о которых ты по своему умственному убожеству не имеешь никакого понятия, говорят: время — деньги. За дело! Я письменным столом займусь, а ты картины снимай.

Новые друзья весело захлопотали.

Наглость и уверенный план другого вора обворожили Ивана Сергеича. Заворачивая в полотняные простыни картины и связывая веревками груды дорогих золотообрезных книг, Иван Сергеич время от времени садился на пол и громко торжествующе хохотал:

— Ай да мы! Ну и мы! Ну и воры нынче пошли!

— Не дери глотку, — скромно сказал новый вор. — Дело нужно делать, а он гогочет... Укладывай лампу в ящик... Да с резервуаром поосторожней! Он, кажется, фарфоровый. Разве вы, черти, понимаете?

Иван Сергеич хлопотал, вертелся по комнате, упаковывал, распутывал веревки, развязывая узлы острыми зубами, и все время среди этих занятий восторженно поглядывал на товарища.

А тот, уложив всего одну этажерку с безделушками и какой-то чемодан, уселся в кресло и важно закурил папироску.

Работы было еще много, но он всем своим видом показывал, что закончить ее предоставляет простоватому Ивану Сергеичу, который с мокрым, потным лицом то и дело подбегал к товарищу и, держа в руках какой-нибудь альбом с фотографическими карточками, отрывисто спрашивал:

— Брать?

— Бери, Ваня, бери. Все пригодится.

— А салфеточку эту? Неужто и ее брать? На что она?

— А что ж салфеточка — собака, что ли? Зачем ее оставлять... Да поторапливайся! А то ребята с подводами приедут — куда нам все поспеть?

И вместо того чтобы помочь утомленному, запыленному Ивану Сергеичу, он только курил да поглядывал на окна, в которых занимался рассвет...

Приехали «ребята с подводами».

Все было уложено, связано, и Иван Сергеич, еле держась на ногах от усталости и суеты, разрешил и себе закурить папироску.

— Нечего там раскуриваться! — оборвал его безжалостный товарищ. — Помогай таскать вещи. Смотри — до хозяина досидимся.

— А ты чего же не помогаешь? — робко спросил Иван Сергеич.

— Напомогался достаточно! Моя работа раньше была. Не бросай папироски на ковер: прожжешь — за него и полцены не дадут! Черти вы! Разве понимаете?

На улице было холодно... Босые ноги чувствовали на мостовой предрассветную сырость.

Товарищ Ивана Сергеича тоже вышел к подводам и равнодушно смотрел, как их нагружали «ребята».

— Готово, ребята? — спросил он.

— Все готово.

Тогда товарищ обратил сонное лицо к Ивану Сергеичу и, улыбнувшись, сказал:

— А теперь — иди себе, братец, подобру-поздорову.

— Как — иди? — ахнул Иван Сергеич. — А вещи? А дележка?

— Какие вещи?

— Да эти! Что мы собирали.

— А разве они твои, эти вещи?

Иван Сергеич рассердился.

— Да ведь и не твои!!

— Нет, мои.

— Это же еще почему такое? Хозяин ты им, что ли?

Незнакомец засмеялся.

— Эх ты! Говорил же я, дураки вы, воры! А кто ж я? Конечно, хозяин. На другую квартиру переезжаю, с ночи укладывался... А ты тут пришел, помог... Да я ничего не имею. Спасибо, что помог. По крайней мере, честным трудом рубль заработал. Хе-хе! Я даром, братец, чужого труда не хочу. На, получай! За честный твой труд!

Хозяин вынул из кармана рубль и сунул его в руку Ивану Сергеичу... . . . .

. . . .

Уже всходило солнце, когда Иван Сергеич брел по пустой улице недовольный, брюзжащий сам на себя, с серебряным рублем, зажатым в грязный кулак.

Гармоничная натура Ивана Сергеича могла показаться странной непонимающему, недалекому человеку.

Этот рубль, заработанный трехчасовым тяжелым, неблагодарным трудом, — жег ему руку.

Проходя по мосту, Иван Сергеич плюнул, очень неприлично обругался и, размахнувшись, выбросил дурацкий рубль в воду.

ЖИВОТНОЕ

I

Мой приятель, студент Ушкуйников, и я — мы сидели в цирке и смотрели на громадного, мясистого парня, который стоял на арене и, изогнувшись чудовищным глаголем, поднимал над головой какие-то металлические шары.

— Ловко! — восторженно прошептал Ушкуйников, шевеля мускулистыми руками. — Одной рукой! А в них около семи пудов.

— Ну так что? — спросил я, с усмешкой глядя на него.

— Семь пудов! Это — рекорд!

— Чего ты так волнуешься? Разве тебе не все равно, если в этом инструменте, висящем сейчас над его головой, — семь пудов, а не пять или шесть?

— Что ты! — удивился Ушкуйников. — Как же может быть все равно? Шесть пудов — это и я жму! А вот семь — это уже гениально!

— А что, если бы нашелся человек, — саркастически спросил я, — который мог бы переплюнуть через двухэтажный дом? Ты бы тоже назвал его гениальным?

— Поехала! — засмеялся Ушкуйников. — Это уже, брат, философская отвлеченность. Шопенгауэр!

Не знаю, что меня привязало к этой большой, добродушной, глуповатой, сильной собаке. Мы были совершенно разные люди: я — маленький, худой, с нежными руками, впалой грудью и вечной боязнью холода, жары и ветра; он — высокий, широкогрудый, с железными мускулами, громким хохотом и с какой-то медвежьей грацией и ловкостью в движениях... Я — умный, много читавший, много знающий человек, он — недалекий, простой, с самыми примитивными влечениями и настроениями.

Когда мы шли из цирка, я, делая короткие шажки, смотрел на него снизу вверх, нервно дергал его большую красную руку и язвительно говорил:

— Я тебе удивляюсь! Ты человек без полутонов. Осчастливить тебя можно тем, что — каким-либо образом — утроить твой рекорд в поднимании восьмипудовой гири... А сделать несчастным — еще легче. Стоит только ударить тебя оглоблей по голове; тогда ты, ощутив физическую боль, — будешь чувствовать себя страшно несчастным.

Он рассмеялся.

— Ну и чудак же ты! Выдумает что-нибудь вечно. Разве можно оглоблей драться?

— Вот видишь! Видишь? Очень мило... ты даже не уловил моей главной мысли, а обратил почему-то внимание на оглоблю, будто бы в ней весь центр! Оглобля играет здесь чисто служебную роль, как подспорье, как иллюстрация к отвлеченной мысли.

— Да брось, — сказал Ушкуйников. — Философия. Гегель.

— Ты меня извини, — с горячностью вскричал я. — Но я не понимаю тебя... У тебя какая-то мания притворяться глупее, чем ты есть. Ведь ты, как студент, все-таки знаешь, что употребление тобой имен философов совершенно бессмысленно. Ни Шопенгауэр, ни Гегель здесь ни при чем.

— Да брось.

— Чего там бросать? Я знаю, когда тебе возразить нечего, ты говоришь: да брось. Это, брат, самый глупейший прием в споре.

Он, сбитый с толку, приостановился.

— Чего ты ругаешься? Смотри — горло пересохнет. Хочешь, я сейчас посажу тебя на крышу этого киоска? Оттуда удобно говорить блестящие речи!

— Конечно, конечно! У тебя ведь другого аргумента быть не может. Или на какую-нибудь дурацкую крышу посадишь, или повалишь на тротуар.

— Да брось, — поежился Ушкуйников. — Я же пошутил.

Я сделал вид, что не слышу его.

— Ты можешь ударом кулака раздробить мне голову, но ведь эту же операцию может произвести и любой дом, который уронит с карниза мне на голову кирпич. Какая же между вами тогда разница?

— Между мной и домом? — спросил притихший студент.

— Да-с. Между тобой и домом. Теперь уже пора бросить это!.. Раньше, конечно, когда любовь женщины добывали дубиной, и пищу добывали дубиной, и честь свою защищали дубиной — тогда физическая сила была хороша... А теперь, когда мы идем по гладкому тротуару, мимо целой тучи городовых, навстречу вежливо извиняющимся при невольном толчке прохожим, — кому и на что нужны твои рекорды, бицепсы и твое примитивное «да брось...».

— Да брось, — сказал Ушкуйников. — Почему же человеку и не быть сильным, если он хочет этого?

— Не надо. Устарело. Пережиток. Уродливый атавизм.

— Эммануил Кант, — прошептал Ушкуйников.

— Дурак.

— Да брось. Пойдем лучше в кабак. Чего ты так распетушился?

II

В ресторане мы выбрали в боковой комнате укромный, безлюдный уголок и уселись за столик.

— Дайте мне баранью котлетку. А ему, — усмехнулся я, указывая на Ушкуйникова, — четыре порции сосисок с капустой.

— А сколько у вас штук на порцию? — спросил с любопытством Ушкуйников.

— Четыре штуки.

— Тогда четырех порций хватит.

— Однако, — болезненно поморщился я. — Я хотел пошутить... А ты серьезно?..

— Такими вещами не шутят, — сентенциозно сказал Ушкуйников. — И дайте маленькую кружку пива за 20 копеек.

— Это самая большая, — возразил лакей.

— Ну уж и большая! Хвастаетесь. Давайте скорей! Иначе я выпью всю вашу кровь и жалкие остатки тела съем!

Он подмигнул лакею и захохотал.

Когда лакей отошел, Ушкуйников сладко потянулся, встал и заявил:

— Хорошо бы, пока подадут ужин, сыграть одну партийку на бильярде. Как движение — очень полезно!

— Играй сам свою партийку. Я не хочу.

— Да почему?

— Что в ней хорошего, в бильярдной игре? Тычут палками в какие-то шарики, а те катаются по сукну, падая изредка в узкие, неудобные для этой цели, отверстия. Очень забавно!

Эта живая, нарисованная мною картина подействовала на впечатлительного Ушкуйникова угнетающе. Он приостановился, и на его лице появилось выражение нерешительности и колебания: стоит ли действительно играть?

Но сейчас же его медленную голову осенила какая-то мысль... Он улыбнулся, погрозил мне пальцем, сказал:

— Барух Спиноза!

И ушел в бильярдную.

Я развернул газету. Погрузился в чтение.

III

— Зд... ррасссьте! Скуч... ск... учаете?..

Я поднял голову и увидел перед собой неопределенно улыбающееся лицо какого-то плотного господина, склонившегося над моим столом.

— Простите, — заявил я. — Я не имею удовольствия вас знать.

— Неужели? Оч-чень жаль. Позвольте присесть?

— Да зачем же? — возразил я.

Он придвинул стул, сел, протянул руку к моей газете и отложил ее на подоконник.

— Охота вам читать! Все равно чепуха. Ничего интересного. А я — можете представить — вдребезги!

— Что вдребезги?

— Прокутился. Даже на пиво не осталось.

— Это место занято, — сказал я, с гримасой смотря на его красные сузившиеся глазки.

— За-ня-то? — откинулся он на спинку стула. — Послушайте!.. Может, вы не рады, что я к вам сел, а?

В его заплывших глазах мелькнуло что-то такое, от чего я сделал равнодушное лицо и с легкой дрожью в голосе сказал:

— Почему же не рад? Я ничего... Я только к тому, что место занято. А то — сидите.

— Б...лагодарю вас! Спасибо. Б...лагороднейший человек!

На лице его появилось выражение нежности.

— Ни... когда не забуду! Позвольте поцеловать вас.

— Да к чему же, — насильственно засмеялся я. — Ведь мы же даже не знакомы.

— Позвольте расцеловать вас, — упрямо повторил незнакомец.

— Я... вообще... не целуюсь, — возразил я, с нетерпением поглядывая на двери, выходившие в общую ресторанную залу.

— Глупо! Ид... иотски глупо! Как так можно — не целоваться?

Он притих, потом поднял тяжелую голову и ударил сжатым кулаком по столу.

— Я трребую!

— Чего вы требуете? — с тайной злостью и нервной дрожью в голосе спросил я.

— Я вам противен? — кричал он, размахивая перед моим лицом массивными руками. — Ха-ха! Вы важный... барин? Да? Может, граф? Может, какой-нибудь князь де Черт меня побери?

Я бледно улыбнулся и, снисходительно смеясь, сказал:

— Да извольте... Если вы уж так хотите — поцелуемся.

— Снисхождение... да? Они снизошли! Ха-ха! А теперь я не желаю!.. Ага! Что, съел? Вот не желаю и не желаю.

Я сидел молча с дрожащим подбородком и больно покусывал губы. Он посмотрел на меня исподлобья.

— Обиделись? А? Неррвы... «Ах, милый Жан, — пропищал он тоненьким голоском, — у меня сегодня нервы...» Ну черт с тобой! Из-звиняюсь. Дай руку!

— Зачем вам моя рука?..

— Дай руку! — закричал он. — Раз я говорю — значит, дай!

— Чего вы ко мне пристаете? — дрожащим голосом сказал я. — Я с вами не знаком, а вы говорите мне «ты».

Он грузно встал, взял одну из моих рук и хлопнул ею по своей мясистой ладони.

— Значит, так? Решено?

Неожиданно он навалился на меня всей тушей. Спиртом несло от него невыносимо.

— Гов...вори!.. Значит, чтоб уж больше никаких? Чтобы нет и нет! И кончено! Пр... равильно?

В двух вершках от меня нависли его мутные, воспаленные глаза. Я снова усмехнулся уголками дрожащих губ и, подделываясь под его несуразно пьяный тон, сказал:

— Ну, правильно — и правильно. Хорошо. И кончено. А теперь садитесь на свое место.

— Од...дин поцелуйчик!

Я закрыл глаза и вообразил себе, что бы я сделал со своим собеседником, если бы обладал силой Ушкуйникова... Я схватил бы его за горло, вцепился бы зубами в его ухо, а когда он заревет от боли, повалил бы его на пол и стал бы бить ногами в бока и живот, в этот отвратительный толстый живот, который сейчас терся о мое лицо...

— Одно лобзание! Лобызни меня, друже!

Любитель поцелуев неожиданно отшатнулся от меня, и из-за него выглянуло улыбающееся лицо Ушкуйникова...

— Что за черт? С кем ты тут поцелуи разводишь?

Я вскочил, нервно дрожа.

— Ты его спроси, а не меня! Подходит ко мне, незнакомый, пьяный, кричит, хватает за руки, лезет целоваться...

Я думал, что Ушкуйников сейчас же взмахнет кулаком и ударит моего мучителя.

Он обернулся к нему и укоризненно сказал:

— Вы чего же это, дядя, а? К незнакомым пристаете... Выпили — и идите домой.

Пьяный нахмурился и, внезапно обернувшись, схватил Ушкуйникова за воротник.

— А ты кто здесь такой?

— Да это все равно, — усмехнулся Ушкуйников. — А только вы мне воротник поломаете так. Пустите... Шли бы вы домой.

— Ах ты, корова, — сказал пьяный. — Взять да трахнуть тебя, чтоб ты знал.

— Совершенно это лишнее. Ну что хорошего. Вы меня поколотите, я вас. Обоим будет больно...

— Што-с?!

Я не мог сдержать себя.

— Дай ты хорошенько этому пьяному скоту по затылку... Чего ты с ним церемонишься?

Незнакомец оттолкнул Ушкуйникова и быстро обернулся ко мне.

— Ага... Вот как?

Рука его мелькнула в воздухе, натолкнулась на что-то, подставленное Ушкуйниковым, и бессильно повисла.

— Это уже не хорошо, — серьезно сказал Ушкуйников. — А я еще с вами церемонился. Вы просто глупый пьяница. Убирайтесь отсюда!

— Нет, я не пойду, — завизжал злобно и испуганно пьяный.

— Ну как же так не пойдете, — не мог сдержать улыбки Ушкуйников. — Пойти нужно. Позвольте, я вам помогу.

Он толкнул незнакомца в плечо, тот сделал пол-оборота, как на невидимой оси, и сейчас же, странным, особенным образом, схваченный двумя руками моего приятеля, — понесся вон из комнаты.

В дверях показались лакеи.

Нам подали ужин.

Я был бледен и задумчив, а Ушкуйников, осмотрев одобрительным взглядом сосиски и заглянув в кружку с пивом, — рассмеялся.

— А он веселый все-таки дядя. Я думаю, когда не пьян — рубаха-парень!

Я заскрипел зубами.

— Убить его надо бы, мерзавца.

— Да брось! За что?..

— Есть люди, которые не имеют права пить!

— Спенсер!

ПРАЗДНИК ЛЮБВИ

I

По обширной базарной площади, мокрой от недавнего дождя и сверкавшей от солнца, — шли, взявшись за руки, два подрядчика: Никифор Блазнов и Иван Потапыч Стечкин.

— Конечно, — говорил Никифор, — будь я барон или там герцог — тебе было бы приятнее со мной идти.

— Мила-ай ты мой, — ласково возражал разнеженный Стечкин. — Что мне барон! Что мне герцог! Главное — чтоб душа была, да чтоб человек без поступков был.

— Без поступков человека не бывает.

— Бывает. Редко, но бывает.

— Нету такого человека, чтоб был без поступков. Все с поступками!..

— Ну хорошо, родной мой. Ну, может быть, бывает. Бог с ними. Пошли им Господь Вседержитель счастья... Ничего, Никифор Васильич, что я вас под руку держу?

— Ничего. Помилуйте-с.

— Ты бы застегнул пальто, Никифор Васильич. Дует, а?

— Ничего, благодарю вас. Вы, может быть, устали, Ваня? Мне бы очень не хотелось, чтобы вы уставали...

На глазах Стечкина блеснули слезы умиления.

— Ах, что вы, Никифор. Мне даже очень приятно с вами идти.

Приятели остановились среди площади и, припав друг к другу, обменялись долгим поцелуем.

— Смотрите, Ваня, — сказал подрядчик Никифор, указывая на деревянный балаган, обвешанный разноцветным полотном, — вот цирк. Не зайдем ли мы сюда повеселиться?

— В такой праздник не повеселиться грех. В буденный день нужно трудиться, а праздники посланы нам Господом для отдохновения.

— Что верно, то верно!

Приятели взялись за руки и подошли к кассе.

— Господин кассир! Христос Воскр... Чудеса! Кассира-то нет. Где же кассир?

— Они, может быть, внутри заняты? Пойдем внутрь, поищем...

Подрядчики вынули по трехрублевке и, держа деньги впереди себя на вытянутой руке, чтобы кто-нибудь ненароком не заподозрил в них желания повеселиться на дармовщинку, — шагнули за занавес.

Худой, костлявый человек, бормоча что-то, сидел на барьере, покрытом кумачом, и натягивал на тощие ноги темно-розовое трико.

— Актер! — благоговейно сказал Никифор. — Здравствуйте. Христос вам Воскресе. Извините, что так нахально... Нам бы кассира...

— Я кассир, — сказал худой человек и, не натянув как следует трико, побежал к кассе.

Получив билеты, подрядчики поблагодарили артиста и осведомились:

— Представление скоро?

— Да вот публика наберется — и начнем.

— А буфет тут есть? Лимонадцу бы...

— Пожалуйте!

Расторопный кассир, придерживая руками плохо натянутое трико, побежал вперед, юркнул за стойку и, взяв в руку штопор, сразу превратился в солидного буфетчика.

— Как дела? — спросил Никифор.

— Дела как будто ничего, только публики мало. Место выбрали неудачное, что ли, — уж не знаю.

— Публику зазывать надо, — посоветовал Стечкин. — Такое дело.

— Где ж тут нам разорваться, — жалобно сказал артист. — Мы только работаем вдвоем с братом да великан, да лошадь.

— А хозяин?

— Да мы-то и хозяева. И ничего тут не поделаешь. Великан с утра лежит пьян — разговелся сильно. А брат одевается к выходу. Хучь разорвись.

Опечаленные этим меланхолическим сообщением, подрядчики вздохнули и тихо поплелись на места.

— Нет, так нельзя... — сказал вдруг Никифор, приостанавливаясь. — Этак дело и лопнуть может. Пойдем, Ваня, наружу.

Подрядчики вышли на помост, отыскали какой-то барабан, звонок и энергично принялись за дело... Барабан загудел, застонал, колокольчик залился бешеным, тонким звоном,

а Ваня, у которого голос был зычный, внушительный, — сложил руки рупором и крикнул на всю площадь:

— Пож-жалте! Замечательное представление лучших магиков, комиков и солистов лучших дворов! Будет выведена настоящая живая лошадь! Поразительный великан, небывалой еще длины, исполнит разные группы!!

Заметив нескольких прохожих, остановившихся около балагана, Ваня отнял руки от отверстого рта и сказал более интимным тоном.

— Заходите, господа, — чего там. По крайней мере, коммерцию поддержите...

И, подмигнув, сообщил совсем уж конфиденциально:

— Дело-то совсем швах... Хозяин худой, в чем только душа держится. Поддержали бы ради православного праздничка.

— Заходите! — приветливо поддержал его Никифор Блазнов. — Милости прошу к нашему шалашу.

Кое-кто из публики ухмыльнулся и нерешительно взошел на ступеньки.

Ваня хватал колеблющихся за талию и деликатно подталкивал их к кассе, а Никифор, выставив голову из окошечка кассы, напустил на себя профессиональный вид и, не стесняясь отсутствием хозяина, занялся коммерческими операциями: выдавал билеты, получал деньги и быстро, привычным жестом бросал сдачу.

...К кассе подошел хозяин в коротком поношенном пальто, из-под которого виднелись темно-розовые ноги. Нисколько не удивившись деятельности друзей, он заглянул в кассу и спросил:

— Много?

— Двенадцать сорок.

— Можно начинать. Идите на места.

II

Первый номер был такой: костлявый хозяин выкатил большой деревянный шар и вскочил на него... Но шар выскользнул из-под ног, и хозяин чуть не упал.

Длинноносый брат хозяина выглянул из-за кулис и презрительно сказал:

— Эх ты! Растепа.

— Я тебе говорил, что не надо было мне давать натощак вина: «нет — выпей да выпей». Вот тебе и выпил, — возразил хозяин.

Он снова прыгнул на шар, но шар, как пугливая лошадь, сбросил его и отбежал в угол.

— Трудно, небось? — сочувственно спросил мастеровой с синяком под глазом.

— А ты думаешь что, — с досадой сказал хозяин. — Попробовал бы сам!

— Да, это дело трудное, — согласилась добродушная публика, грызя семечки.

Порывистый подрядчик Никифор вскочил с места.

— Позвольте, я вам помогу!

Он перешагнул через барьер, подкатил шар и, взяв хозяина под руку, подсадил его.

— Ну, теперь держись за меня... Постой... Экий, братец, ты... Так и ушибиться легко.

Подрядчик обратил к публике сияющее, неизвестно по какой причине, лицо и снисходительно сказал:

— Выпивши они... Дело праздничное.

— Ничего, — отвечала публика. — В этакий праздник — да не выпить?

Хозяин, устоявшись на шаре, засеменил ногами, подрядчик, держа эквилибриста под руку, одобрительно покрикивал, а шарманка, руководимая длинноносым братом, залилась веселым галопом.

Все захлопали.

— Готово! — сказал подрядчик. — Отзвонил — и с колокольни долой. Следующий!

Длинноносый брат хозяина вышел из-за кулис, таща на веревке собаку.

Одет он был в ситцевый клоунский костюм, помятый цилиндр и кое-где робко присыпан мукой.

Вид его вызвал всеобщее сочувствие и жалость.

— Молоденький! — сказала старуха, утирая нос платком.

Длинноносый снял цилиндр, раскланялся и начал:

— Милосиви господа и госпожа! Я умей шрезвычайни шесть демонстровать этот четвероног, котори...

— Говори по-русски, — посоветовал Никифор.

— Ладно. Вот, братцы, собака. Замечательной работы! Стреляет из пистолета, умирает по команде и отгадывает цифры.

— Да ну? — удивились в публике.

— Ей-Богу. Вот, смотрите!

Клоун разложил на земле несколько кусков картона с цифрами, раскланялся с публикой и спустил с веревки собаку.

Собака повернулась и побежала за кулисы.

— Куда она?! — закричал клоун. — Иси сюда, проклятая! Ты чего там стоишь, разиня?.. Придержи ее!..

Костлявый хозяин поймал собаку и подтащил к своему горемычному брату.

— Иси, чтоб тебе подохнуть! А-лле! Господа, назовите какую-нибудь цифру.

— Раз, — сказал мальчишка.

— Сто семнадцать тысяч пятьсот двадцать три, — крикнул мастеровой.

— Нет, нет, чтоб одна цифра была. До десяти!

В публике подсказали:

— Один! Семь! Два! Девять! Пять! Четыре! Восемь! Шесть! Три! Десять!

Собака, ободренная увесистым пинком длинноносого хозяина, взвизгнула, прыгнула и схватила цифру 6.

— Кто сказал 6? — спросил клоун.

— Я, — пролепетал гимназист, вспыхнув от гордости.

— Вот-с ваша цифра! Собака сама взяла.

Шарманка, заведование которою, по просьбе хозяина, взял на себя гимназист, заиграла, публика бешено зааплодировала.

Ободренный успехом, клоун вынес стул, на спинке которого висел пистолет с веревкой, привязанной к курку, и сказал:

— Сейчас моя собака будет стрелять. Сейчас будет японская война двух держав. Алле!

Собака забилась под стул.

— Алле!!

Ни просьбы, ни пинки, ни угрозы не могли заставить собаку вылезть из-под стула.

— Алле, мразь разнесчастная!!

— Позвольте, я выстрелю, — предложил Иван Потапыч, искренно болея душой за клоуна.

— Пожалуйста... Сделайте одолжение.

Подрядчик встал и, потянув за веревку, выстрелил из пистолета.

Ему поаплодировали.

— Трудно? — спросил гимназист.

— Нет, пустое, — скромно ответил подрядчик.

— Еще что будет? — спросил хозяина Никифор.

— Лошадь еще могу вывести, если хотите.

— Не стоит. Чего там животное зря мучить. Повеселились и баста.

— Может, шпагу проглотить? — несмело предложил хозяин.

— Еще что выдумай. Я в позапрошлом году был на Святую в балагане — так один тоже шпагу глотал. Только (покушал он плотно, что ли) возьми и затошни его, извините. Что же вы думаете? Шпагу эту аршина на три вперед выбросило. Не пасхальное это дело — шпага...

— А я тоже в Армавире видел... — сказал мастеровой...

III

Хозяева и публика уселись на барьер, на первые места и погрузились в разные интересные воспоминания. Старуха рассказала, как детей в молоке варят, чтобы они были мягче; подрядчик Ваня вспомнил случай, когда один из его рабочих поднял на спине 18 пудов.

— А у нас великан есть, — таинственно сказал длинноносый клоун. — Пьет и пьет. Так уж сложили его в уборной и не показываем публике.

— Большой? — спросил мастеровой.

— Не особенно. Так, средний. Больших-то на праздники всех разобрали, осталась только мелочь. Может, посмотрите?

Все гурьбой встали и отправились осматривать пьяного великана.

Братья оказались правы наполовину: он был скорее пьян, чем великан.

— Так в лежачем виде не видно его, — сказал подрядчик. — Его бы поставить.

— Илья! — сказал хозяин. — Прислони его к стенке.

— Пошел! — закричал великан, поднимая кулак. — Тронь только, я тебе покажу, стерва!

— Ох, эти уж закулисные интриги, — вздохнул Никифор. — Чистая беда с ними. Пойдемте, господа.

Все вышли. На правах старого знакомого хозяин удержал за руку двух подрядчиков и шепнул им:

— Может, по рюмочке водки выпьете?

— Дело, паренек! Только уж мы угостим! Может, ваш братец за коньяком сбегает?

Была ночь... Маленькая керосиновая лампочка тускло освещала уборную цирка. В углу висели украшенные бумагой обручи, клоунский костюм, и лежал тот самый шар, который был укрощен хозяином лишь при помощи подрядчика. На полу, укрытые размалеванной парусиной, мирно спали четверо: два подрядчика, хозяин и его длинноносый брат. Издали, из другой уборной, доносился тоненький носовой свист великана.

Голодная лошадь отвязалась, вышла из стойла и долго бродила всюду, молчаливо отыскивая какой-нибудь пищи.

Зашла в уборную, стянула со стола соленый огурец и, разжевывая его, посмотрела на спящих.

«Хороши голубчики, — подумала она про хозяев. — И с какой только вы подозрительной компанией не свяжетесь! Сегодня напились, а завтра опять есть нечего».

ПРИЗВАНИЕ

I

Угадать призвание в человеке, направить его на настоящий путь, — что может быть прекраснее этого?

Издатель газеты «Суета сует» критически оглядел мою фигуру и сказал:

— Гм... Что же вы можете у нас делать?.. Гм... Василий Васильевич очень просил за вас, а мне хотелось бы сделать ему приятное. Знаете что? Поступайте к нам на вырезки.

— На вырезки так на вырезки, — равнодушно согласился я. — На какие вырезки?

— Это очень несложное дело. Вы берете пачку только что полученных чужих газет и начинаете проглядывать их, вырезывая ножницами самое интересное и сенсационное. Потом наклеиваете эти вырезки на бумагу и, сопроводив их соответствующими примечаниями, отсылаете в типографию. Справитесь с этим?

— Всякий дурак справился бы с этим.

— Ну, а вы?

— Тем более я справлюсь, — скромно подтвердил я.

— Ну, с Богом.

Я сел на указанное мне место и прилежно занялся своим новым делом. Я читал газеты, резал их ножницами, мазал клеем, наклеивал, приписывал и хотя устал как собака, но зато с честью выполнил свою задачу.

На другой день утром редактор подошел ко мне и решительно сказал:

— Не делайте больше вырезок!

— Почему?

— Потому что у вас получается черт знает что.

— Рассказывайте! — недоверчиво возразил я. — Приснилось это вам, что ли?

— Нет, не приснилось... Ну, посмотрите, что вы навырезывали! Ну, прочтите сами, своими глазами, что напечатано в нашей газете, благодаря вам! Можно это допустить?

Я пожал плечами и, развернув газету, просмотрел свою вчерашнюю работу.

«Обзор печати». Газета «Тамбовский голос» сообщает очень интересное сведение: «Вице-губернатор Мохначев выехал в Петербург. К сожалению, причина выезда этого администратора не указана...»

В «Калужских вестях» читаем: «Вчера его пр-во г. губернатор присутствовал на панихиде по усопшем правителе канцелярии. Вечером его пр-во отбыл в имение».

Небезынтересное для наших читателей сведение сообщает «Акмолинское эхо»: «Акмолинский архиерей собирается в поездку по епархии. Степной генерал-губернатор вчера, по недосугу, обычного приема у себя не делал. Городской голова возвращается 15-го».

«Минскому листку» удалось узнать, что «вчера предводитель дворянства праздновал обручение своей дочери

с полковником Дзедушецким. Его сиятельство собирается за границу».

Я внимательно прочел все до конца и спросил редактора:

— А разве плохо?

— Не плохо, а бессмысленно. Кому интересны ваши поездки вице-губернатора, семейные радости предводителей дворянства и экскурсии архиереев. Неужели кому-нибудь из нас интересно, что акмолинский городской голова вернется 15-го. Начхать нам на него!

— Ну, вы поосторожнее... Ведь он все-таки начальство.

— Вы не годитесь для вырезок, — категорически заявил редактор. — Вы слишком раболепны.

— Ну, попробуем что-нибудь другое, — равнодушно согласился я. — В самом деле, вырезки мне не по душе. Дайте мне что-нибудь повыше.

Редактор задумался.

— У нас как раз нет заведующего театром. Хотите попробовать? Вы понимаете что-нибудь в театре?

— Что ж тут понимать? Тут и понимать-то нечего.

— Ну, попробуем вас. Займитесь пока назначением рецензентов в театры на сегодня — кому куда идти. А потом составьте хронику. Ну, с Богом.

II

Оставшись один, я первым долгом ознакомился с отделом зрелищ и после краткого раздумья решил остановиться на самом интересном:

1. Опера.
2. Симфонический концерт.
3. Борьба.

Когда я разобрал редакционные билеты, ко мне постучались.

— Войдите.

В комнату вошел один из рецензентов.

Он опрокинул попавшееся на его пути кресло, вежливо поклонился портрету Толстого и, обратившись к печке, спросил ее:

— Вы, кажется, заведуете теперь театром? Куда я сегодня должен пойти?

Сразу же я выяснил, что в словах рецензента не было никакой иронии. Просто он был преотчаянно близорук, почти слеп. Когда я окликнул его, он обернулся, наткнулся на другое кресло и, добродушно извинившись, пожал ручку этого кресла.

— Куда мне этого калеку? — пробормотал я. — Хорошие сотрудники, нечего сказать. Ну, как я пошлю его куда-нибудь в ответственное место?..

Я выбрал билет похуже и сказал:

— ...Эй, вы! Вот вам, нате билет на сегодня. Дайте отчет. Да только, смотрите, хороший!

Он взял билет и побрел обратно, натыкаясь на все стулья и путаясь ногами в ковре.

Потом зашел другой рецензент и тоже осведомился насчет вечера.

— Надеюсь, у вас зрение в порядке? — спросил я.

— Что?

— Видите-то вы хорошо?

— Что?

Я открыл рот и заревел во все горло:

— Я говорю — глаза хорошие?

Он прислушался к моему голосу и нерешительно отвечал:

— Да уж, если этот дождик зарядит, так держись.

— Какой же вы рецензент, — спросил я, — если вы глухи, как бревно? Зачем вы лезете в это дело, черт вас побери?!

— Были у меня калоши, — печально отвечал рецензент, — да их украл кто-то.

— В оперу я тебя не пошлю, — сказал я вслух, разглядывая его. — Это слишком серьезное дело. Возьми-ка, братец, этот билетик. Это не так опасно...

Он ушел с самым бессмысленным выражением лица, а я позвал третьего рецензента и спросил его:

— Глаза хорошие?

— Прекрасные.

— А уши?

— Помилуйте! Я могу расслышать топот лошади за три версты.

«Вот это настоящий!» — подумал я, удовлетворенный.

— Вот что, голубчик... Берите этот билет и отправляйтесь в театр. Я вам приберег самый лучший.

Он взглянул на билет и нерешительно сказал:

— Должен вам заметить...

— Вы? Мне? Заметить? Этого только недоставало! Кто здесь заведующий? Вы или я? Это я могу вам заметить, а не вы мне. Ступайте!

III

После окончания театров, около двенадцати часов ночи, моя команда съехалась, и через час я имел уже в своих руках три добросовестных талантливых рецензии. Оригинальность замысла сквозила в каждой из них и придавала всем трем ту своеобразную прелесть, которой не найдешь и днем с огнем в других шаблонных измышлениях рецензентов.

Рецензии были таковы:

«ФРАНЦУЗСКАЯ БОРЬБА... Сегодняшняя борьба проходила под аккомпанемент духового оркестра, который, к сожалению, нас совсем не удовлетворил. Ремесленность исполнения, отсутствие властности и такта в дирижерской палочке, некоторая сбивчивость деревянных инструментов в групповых местах и упорное преобладание меди — все это показывало абсолютное неумение дирижера справиться со своей задачей... Отсутствие воздушности, неумелая нюансировка, ломаность общей линии, прерываемой нелогичными по смыслу пьесы барабанными ударами, — это не называется серьезным отношением к музыке! Убожество репертуара сквозило в каждой исполняемой вещи... Где прекрасные шумановские откровения, где Григ, где хотя бы наш Чайковский? Разве это можно назвать репертуаром: «Китаянка» сменяется «Ой-рой», а «Ой-ра» — «Хиоватой» — и так три эти вещи — до бесконечности. И еще говорят, что серьезная музыка завоевывает себе прочное положение... Ха-ха!»

* * *

«СИМФОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ. Прекрасное помещение, в котором давался отчетный концерт, вполне удовлетворило нас. На эстраде сидела целая уйма музыкантов — я насчитал шестьдесят пять человек. Впрочем, по порядку. Ровно в девять часов вечера на эстраду вышел какой-то

человек, раскланялся с публикой и, схватив палочку, стал ею размахивать. Сначала он делал это лениво, еле заметно, а потом разошелся, и палочка сверкала в его руке, как бешеная. Он изгибался, вертел во все стороны свободной рукой, вертел палочку, мотал головой и даже приплясывал. Потом, очевидно, утомился... Палочка снова лениво заколебалась, изогнутая спина выпрямилась, руки поднялись кверху — и он, усталый, положил палочку на пюпитр. Музыканты тогда занялись каждый по своему вкусу: кто натирал канифолью смычок, кто выливал из трубы слюну. Передохнув, снова принялись за прежнее. Начальник размахивал палочкой и плавно, и бешено, и еле заметно, а все не сводили с него глаз, следя внимательно за его движениями. Через некоторое время симфонический концерт был таким путем закончен, и поднялась невообразимая толкотня публики...»

* * *

«ОПЕРА... Хорошая погода собрала массу спортсменов. Большое число записавшихся певцов делало невозможным угадывание фаворита, и первый заезд, или, как здесь говорят — акт, поэтому прошел особенно оживленно. Состязались в первом заезде: князь Игорь (камзол красный, рукава синие), княгиня Ярославна (камзол серебристый, рукава белые) и Владимир Галицкий (голубое с черным). Первой весьма заметно стала выдвигаться в дуэтах с «Игорем» «Ярославна», но на прямой «Игорь» вырвался, стал ее догонять и, к концу дуэта, оба пришли голова в голову. Приятное впечатление произвело появление настоящей лошади (гнедая кобыла зав. Битягина, от «Васьки» и «Снежинки», как нам удалось узнать, за кулисами, на поддоке). Скакал на ней Игорь (камзол красный, рукава синие)...»

IV

На другое утро, когда эти оригинальные, бойкие рецензии появились в свет, редактор подошел ко мне и сказал:

— Можете больше театром не заведовать.

— Неужели нехорошо?

— Нехорошо?! Вас убить мало за такое распределение рецензентов. Вы послали симфонического рецензента на борь-

бу! Полуслепой человек вместо музыки должен был писать черт знает о чем!! Вы могли на борьбу послать глухого, потому что в борьбе важен не слух, а зрение... Нет! Вам понадобилось погнать его на симфонию, которую он так же слышал, как тот видел борьбу. Спортивного обозревателя вы погнали в оперу, которую он понимает не лучше конюшенного мальчика!! Ну, чего же вы молчите?

— Да как же я мог знать, кто из них куда годен!!

— Вы не знали? А я вот знаю, куда и на что вы годны!! О, я это теперь хорошо знаю!!

— Куда? — с любопытством спросил я.

— Идите в редакционные сторожа!! Вы подобострастны, тупы и исполнительны!! Подавайте сотрудникам чай и подметайте по утрам комнаты!!

— Ну хорошо, — согласился я.

* * *

Теперь иногда, внося редактору чай на подносе, я с уважением гляжу на этого проницательного человека, вспоминаю свои неудачные шаги в оценке театральных рецензентов и думаю:

«Угадать призвание в человеке, направить его на настоящий путь, — что может быть прекраснее этого?..»

СТАРИКИ

I

Отнимите у человека его маленькие слабости — и он сделается страшен. Очистите его от грешков, ложных, наивных шагов, наивных шалостей, беспомощности и смешных глупостей. Сделайте это — и перед вами будет стоять не человек, а страшная, сверкающая сталью и добродетелью машина, около которой вы никогда не согреетесь и которая не задумается оттяпать вам руку, если вы сделаете ошибочное движение.

Мне часто хочется ласково обнять и прижать к своей груди человечество, но не все. Только ту его часть, которая

пьет, лжет, развратничает, дерется в зависимости от настроения и пляшет, когда весело...

Именно ту смешную часть человечества люблю я, которая каждый день терзает себя за совершенные накануне глупости, горько рыдает, раскаивается и каждый день бесплодно мечтает «начать новую жизнь».

Милые вы мои...

* * *

Архитектор Макосов долго взбирался к себе на третий этаж. Взобравшись, открыл английским ключом парадную дверь, вошел в переднюю, а затем — не снимая пальто, фуражки и калош — в столовую.

Остановился, прислонившись к притолоке, и тяжелым взглядом обвел стены, стол, поглядел внимательно на самовар и, нахмурившись, сказал хлопотавшему у самовара слуге Перепелицыну:

— Отчего ты, черт тебя подери, не следишь за самоваром. Почему самовар потух?

Перепелицын скорбно покачал головой и сказал:

— Да он вовсе не потух...

— Молчать! — закричал Макосов. — Если я говорю: потух — значит, потух!

— Извольте посмотреть... — мягко сказал Перепелицын.

— Ах так! Значит, я лгу! Так смотри же, собачье отродье!

Макосов схватил горячий чайник и одним духом вылил его содержимое в самоварную трубу.

— Ну? Теперь что?

— Так точно. Потух самовар.

— А я что говорил?

— Что самовар потух.

— Значит, я прав был?

— Правы. Прикажете приготовить постельку?

— Ты! Ты! Пе-ре-пе-ли-ца!! Не думаешь ли ты, старое чучело, что я пьян?

— Нет, помилуйте. Вы просто устали...

— Не-ет... Ты думаешь, что я пьян?!

— Да, ей-Богу, не думаю.

— Помолчи ты, ради Бога!

— Слушаю.

Макосов опустился на стул, не снимая пальто и калош, положил голову на руки и задумался.

— И это называется слуга... — обиженно прошептал он. — Какая-то жалкая пародия на человека. Нос толстый, глаза маленькие. Ты некрасив, брат Перепелицын, ты чертовски некрасив — это ясно. Ведь ты меня ненавидишь — я знаю. Думаешь: нализался барин как сапожник, ноги его не держат. Врешь ты, тварь! Я, брат, и пьяный, может быть, умнее тебя, трезвого. Почему? Тебе это, конечно, любопытно знать? А? Любопытно? Отвечай, Перепелицын!! Любопытно?

— Любопытно, — со вздохом отвечал Перепелицын.

— Оттого, — поднимая голову и торжественно в такт размахивая рукою, сказал архитектор, — что ты мужик, хам, а я барин, братец! Господин! Homo sapiens!![1] Ага?

— Так точно. Но только теперь, скажу я вам, господа еще спят. Девять часов утра. Я бы постельку сейчас...

— Молчи! Ты мне противен со своей примитивной хитростью дикаря. Я тебя, братец, насквозь вижу. Тебе неприятно, что барин твой говорит тебе тяжелые истины прямо в лицо, и ты мечтаешь о том, чтобы сплавить меня спать. Ага?!

— Да по мне — хоть здесь сидите, — добродушно улыбнулся Перепелицын. — Может, чайку налить?

— Протрезвить хочешь? Хам ты, старик. Форменный мужлан. Никакой в тебе деликатности. Отвечай мне откровенно: думаешь ли ты, что я пьян?

— Вы не пьяны, а только вы устали, — деликатно сказал Перепелицын.

— Так-с... Значит, я, по-твоему, трезвый? А почему я шатаюсь? Почему от меня вином пахнет? Ты это все прекрасно видишь! И ты лжешь... Лжешь своему господину, которого должен любить и почитать пуще отца. Ага! Да ты знаешь, я, может, из-за тебя и пьян. Ей-Богу. Как слуга — ты ниже всякой критики. Гм... Да. Пусть моя кровь падет на твою голову.

Перепелицын молчал. Глаза его покорно и печально смотрели в угол, а руки машинально в десятый раз перетирали чистые стаканы.

— Слуга... тоже! Должен бы, кажется, понимать, что ты черная кость, а я белая кость. Где же уважение? Где почте-

---

[1] Человек разумный (*лат.*).

ние перед высшим интеллектом. Ты меня как называешь? Павлом Егорычем? А надо говорить: ваше высокоблагородие!

— Хорошо, — сказал Перепелицын. — Теперь буду вас так звать. Может, скушаете что-нибудь?

— Убирайся! Отстань. Не люблю я тебя, знаешь ли? В тебе нет грации, нет манер, говоришь ты ужасно... А фамилия... Ха-ха-ха! Пере-пели-цын! Это, знаешь, от какого слова? Думаешь, от слова «перепел»? как бы не так... Дудочки-с! От слова «пе-репить-ся». Твой предок, вероятно, был пьяница, перепился однажды — так его и назвали.

— У кого разговлялись? — спросил Перепелицын, неуклюже переводя разговор. — У Ишимовых?

— Да-а, брат... Там разговлялся, где тебя, черта лысого, не пустят. Ты не воображай о себе много. Другой бы взял барина, отвел бы в кровать, а ты... Господи! И выдумает же Господь такую чудовищную физиономию... Ни грации, ни манер.

— Действительно, где мне... Разве ж я не понимаю?.. Эх, Господи! Так, как же... спать... пожалуете?

Перепелицын взял архитектора под локоть и отвел бережно в спальню.

II

Спал Макосов до самого вечера. Хмель его прошел, в голове ощущалась неприятная тяжесть и шум, а в сердце ныла тихая весенняя беспричинная тоска.

Макосов надел халат и вышел в столовую. За столом сидел Перепелицын.

...Сидел, опустив голову, около опорожненной наполовину бутылки водки. О чем-то сосредоточенно думал.

— Здравствуй, Перепелицын, — мягко сказал Макосов, делая вид, что не замечает водки и раскрошенного по всему столу кулича. — Здравствуй... Ну что, брат, разговелся?

Перепелицын молчал, повеся голову. Потом скорбно улыбнулся и проворчал:

— У других, как у людей... Ежели светлый праздник, то господа со слугами христосуются, а у нас, видите ли, не до того. Некогда. А какое-такое занятие? Лишь бы нос задрать повыше.

— Бог с тобой, Перепелицын, — улыбнулся Макосов. — Я с удовольствием с тобой похристосуюсь, поцелуюсь.

— Снизошли? — захохотал Перепелицын. — Жалуете поцелуй со своего барского плеча? Не надо мне ваших поцелуев.

— Ты... на меня сердишься?..

— Я? На вас?

В тоне Перепелицына было много самого ужасного, самого ядовитого презрения.

— Разве я имею право сердиться на вас? Ведь я ваш раб, вы купили меня и можете делать со мной, что хотите. «Высокоблагородие»... Вы можете сейчас даже голову мне отрезать — ничего вам никто за это не скажет.

Архитектор молчал, искренно огорченный, обиженный словами Перепелицына.

— А, спрашивается, чем вы лучше меня? Тем, что вы архитектор? Накупит только разных линеечек, циркулей да красок — и малюй себе на здоровье. Денег только нет — вот беда. А заставь вас делать то, что я делаю, да вы и повернуться не сумеете. Вы... (Перепелицын облил Макосова презрительным взглядом) даже самовара не поставите! Ха-ха! Нет-с. Не сумеете.

— Если ты хочешь, Перепелицын, чаю, — я могу поставить самовар. Я сумею...

— Сидите уж лучше! Ба-арин... Почему белая кость? Кто ее смотрел? А может, и у меня белая? Только людей морочат.

Макосов сидел понурившись, сгребал пальцем со стола крошки кулича и ел их.

Перепелицын сделал долгую, тяжелую паузу.

— Конечно, я вам служить обязан, потому что вы мне платите деньги, но уважать вас — за это? Да разве уважение на деньги берется? Не-ет, миленький. Уважение не такая музыка. Ха! Белая кость... Вот ежели человек сделает какую-нибудь такую штуку — велосипед там какой-нибудь смешной выдумает или песни играет хорошо — я его уважу. А так — что? Наш брат рабочий майстровой человек и фундамент выкопает, и камни сложит, и крышей покроет, а потом говорят: «Кто строил дом?» — «Архитектор Макосов». — «Да не может быть?» — «Так точно».

— Ты не понимаешь, Перепелицын... Ведь я план делаю, всю постройку выдумываю, — я ведь учился для этого сколько...

Перепелицын сардонически улыбнулся.

— А косить умеете?

— Косить не умею.

— Вот вам и план. Без вашего-то плана проживут, а без хлеба у человека брюхо вспухнет, почернеет он и помрет. Нет уж, что там разговаривать.

— Если ты хочешь спать, Перепелицын, — иди. Я сам оденусь. Мне еще в клуб надо.

Перепелицын сжал руками голову и, нахмурившись, долго думал, чем бы еще уязвить архитектора.

— Как ваша фамилия? — спросил он, вскидывая глаза.

Макосов кротко улыбнулся.

— Ты же знаешь, вот чудак!

— Ну? Как?

— Макосов.

— Так... значит, ваши родители макосы были!

— Что такое — макосы?

Перепелицын захохотал.

— Такие бывают... Макосы. Даром не назовут. Значит, было за что.

— Ты, голубчик, говоришь вздор.

— Конечно. Где же мне... Черная кость! А как сапоги починить или за газетами сбегать — тогда не черная кость?.. Тогда Перепелицын? Если у вас есть имя «высокоблагородие», то и у меня есть не хуже — Иван Захарыч! Вот что-с! Потрудитесь на будущее время называть меня Иван Захарыч.

— Хорошо. Ну, прощай, брат Иван Захарыч. Пойду одеваться.

— Конечно! В деревне люди от голоду дохнут, а они по клубам в карты-марты разыгрывают. Нешто вам есть до чего-нибудь дело?..

* * *

Утром на другой день солнце целым каскадом света ворвалось через полуопущенную штору в окно спальни и разбудило архитектора.

Архитектор поморщился, потянулся и позвонил.

Вошел Перепелицын, сосредоточенный, с поджатыми губами, и остановился у кровати.

— Здравствуй, Перепелицын.
— Доброго здоровья, барин.
— Газеты купил?
— Так точно, купил.
— Какова погода, Перепелицын?
— Погода хороша, Павел Егорыч.
— А у меня чего-то голова болит, Перепелицын.
— У меня тоже, Павел Егорыч, побаливает.
— С чего бы это, Перепелицын?
— Надо думать, ревматизм. Старость подходит, Павел Егорыч.
— Ну ладно, голубчик Перепелицын. Самовар готов?
— Как же-с. Кипит... Кушайте на доброе здоровье!
Солнце брызнуло в красный ковер на стене и рассыпалось золотыми маками.

ПРИЛОЖЕНИЕ

круги по воде

Настоящий том уже был в производстве, когда была обнаружена еще одна миниатюра Аркадия Аверченко в альманахе «Пауки в банке». Она подписана псевдонимом Ди-Аволо, принадлежность которого Аверченко установил и обосновал литературовед Анатолий Сергеевич Иванов в конце 20 века.

Ниже публикуется эта миниатюра.

ИСТОРИЯ О ХИТРОМ ОКТЯБРИСТЕ И ПРОСТОДУШНОМ МИНИСТРЕ

Когда октябристы узнали, что кадеты в свое время приглашались в кабинет министров и что они сами отказались от этого — узнав это, октябристы страшно завидовали.

— Неужели, нас не пригласят?

Их не приглашали.

Чтобы пощупать почву, октябристы послали самого хитрого из своей среды к министру.

Октябрист пришел и сел в передней играть со швейцаром в шашки.

Случайно министр выглянул из кабинета в переднюю, увидел октябриста, и ему стало неловко, что октябрист сидит со швейцаром.

— Идите в кабинет! — сказал приветливо министр.

— Вы меня приглашаете в кабинет, ваше высокопр-во?

— Да.

— Благодарю вас. Но я вынужден отказаться.

И покинув переднюю удивленного министра, октябрист ушел.

* * *

На другой день по кулуарам разнеслись слухи, что один из видных октябристов был приглашен войти в кабинет министров, но найдя условия неприемлемыми — отказался.

Октябристы гордились чрезвычайно.

КОММЕНТАРИИ

В настоящий том входят произведения Аверченко, впервые опубликованные в 1910–1912 гг.

ИЗ АЛЬМАНАХА «САТИРИКОНА» «ПАУКИ В БАНКЕ» (1911)

Альманах вышел в Санкт-Петербурге в 1911 г. Все материалы альманаха были напечатаны в нем впервые. Авторами альманаха являлись сотрудники журнала, как литераторы, так и художники (Александр Рославлев, Александр Яковлев, Оль Д'Ор, А.Н. Толстой, Исидор Гуревич, Саша Черный, Вл. Лихачев, Ре-Ми и др.). Многие миниатюры печатались без подписи. В настоящей публикации в подборку произведений, подписанных Арк. Аверченко (и его псевдонимами), включены и помещенные в альманахе без подписи, однако по содержанию и стилю явно принадлежащие его перу.

Все тексты печатаются впервые после их публикации в альманахе.

Отчаянное средство. — Подпись — Фома О.

С. 5. *...ведь он член... союза русского народа*! — Союз русского народа (1905–1917) — организация русских националистов, основателем и руководителем которой был врач Александр Иванович Дубровин (1855–1918), он же являлся и редактором газеты «Русское знамя» (1905–1916). С 1910 года эту организацию возглавил Николай Евгеньевич Марков (Марков 2-й) (род. 1876), который с 1908 г. возглавлял и «Союз Михаила Архангела». Отделения «Союза» были во многих городах России. Программа союза —

сохранение самодержавия, поддержка православия. После Февральской революции 1917 г. «Союз» был распущен. Для обоих сююзов основной формой деятельности являлись провокации и террор (в частности, еврейские погромы). Членов этих организаций и «черных сотен» (вооруженных отрядов деклассированных элементов, создаваемых властью для борьбы с революционным движением) стали называть черносотенцами. В переносном значении это слово стало употребляться для обозначения реакционеров и погромщиков.

Блестящий выход. — Подпись: *Ave.*

Идеальное животное. — Подпись: *Волк.*

С. 7. *Не хочет ли Меньшиков... получить... Владимира в петлицу...*— Михаил Осипович Меньшиков (1859–1919) — журналист, сотрудник газеты «Новое время», занимал крайне реакционную позицию в своих статьях, поддерживая и защищая действия правительства, направленные на подавления всяческих свобод. Владимир — имеется в виду одна из наиболее почетных наград Российской Империи — Орден святого равноапостольного князя Владимира (имел 4 степени); знак ордена I степени — крест с мечами — носился в петлице.

Он желал бы и Ивана, и Федора, и Петра — всех в петлицу! — Здесь обыгрывается слово петля. Меньшиков всячески поддерживал реформы Столыпина, а они вызывали сопротивление крестьян. Многие бунтовщики были повешены. Нарицательным стало выражение «столыпинские галстуки». Вопреки утверждениям современных пропагандистов политики Столыпина, его реформы вовсе не были направлены на возвышение России. Они вели к расчленению крестьянства, уничтожению привычного общинного земледелия, к обнищанию огромной массы крестьянства. Проводимая насильственными методами реформа стала одним из факторов, приведших страну к революции 1917 года.

Издательская двуссмыслица. — Без подписи.

Странный результат. — Без подписи.

С. 7. *Читали «Яму» Куприна?* — Имеется в виду повесть Александра Ивановича Куприна «Яма» (1909–1915), пер-

вая часть которой была опубликована в 1909 г. в сборнике «Земля», кн. 3, и вызвала огромный резонанс. Повесть посвящена такому общественному злу, как проституция. Куприн создал обобщенный образ «Ямы», городского района, где сосредоточены дома терпимости. « «Яма» — это и Одесса, и Петербург, и Киев...», отмечал Куприн (А.И. Куприн о литературе. Минск, 1969. С. 307).

Рассеянность. — Без подписи.

На улице. — Без подписи.

С. 7. *За десять копеек «семь повешенных»*! — Имеется в виду «Рассказ о семи повешенных» (1908) Леонида Николаевича Андреева (1871–1919). Рассказ, посвященный Льву Толстому, был написан под впечатлением известия о казни участников несостоявшегося покушения на министра юстиции И.Г. Щегловитова и обличал контрреволюционный террор. Андреев изобразил в рассказе революционеров мужественными и духовно чистыми людьми. Он отказался от авторских прав и разрешил свободную перепечатку своего рассказа. Этим воспользовались некоторые издатели и выпустили дешевое отдельное издание рассказа.

Холодный расчет. — Без подписи.

Неумолимый закон. — Без подписи.

Злопамятность. — Подпись: *Волк.*

С. 8. *Ненавижу гусей*!... *Они Рим спасли.* — Согласно древнему преданию гуси своим гоготаньем разбудили стражу, когда войско галлов взбиралось на стены городской крепости, и тем самым спасли Рим.

Милюков и конституция. — Без подписи.

С. 8. *Милюков и конституция.* — Павел Николаевич Милюков (1859–1943) — видный русский политический деятель, создатель и с 1907 г. председатель Конституционно-демократической партии; депутат 3-й и 4-й Государственной думы. В 1917 г. — министр иностранных дел Временного правительства. С 1920 г. — в эмиграции. Историк и публицист, автор многих книг по русской истории. В эмиграции был редактором газеты «Последние новости» (1921–1940).

Возглавляемая Милюковым партия кадетов многократно обещала принятие полноценной конституции, однако куцые законы, которые удавалось принять в Государственной думе, нивелировались произволом царя и чиновников, так, что даже свободы, провозглашенные царским Манифестом 17 октября 1905 г., оставались в основном на бумаге.

С. 9. *Толмачева назначают членом государственного совета*! — И.Н. Толмачев — одесский градоначальник, ярый черносотенец.

Двадцатый визит. — Подпись: *Фома Опискин.*

С. 9. *Двадцатый визит.* — В этой миниатюре Аверченко высмеивает обычай наносить визиты на Пасху и в другие праздники; эти визиты часто превращались в безудержную пьянку и дебоши.

Грамматика последнего дня. — Подпись: *В.*

С. 10. *...он — подлежащее высылке.* — Ялта относилась к числу городов, где в дореволюционное время постоянное проживание евреев было запрещено.

Гуляют. — Подпись: *М. — Г.*

Необходимый вопрос. — Подпись: *Медуза.*

С. 11. *...сейчас вынимает платок из кармана... ...Из чьего?* — Намек на воровство из бюджета на нужды обороны.

Национальность. — Подпись: *Аvе.*

С. 11. *...я вас... о профессии спрашиваю*! — Намек на то, что дантист и еврей воспринимались как синонимы.

Справедливый протест. — Без подписи.

Последний экипаж. — Подпись: *Аркадий Аверченко.*

Кстати. — Подпись: *М.Г.*

По закону. — Без подписи.

Осторожный. — Без подписи.

Расчетливый пациент. — Без подписи.

Провинциальные аэроклубы. — Подпись: *Волк.*

Гостеприимство. — Подпись: *Волк.*

Новый стиль. — Без подписи.

Вниманию юристов. — Без подписи.

На экзамене. — Без подписи.

Точность. — Без подписи.

Интендантские беседы. — Без подписи.

Русское воздухоплавание. — Без подписи.

Ужасная эпидемия. — Без подписи.

Умный народ. — Без подписи.

Новейшие изречения. — Подпись: *М. — Г.*

Русские Ротшильды. — Подпись: *М. — Г.*
С. 18. *Русские Ротшильды.* — Основатель богатейшей банкирской фирмы выходец из еврейской купеческой семьи во Франкфурте-на-Майне Мейер-Ансельм Ротшильд (1743–1812) своими умелыми действиями создал огромное состояние и организовал банкирские конторы во множестве городов Европы. Имя Ротшильда стало нарицательным для обозначения мультимиллионера, создавшего почти на пустом месте финансовую империю. В миниатюре, конечно, содержится насмешка над многими русскими предпринимателями, которые проматывали богатства своих предков в ресторанах и азартных играх.

Платформа. — Без подписи.
С. 19. *...поэтому, ему и не надо давать земли, — сказал Марков 2-й.* — Марков 2-й неоднократно выступал на заседаниях Думы против наделения крестьян или тем более инородцев землей.

...некуда будет зарывать своих талантов. — В Евангелии от Матфея есть притча о рабах, которые по-разному обошлись талантами, которые им дал на сохранение господин: двое пустили полученные таланты (денежные единицы

античности) в оборот и получили прибыль, а третий просто зарыл монету в землю, за что и был осужден хозяином, повелевшим отдать и этот единственный талант тому, кто получил большую прибыль (Матф., гл. 25, ст. 15–28).

Крик души. — Без подписи.

В саду на открытой сцене. — Без подписи.

С. 19. *Английская болезнь... у нее есть.* — Английской болезнью в старину называли рахитизм, детскую болезнь — неправильное развитие костей (искривление ног, позвоночника и пр.) из-за недостаточного питания и жизни в сыром, неотапливаемом помещении.

Под башмаком мужа. — Подпись: *Волк.*

Тонкий нюх. — Без подписи.

Крутые времена. — Подпись: *Волк.*

С. 20. *...дорогой Александр Иванович...*— Имеется в виду Александр Иванович Дубровин, руководитель Союза русского народа.

...его в каторгу за Герценштейна могут упечь...— Михаил Яковлевич Герценштейн (1859–1906), экономист, профессор Московского сельскохозяйственного института, теоретик партии кадетов по аграрному вопросу, депутат I Государственной думы, был убит агентами Союза русского народа 14 июля 1906 г.

Любезность. — Без подписи.

Имущественный ли ценз? — Без подписи.

От копеечной свечи Москва сгорела. — Без подписи.

Материнское чувство. — Без подписи.

Мудрый совет. — Без подписи.

С. 22. *...чрезвычайное положение дает вам право...*— 14 августа 1881 года Александр III узаконил своей подписью законодательный акт «Распоряжение о мерах к охранению

государственного порядка и общественного спокойствия и приведении определенных местностей Империи в состояние Усиленной Охраны». Это распоряжение фактически действовало вплоть до Октябрьской революции 1917 г. Предусматривалось два вида особых положений: «Усиленная Охрана» и «Чрезвычайная Охрана». При Усиленной охране генерал-губернаторы, губернаторы и градоначальник имели право применять различные меры против подозреваемых в чем-либо: заключить любого жителя в тюрьму до 3 месяцев, наложить штраф; запретить любые сборища, закрыть любые торговые и промышленные предприятия на какой-либо срок или на время действия чрезвычайного положения, отказать любым лицам в праве селиться в какой-либо местности, объявить любое лицо неблагонадежным и потребовать его увольнения и т.д. и т.п.

Все на свете просто. — Подпись: *Волк.*

Бестолковщина. — Подпись: *Аркадий Аверченко.*

Сюжет рассказа основан на реальной истории двух дуэлей, которые не состоялись: между А.И. Гучковым (1862–1936), одним из основателей партии октябристов, председателем III Государственной думы (с 1910 г.), и П.Н. Милюковым (1859–1943); а также между депутатом I–IV Гос. дум от партии кадетов Федором Измайловичем Родичевым (род. 1856) и П.А. Столыпиным. В обоих случаях дуэли не состоялись, поскольку о них знали слишком многие депутаты, которые и способствовали расстройству этих дуэлей.

Веселый полет. — Без подписи.

Жертва вечерняя. — Без подписи.

Объяснение в любви. — Подпись: *Фома Опискин.*

Из серии: «Праздные вопросы» — Без подписи.

Точный ответ. — Подпись: *Волк.*

С. 28. *...что такое — процент?* — Здесь речь о том, что в гимназию принимался лишь определенный процент евреев вне зависимости от их способностей. В основном процент евреев, принятых в гимназию не должен был превышать 5.

Болезненное самолюбие. — Подпись: *М.Г.*

Убийственная логика. — Подпись: *Ф.О.*

Народные приметы. — Без подписи.

Политические осложнения. — Без подписи.

Стихотворения в прозе. — Подпись: *Волк.*

Секретная сделка. — Без подписи.

В редакции. — Без подписи.

ДЕШЁВАЯ ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА «САТИРИКОНА» Выпуск 19. Надгробные плиты (1911)

Данный выпуск, помимо номера, имеет и заглавие (как и некоторые другие выпуски).

Все рассказы в сборнике опубликованы впервые.

В настоящем издании тексты печатаются по данной публикации.

После юбилея.

С. 33. *День пятидесятилетнего юбилея князя Мещерского...*— Имеется в виду юбилей журналистской деятельности князя Мещерского. Князь Владимир Петрович Мещерский (1839–1914), писатель, журналист, редактор-издатель газеты «Гражданин», в которой проповедовал возврат к дореформенным порядкам; монархист, был советником Александра III; имел значительное влияние на Николая II в вопросах внутренней и внешней политики, в которых придерживался крайне реакционных позиций.

Французы в Петербурге.

С. 36. *Французские гости, депутаты Палаты...*— В феврале 1910 года делегация Сената и Палаты депутатов Франции посетила Россию.

...французы пришли в восторг в Вержболове. — Вержболово — железнодорожная станция на границе России с Пруссией.

С. 37. *...отвечал секретарь Хомякова...*— Николай Алексеевич Хомяков (1850–1925) — сын философа-славянофила Алексея Степановича Хомякова, октябрист, депутат II и III Государственной думы, председатель III Думы (1907–1910).

...недоверчиво спросил д'Эстурнэль-де-Констан. — Д'Эстурнэль де Констан (1852–1924) — барон, французский общественный деятель, пацифист, глава французской делегации, посетившей Россию в феврале 1910 года.

С. 39. *Эй, Тимошкин!* — Федор Федотович Тимошкин, крестьянин, депутат III Государственной думы от русского населения Закавказья.

Променад бламанже модес ет робес. — Здесь бессмысленный набор французских слов: прогулка, бламанже (желе из сливок или миндального молока — *Ст. Н.*), шляпы и платья.

— Гунияди! — похлопал француза по плечу Тимошкин. — Гунияди — название патентованного медицинского средства, реклама которого мелькала едва ли не во всех журналах и газетах России в то время.

Конец.

С. 40. *...сегодня суббота... я... и не пошел в школу.* — Суббота — день покоя, религиозный праздник в иудаизме и некоторых христианских сектах; соответственно, в этот день следует отдыхать, а не заниматься какой-либо деятельностью. В Талмуде, сборнике еврейских догматических моральных, правовых, бытовых предписаний, указывается 39 видов труда, которыми нельзя заниматься в субботу.

С. 41. *...могла бы совершенно аннулировать абсентеизм...*— Абсентеизм (лат. — отсутствующий) — здесь: массовое уклонение от присутствия на заседаниях Думы.

С. 42. *Вы бы еще о кодификации упомянули.* — Кодификация — систематизирование законов государства по отдельным отраслям права.

С. 43. *и забытый всеми Фирс...*— Фирс — персонаж пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад», старый слуга, которого хозяева забывают в покидаемом доме.

Мертвые души.

С. 43. *...Павел Иванович Чичиков... Собакевич...*— Аверченко использовал имена персонажей поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души», чтобы обнажить картину политических манипуляций власть имущих.

Иоллос, депутат...— Григорий Борисович Иоллос (1859–1907) — член партии кадетов, редактор газеты «Русские ведомости», депутат I Гос. думы; убит черносотенцами.

...А Петрункевич, Петражицкий! — Иван Ильич Петрункевич (1844–1928) — помещик, председатель Союза освобождения (1904), один из лидеров партии кадетов, депутат I Гос. думы; в декабре 1907 г. был приговорен к 3 месяцам тюремного заключения, за то, что после роспуска I Гос. думы подписал воззвание к народу с призывом не платить налогов и отказаться от поставки рекрутов до созыва II Гос. думы. Лев Иософич Петражицкий (род. 1867) — профессор римского права, член ЦК партии кадетов, депутат I Гос. думы, он также подписал воззвание и подвергся тюремному заключению.

С. 44. *А Караваев, трудовик!* — А.Л. Караваев — член трудовой группы, фракции, состоявшей из депутатов-крестьян и мелкобуржуазной интеллигенции, в Государственной думе.

Аладьин, рабочий. — Алексей Федорович Аладьин (р. 1873), участник революционного движения, с 1896 г. был в эмиграции, депутат I Гос. думы.

Тихвинский, священник. — Ф.В. Тихвинский, депутат Гос. думы, часто выступал на стороне Крестьянского союза (массовой революционной организации в России в 1905–1907 гг.) и трудовиков.

Бобринский, граф...— Граф Владимир Алексеевич Бобринский (р. 1868), помещик и фабрикант, депутат II–IV Гос. дум от Тульской губернии.

Гучков, Александр...— Александр Иванович Гучков (1862–1936), фабрикант, депутат, затем председатель III Гос. думы, председатель центрального Военно-промышленного комитета (1915–1917), член Гос. совета (с 1915 г.), впоследствии военный и морской министр Временного правительства (март — май 1917 г.).

Челышев, Михаил...— М.Д. Челышев, из крестьян, депутат III Гос. думы, от самарской губернии, самарский городской голова, октябрист.

...Колюбакина — исключили. — Александр Михайлович Колюбакин (1868–1915), кадет, депутат III Гос. думы от дво-

рян Санкт-Петербурга, в начале 1909 г. был приговорен к тюремному заключению.

Косоротова — исключили. — В.Е. Косоротов, социал-демократ, столяр, депутат III Гос. думы от крестьян Уфимской губернии. Был исключен из состава депутатов по обвинению в заговоре в числе других социал-демократов.

Неблагонадежность.

С. 45. *...опубликованием отказа от кандидатуры в гласные.* — Гласные — выборные члены земских собраний и городских дум в России со второй половины 19 века.

Всепрощение.

С. 51. *...человек приехал к отцу Восторгову...*— Восторгов Иоанн Иоаннович (1867–1918), протоиерей, миссионер, один из организаторов «Союза русского народа».

С. 52. *...редакция газеты «Колокол».* — Газета «Колокол» издавалась Союзом русского народа на рубеже первого и второго десятилетий 20 в.

О Северном полюсе.

С. 56. *Пири или Кук?* — Роберт Эдвин Пири (1856–1920) — американский полярный путешественник, адмирал (1911), 6 апреля 1909 года на собачьих упряжках достиг Северного полюса. На первенство в открытии Северного полюса претендовали также и другие путешественники. В частности, по некоторым данным, американец Ф. Кук достиг полюса в 1908 г.

С. 59. *...явился к президенту Тафту...*— Уильям Тафт (1857–1930) — американский политический деятель, президент США в 1909–1913 гг.

Безрыбье.

С. 61. *...фраже положи.* — Фраже — название изделий из меди или латуни, посеребренных гальваническим способом; от имени Йозефа Фраже (1797–1867), организовавшего первую в Варшаве гальваническую лабораторию; это же имя носила фирма и фабрика в Варшаве по производству изделий из мельхиора и посеребренных металлов (1824–1939).

в шмен-дефер шибко поигрывает. — Шмен-дефер — азартная карточная игра.

ДЕШЁВАЯ ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА «САТИРИКОНА»
Выпуск 25
(1911)

Выпуск 25 библиотеки «Сатирикона» вышел в Петербурге в 1911 году. Все рассказы публиковались в этом сборнике впервые.

В настоящем собрании сочинений рассказы сборника печатаются по первому изданию.

Специалисты.

С. 66. *Вам заказ нужно на какой класс?* — Далее следует диалог, в котором персонажи используют понятие класс в различных значениях. Так, портной понимает «класс» в соответствии с «Табелью о рангах», введенной в России в 1722 году и окончательно сложившейся к началу 19 в. Согласно табели о рангах все служащие, военные и гражданские, были разбиты на 14 классов, и в зависимости от класса могли занимать те или иные должности. Все чины в зависимости от класса и должности должны были иметь соответствующие форменные мундиры.

Помещик Червяков употребляет понятие «класс» для обозначения категории пассажирских вагонов на железной дороге, зависящей от удобств, качества обслуживания и т.п.

Он специалист на... именно диагональ. — Диагональ (здесь) — плотная хлопчатобумажная или шерстяная ткань с косыми рубчиками.

...в красном гарусном шарфе...— Гарус — шерстяная пряжа, различно окрашенная, употребляемая для вышивания на канве. Здесь — шарф из такой пряжи.

С. 68. *...золотые часы... с репетицией.* — Часы с репетицией — карманные часы с пружинным приспособлением, при нажатии на которое отбивается показываемое время.

Неудачная игра.

С. 72. *«Жена да прилепится к своему мужу!»* — В Евангелии от Матфея (гл. 19, ст. 5) сказано несколько иначе: «...человек... прилепится к жене своей». Несколько ближе к этому высказывание в Послании апостола Павла к римлянам (гл. 7, ст. 2): «Замужняя женщина привязана законом к живому мужу...»

С. 73. *По первому абцугу...*— Здесь: по первому разу.

...что скажет... княгиня Марья Алексевна...— Не вполне точное цитирование крылатой фразы из комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» (1824), д.4, явл. 15.

С. 75. *...забыл вовремя рокироваться.* — Рокироваться — от слова рокировка, которое означает в шахматах одновременной ход королем и ладьей, когда король передвигается через одно поле в сторону ладьи, а ладья переносится через короля и ставится рядом. Допускается лишь один раз в течение шахматной партии и пока ладья не совершила ни одного хода. Причем рокировка может совершаться как в левую, так и в правую сторону. Обычно рокировка совершается для защиты короля.

Веселый старик.

С. 76. *Поэт Рославлев привязался к художнику Радакову...*— Александр Степанович Рославлев (1883–1920) — постоянный автор «Сатирикона» и «Нового Сатирикона», поэт и прозаик; любил пошутить и сытно поесть, отличался тучной фигурой; стал прототипом многих персонажей у Аверченко. Алексей Александрович Радаков (1879–1942) — художник, график, поэт; один из создателей «Сатирикона» и редактор первых семи номеров журнала.

...выучил только три французских слова: бонжур, комман и пуркуа...— Bonjour — здравствуйте; comment — как, каким образом; porquoi — почему, зачем.

ДЕШЁВАЯ ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА «САТИРИКОНА» Выпуск 32 (1911)

Сборник вышел впервые в Петербурге в 1911 г. Все рассказы выпуска публиковались впервые.

В настоящем издании печатаются по данному выпуску.

Глухая исповедь.

С. 116. *...в романах с политипажами в тексте.* — Политипаж — отпечаток гравюры на дереве в тексте книги (от греч. *поли* — много и *типос* — отпечаток).

ДЕШЁВАЯ ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА «САТИРИКОНА» Выпуск 39 (1912)

Пасхальная метель.

С. 148. *«М.С. Кузнецов в Будах».* — Матвей Сидорович Кузнецов (1846–1911), самый известный российский промышленник и предприниматель, занимавшийся производством фарфора и фаянса, происходил из старообрядческой общины Рогожского кладбища в Москве. Фарфорозаводчик в четвертом поколении, он создал разветвленную сеть фарфоровых заводов в России и за рубежом. В общей сложности семья Кузнецовых в начале 20 века владела восемнадцатью заводами, четыре из которых находились за рубежом. В частности, М.С. Кузнецову принадлежал и завод в Будах Харьковской губернии.

С. 149. *У евреев Пасха еще раньше.* — Пасха — главный христианский праздник, день чудесного воскресения Иисуса Христа из мертвых. У древних христиан празднование Пасхи по времени совпадало с иудейской Пасхой (которой отмечался исход евреев из Египта). I вселенский собор христианской церкви в 325 году установил, что Пасха должна отмечаться в первое воскресенье после весеннего равноденствия и полнолуния, по истечении полной недели после иудейской Пасхи. Таким образом, в христианстве Пасха — кочующий праздник, может выпадать на разные дни с 22 марта по 25 апреля по старому стилю.

Чудак.

С. 153. *Тиха украинская ночь.* — Цитируется фрагмент из Песни второй поэмы А.С. Пушкина «Полтава» (1829).

Страшная секта.

С. 157. *Ритуальный убийца*! — В начале 20 в., царское правительство с целью разложения революционного движения в России, использовало методы разжигания религиозной и национальной вражды между представителями различных национальных групп. В частности, после обнаружения в марте 1911 года неподалеку от Киева тела убитого двенадцатилетнего православного мальчика Андрея Ющинского,

сразу же в черносотенной прессе была запущена версия, что мальчика убили жиды, выпустив из него кровь для приготовления мацы, еврейской лепешки. Так возникла версия ритуального убийства, преступления, совершенного с определенной религиозной целью. В убийстве был обвинен мещанин Менахем Мендель Бейлис. В конце концов следствие установило непричастность Бейлиса к убийству, он был оправдан судом присяжных. Однако шум вокруг этого дела продолжался долго, и русское население пугали ритуальными убийцами-евреями.

...проклятый хасид. — В 18 веке среди евреев Польши и России возникло религиозное учение и движение, выражавшее недовольство наиболее бедных слоев засильем раввинов и всякого рода денежных воротил в еврейских общинах, оно получило название хасидизм (евр. благочестие). Основателем его был Израиль Бешт (1700–1760). Согласно этому учению, кроме бога ничего не существует, и главная цель человека — слияние с богом, которого можно достичь исполняя все заповеди божьи и предаваясь страстным молитвам. Секты хасидов получили значительное распространение на юго-западе России и в Польше.

ДЕШЁВАЯ ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА «САТИРИКОНА»
Выпуск 50
(1912)

Этот выпуск вышел в Петербурге в 1912 году.

В настоящем издании впервые за сто лет воспроизводится полностью.

Что мне нужно.

С. 167. *Когда с тебя снимали ротонду.* — Ротонда (лат. круглый) — здесь: верхняя женская теплая одежда в виде длинной накидки без рукавов, была распространена в 19 — начале 20 вв.

Детвора.

С. 171. *Секрет Полишинеля*! — Полишинель — комический персонаж старинного французского народного театра,

аналогичный русскому Петрушке и итальянскому Пульчинелле. Секрет Полишинеля — секрет, всем давно известный.

Как я сделался лгуном.

С. 186. *...ходили за город стрелять из монте-кристо галок.* — Монте-кристо (по имени героя А. Дюма) — система малокалиберных ружей и пистолетов.

С. 190. *Молодцы из секты тугов-душителей.* — Туги — религиозная секта в Индии, члены которой в религиозном экстазе грабят и душат свои жертвы, стараясь не проливать кровь. Существовали еще в глубокой древности. У них свой язык и свои знаки. Англичане, проникнув в Индию, истребили огромное число тугов. О тугах говорится в рассказе Конан Дойла «Жрица тугов».

ДЕШЁВАЯ ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА «САТИРИКОНА»
Выпуск 61
(1912)

Вышедший впервые в Петербурге в 1912 г., данный выпуск здесь воспроизводится по первому изданию.

С корнем.

С. 196. *Ниагарны или иматрны*? — Герой рассказа производит краткие прилагательные от названий водопадов Ниагара (на реке Ниагара, пограничной между США и Канадой) и Иматра (на реке Вуокса в Финляндии).

Пятилетки.

С. 199. *Член третьей Государственной Думы...*— III Гос. Дума созывалась в 1907–1912 гг.

С. 200. *С Кассо под ручку гулял*? — Лев Аристидович Кассо (1865–1914) — министр народного просвещения с 1910 г.

...неприкосновенность личности принес? *Или свободу союзов*? — Здесь и далее упоминаются проблемы, которые обсуждались Думой, но не были никак решены.

С. 211. *...привет... Метерлинку*! — Морис Метерлинк (1862–1949) — бельгийский поэт и драматург, писал на фран-

цузском языке, лауреат Нобелевской премии (1911). В России широко ставились его пьесы. «Синяя птица» (1908) до сих пор не сходит со сцены МХАТа.

КРУГИ ПО ВОДЕ
(1912)

Книга впервые была опубликована в Петербурге в 1912 г. При жизни автора выдержала около 20 изданий (в 1916 г. вышло 16-е издание). В настоящем Собрании сочинений печатается по изданию, выпущенному в 1918 г. издательством «Новый Сатирикон» без указания номера издания. Книга посвящена артистке петербургских театров «Новый драматический» и «Зимний Буфф» Александре Яковлевне Садовской.

Публикуемый в составе сборника рассказ «Двуличный мальчишка» впоследствии был включен автором в сборник «О маленьких — для больших».

От автора.

С. 218. *Увидев эту обложку уже в печати, я зашатался...*— На обложке художник изобразил множество плавающих на воде спасательных кругов.

Раздвоение личности.

Впервые: Сатирикон, 1911. № 5.

С. 232. *К Контану... ...я бы предложила Донона.* — «У Контана» и «У Донона» — названия дорогих ресторанов в Петербурге.

Чад.

Впервые: Сатирикон, 1911. № 1.

С. 236. *Будем освежаться бенедиктином... Сейчас бы кюрасо был к месту.* — Бенедиктин и кюрасо — названия ликеров. Бенедиктин вначале изготавливался в Нормандии в аббатстве Фекан, где у католического ордена бенедиктинцев был монастырь. Кюрасо изготавливался из сока померанца, назван по имени острова Кюрасао в Карибском море.

Курильщики опиума.
Впервые: Сатирикон, 1911. № 10.

Язык.
Впервые: Сатирикон, 1911. № 24.
С. 253. *Компренэ*? — Понимаете? (фр.).
Променад! — Прогулки! (фр.).
С. 256. — *Аллон нах гауз*! — Идем домой! (фр., нем.).

Цепная собака.
Впервые: Сатирикон, 1911. № 29.

Пловец на большие расстояния.
Впервые: Сатирикон, 1910. № 27.

Неудачная антреприза.
Впервые: Сатирикон, 1911. № 17.

Как меня обворовывали.
Впервые: Сатирикон, 1910. № 43.

Я и мой дядя.
Впервые: Сатирикон, 1910. № 45.
С. 291. *...я тебе свой пальмерстончик уступлю.* — Пальмерстон — верхнее мужское и женское платье с застежкой сверху донизу (от имени английского государственного деятеля Генри Пальмерстона, 1784–1865).

Молния.
Впервые: Сатирикон, 1910. № 40.
С. 300. *...покушение на самоубийство при помощи баночки хлористого натра...*— Хлористый натр — поваренная соль; разумеется, отравиться ею нельзя.

Свой крест.
С. 301. *...с вышивкой... и аграмантом.* — Аграмант (фр. украшение) — плетение из шнура, служащее для отделки платья, занавесей, мягкой мебели и т.д.

Дураки, которых я знал.
Впервые: Сатирикон, 1910. № 50.

С. 305. *...рассказал о землетрясении в Мессине...*— Мессина — город и порт в Италии, на острове Сицилия, где в 1908 г. произошло одно из самых страшных землетрясений начала XX в. В результате землетрясения погибло около ста тысяч жителей, было разрушено более 90% зданий.

Мужчины.
Впервые: Сатирикон, 1910. № 47.

Новый Соломон.
Впервые: Сатирикон, 1910. № 35.

С. 316. *Соломон* — царь Израильско-Иудейского царства в 965–928 до н.э.; считается одним из мудрейших правителей древнего мира; ему приписывается авторство библейских книг (Песнь Песней, Екклесиаст, Притчи и др.).

Vanitas vanitatum et omnis vanitas...— Суета сует и все — суета! (лат.). — Цитата из библейской книги Екклесиаста (гл. 1, ст. 2), автором которой, согласно традиции, был царь Соломон.

...судились из-за ребенка...— описанный эпизод содержится в Третьей книге Царств (гл. 3, ст. 16–28).

Мокрица.
Впервые: Сатирикон, 1911. № 13.

Граждане.
С. 331. *...Матушка! Матушка!..* — эпиграфом служат слова из «Записок сумасшедшего» Н.В. Гоголя (1834). Цитируется неточно (у Гоголя: «Матушка! пожалей о своем больном дитятке!..»).

С. 335. *Поборемся, Порфирий...*— Порфирий — в романе Ф.М. Достоевского следователь, ведущий дело Раскольникова.

Лакмусовая бумажка.
Впервые: Сатирикон, 1910. № 29.

Трудолюбивый Харлампьев.
Впервые: Сатирикон, 1911. № 16.

Революционер.
С. 352. *Охота вам... петь Лазаря...*— В Евангелии от Луки (гл. 16, ст. 20–21) рассказывается притча о нищем Лазаре,

который был готов довольствоваться крошками со стола богача. Нищие-калеки в старину, прося подаяние, жалобными голосами пели духовные стихи, в том числе притчу о Лазаре. Отсюда пошло выражение «петь Лазаря», то есть попрашайничать.

Животное.

Впервые: Сатирикон, 1910. № 13.

Упоминаемые в этом рассказе имена философов: Шопенгауэра, Гегеля, Иммануила Канта (в рассказе — Эммануил, принятое тогда написание), Спенсера никакой смысловой нагрузки не несут. Просто студент демонстрирует к месту и не к месту поверхностную эрудицию.

С. 361. *Атавизм* — появление у животных (в том числе и человека) признаков, свойственных их далеким предкам.

С. 365. *Спенсер,* Герберт (1820–1903) — английский ученый, философ, психолог и социолог, позитивист. Ч. Дарвин интересовался работами Спенсера и считал его своим предшественником. Труды Спенсера были широко известны в России и неоднократно издавались на русском языке начиная с 1860-х годов.

Призвание.

Впервые: Сатирикон, 1910. № 37.

Старики.

Впервые: Сатирикон, 1911. № 15.

Рассказ этот был впоследствии автором переделан в короткую пьесу, с огромным успехом шедшую в течение нескольких лет на разных сценах. Н.А. Тэффи называла ее маленьким шедевром Аверченко.

Содержание

Из альманаха «Сатирикона» «Пауки в банке» (1911)

Отчаянное средство ... 5
Блестящий выход ... 6
Идеальное животное ... 6
Издательская двусмыслица ... 7
Странный результат ... 7
Рассеянность ... 7
На улице ... 7
Холодный расчет ... 8
Неумолимый закон ... 8
Злопамятность ... 8
Милюков и конституция ... 8
Двадцатый визит ... 9
Грамматика последнего дня ... 10
Широкое распространение ... 10
Гуляют ... 10
Необходимый вопрос ... 11
Национальность ... 11
Справедливый протест ... 11
Последний экипаж ... 11
Кстати ... 14
По закону ... 14
Осторожный ... 14
Расчетливый пациент ... 15
Провинциальные аэроклубы ... 15
Гостеприимство ... 15
Новый стиль ... 16

Вниманию юристов ... 16
На экзамене ... 16
Точность ... 17
Интендантские беседы ... 17
Русское воздухоплавание ... 17
Ужасная эпидемия ... 18
Умный народ ... 18
Новейшие изречения ... 18
Русские ротшильды ... 18
Платформа ... 19
Крик души ... 19
В саду на открытой сцене ... 19
Под башмаком мужа ... 20
Тонкий нюх ... 20
Крутые времена ... 20
Любезность ... 21
Имущественный ли ценз? ... 21
От копеечной свечи Москва сгорела ... 21
Материнское чувство ... 22
Мудрый совет ... 22
Все на свете просто ... 22
Бестолковщина (Будущая парламентская дуэль) ... 22
Веселый полет ... 26
Жертва вечерняя ... 26
Объяснение в любви ... 27
Из серии «Праздные вопросы» ... 27
Точный ответ ... 28
Болезненное самолюбие ... 28
Убийственная логика ... 28
Народные приметы ... 28
Политические осложнения ... 29
Стихотворение в прозе ... 29
Секретная сделка ... 29
В редакции ... 30

Дешёвая юмористическая библиотека «Сатирикона»

Выпуск 19
Надгробные плиты (1911)

После юбилея ... 33
Французы в Петербурге ... 36
Конец ... 40

Мертвые души 43
Неблагонадежность 44
Спасли газету 47
Всепрощение 51
Мягкое сердце 54
О Северном полюсе 56
Безрыбье 60

Дешёвая юмористическая библютека «Сатирикона»

Выпуск 25 (1911)

Специалисты 65
Неудачная игра (Посвящается шахматистам
прошедшего, настоящего и будущего)........................71
Веселый старик...76
Черный орел 82
Рассказ из великосветской жизни 85
Мать 89

Дешёвая юмористическая библютека «Сатирикона»

Выпуск 32 (1911)

Под облаками 99
Мой сосед по кровати 106
Их праздник 110
Глухая исповедь 113
Преступление на Бармалеевой улице (Хроника) 116
Кухарка Аксинья Демина 121

Дешёвая юмористическая библютека «Сатирикона»

Выпуск 39 (1912)

Заметки провинциала 129
В святую ночь 132
Рассказ о биллиардной игре, о биллиардных игроках,
о биллиардных неудачниках и о прочем 138

Интервьюеры 142
Пасхальная метель 147
Чудак 152
Страшная секта 157

Дешёвая юмористическая библютека «Сатирикона»

Выпуск 50 (1912)

Что мне нужно 163
Детвора 169
Роман двух хороших людей 173
Мода 179
То, что может случиться с каждым 182
Как я сделался лгуном 185

Дешёвая юмористическая библютека «Сатирикона»

Выпуск 61 (1912)

С корнем 195
Пятилетки 201
Чувствительный Глыбович 203
Замечательный человек 208

Круги по воде (1912)

От автора 217
Двуличный мальчишка 220
Раздвоение личности 225
Чад 233
Сазонов 239
Курильщики опиума 245
Язык 251
Цепная собака 257
Пловец на большие расстояния 263
Горничная из большого дома 269

Неудачная антреприза 276
Как меня обворовывали 281
Я и мой дядя 287
Молния 293
Свой крест... 300
Дураки, которых я знал 304
Мужчины 310
Новый Соломон 316
Мокрица 322
Случай 24-го декабря 327
Граждане 331
Лакмусовая бумажка 337
Трудолюбивый Харлампьев 343
Революционер 349
Принцип 354
Животное 359
Праздник любви 366
Призвание 372
Старики 378

Приложение

История о хитром октябристе
и простодушном министре 385

Комментарии 389

АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО
Собрание сочинений

Том 3

КРУГИ ПО ВОДЕ

Редактор Е.Б. Егорова
Художественный редактор И.А. Шиляев
Технический редактор Т.В. Иванникова

Подписано в печать 20.08.2012.
Гарнитура «Таймс». Формат 84×108 $^{1}/_{32}$
Печать офсетная. Усл. печ. л. 21,84
Тираж 1000 экз. Заказ № 5477.

ООО «Издательство «Дмитрий Сечин»
Ул. Ирины Левченко, 2. Москва, 123298, а/я 33.
Тел. 8(985)995-79-70
E-mail: sechinbook@mail.ru

Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая типография»,
филиал «Дом печати - ВЯТКА» в полном соответствии
с качеством предоставленных материалов.
610033, г. Киров, ул. Московская, 122.
Факс: (8332) 53-53-80, 62-10-36
http://www.gipp.kirov.ru, e-mail: order@gipp.kirov.ru

ISBN 978-5-904962-19-7